

СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПОД ЧАСАМИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

*Посвящается 25-летию Смоленского отделения
Союза российских писателей*

№ **16** . 2017

ББК 84Р7
УДК Р2
П 44

Составители:
В.В. Макаренков, Г.В. Пастухов.

Тексты печатаются в авторской редакции.

П 44 **Под часами: альманах** / [сост. В.В. Макаренков, Г.В. Пастухов].
Смоленское отделение Союза российских писателей. – Смоленск:
Свиток, 2017. – 336 с.

ISBN 978-5-9909340-8-5

ББК 84Р7

ISBN 978-5-9909340-8-5

© Смоленское отделение
Союза российских писателей, 2017
© Оформление. «Свиток», 2017
© Рисунки на обложке. Самарина В.Е., 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Макаренков. «На тёплом пёнышке»	8
Ирина Самуйловна Аронова. Дрова, Дама с судьбой	12
Андрей Николаевич Агафонов. Сон Лукича	24
Александр Александрович Агеев. Зеркала, «Немалые малости есть у поэта...», Пушкину, Памяти В. Высоцкого, Из летописи, «Придёт похмелье без попойки...», «Пусть марши победные льются...», Вариации, «Восходит осень облаками...»	40
Вадим Соломонович Баевский. Шад	47
Татьяна Николаевна Бакланова. Михаилу, «Серебристые волны плескались...», «Когда сосна без усталости баюкала...», Снова о берёзе, «У всех у нас — свой почерк и походка...», «Я исчезну из этого мира...», «Всё так по жизни ведётся...», «Где хлеба недавно зрели...», Ночной блюз, «Я не жду от судьбы чудес...»	62
Виктор Никитович Бобков-Тесновский. Соловьиная весна (отрывок из повести).	68
Эдуард Александрович Борохов. О прошлом помнить не всегда приятно, а будущее знать — невыносимо, Чем с большим трудом выживает народ, тем лучше живут его слуги, Тех, кого влекут друг к другу страсти, не остановить на полпути	78
Олег Николаевич Ермаков. Берег мёртвых — берег живых.	85
Сергей Петрович Жбанков. Шуба, Аппендицит, Две половинки, В последний путь, Вечная музыка, Все женщины одинаковые, Грабёж . . .	106
Вера Андреевна Звездаева. Почему сад в центре Смоленска называется Блонье? Неотосланные письма, В Вязьме, в сорок первом (из недописанной книги)	114

Вера Анатольевна Иванова. «Суровая арифметика...»,
«На небе чисто...», «Есть в сокровенной жизни острова...»,
«Сизиф катил свой камень в гору...», Верность времени,
Волшебные слова, Море, «Птица строит гнездо...», «Всё, что было,
всё уплыло...», «Как тихо уходят люди...», «Умаялась...» 126

Вячеслав Александрович Иванов. «Нежностью первого снега...»,
«Чуть отдалившись от вокзала...», «Когда Серёга умер от запоя...»,
«Люди спросят у порога...», «Мы с ней не говорили о вещах...»,
«В мой дом постучали. Сказал я: “Войдите”...», «...А ночами
к Ивановым от Иванниковых...», «Что же с ними делать? Сам реши...»,
«Этой женщине я обязан...», «Лес нагой, как девки в бане...»,
«— Вам платят за стихи?..»132

Раиса Александровна Ипатова. «Письма идут так медленно...», Жизнь,
«Умрёшь. Читая завещанье...», «Знать наперёд, что в доме пусто...»,
«Век цепей и раскованности...», «Пусть пыль постепенно покрое...»,
«Нас погубило сходство душ...», «Быть сильным — сложное
искусство...», «Напрасно трамваи сигналили нам...», «Как хорошо,
что есть на свете дом...», «Рассвет. И мама — окна нараспашку...»,
«“Ребята, хлеба нет ни крошки!” ...»139

Зеан Самуилович Каган. Просто слова: «Мы уходим из дома...»,
Девушка осень, Комната смеха, Распорядок, Наставление, Романс,
Стансы'52, Философический ноктюрн, All That Jazz,
Из польских поэтов: Ян Твардовский. Жаль; Тадеуш Ружевич.
Корабль-призрак145

Сергей Иванович Капитанов. «“О подвигах, о доблести, о славе”...»,
Канун, Дожди, Сусанин, «Семидесятые годы...», Эпитафия, О звезде,
Баллада о комиссарах, вожде и боге, Вера154

Леонид Иванович Козырь. Чей-то дом, «Какие выпуклые лбы...»,
«Живые от живых отцов рождаются...», Мгновение, Этюд,
«Я сентябрьский. И осень люблю я за то...», «Ещё не приходилось...»,
Язык любви, «Звёзды, которые в нас загораются...»,
«В брусничнике бруснику собираю...», «Стихи читаете. А где-то...» 159

Александр Геннадьевич Кокшаров. «Старушечка-лягушечка...»,
«Я слышал Моцарта – он плакал!..», «Вечер тает словно птица...»,
«Этот куст белых роз у кирпичного дома напротив...»,
«Как убежать от одиночества, мой друг?..», «Как сладок запах книги
старой...», «Присыпана глазурью снега грязь...», «Вёрткая прядь
золотистых волос кружит медвяной рекой...», «Пепел времени –
горечь полыни...», «Сверкал этот вечер осенний...»,
«Сидят на завалинке деды...», На смоленском ж/д вокзале165

Виктор Васильевич Кудрявцев. «Опять Победа. Но без мамы...»,
«Синицы пропали. И люди пропали...», «”Без меня вам трудно будет,
детки”...», «Якушкино. Минькина гора...», «Импровизированный
рынок...», «Ночь без тепла. Весна без снега...», «Лежу и думаю
о разном...», «Четвёртый раз проходит...», «Не надо просыпаться
по утрам...», «А вечно только зло...»172

Леонид Алексеевич Кузьмин. «Был счастлив я очень...»,
Предчувствие, «Жёлтыми утками на воде...», Время, Над последней
книгой Раисы Ипатовой, Окна, Ива, «Я – старый ветер, знающий в лицо...»,
«Стало трудно ходить – летай...», Город, Кем родиться, или О единстве
всего сущего, Буквы и почерки, Дом, «Мои давние, дымные,
дружные...», «Нет ничего страшней погасших звёзд...», Колодец,
«Пишут, пишут о поэте...» 178

Владимир Владимирович Лавров. Поздно, Новый сезон,
Ощущение полёта, Рубикон, Един, Охотник, Из цикла “Память“:
«Опять дождю стучать под вечер...», «Так неохотно болеет зимой...»,
«Я слышу музыку Творца...», Больница, В том городе184

Александр Сергеевич Лучин. Застава, «Кто ты, жизнь моя креативная?..»,
«– Колдунья!..», «Правда...», «Праведную русскую равнину...»,
«На Славянской дубраве дожди...», «Среди глубокой полночи...»,
«Лебеди летели в дальние края...», «Радостью в ночи сияют лица...» 191

Александр Олегович Макаренков. Люк, «Вольный ветер балтийский
гоняет в башке облака...», «Воспалённая осень сжигает себя...»,
«Осень пахнет совсем не жасмином, а жаль...»,
Фотографирую Ниагару, Кольская осень197

Владимир Викторович Макаренков. «Ни с этим, ни с тем не согласен я веком...», Печаль всяя Руси, Железное семя, Божья коровка, «Пахнет жжёным чаем и дрожжами...», «Мирозданье – как сеть Интернет...», Звезда полей, Хризантемы, Жеребёнок, Звезда Победы, Фарфоровый старик, «Реальный мир материаловен...»205

Сергей Михайлович Машков. «Я помню вечер. Ступались тени...», Каприз Паганини, Кланяюсь, Флёново, Небо, «Откуда ни возьмись, пришла сама...», «Солнце дальние дали раздвинуло...»212

Пётр Ефимович Мельников. Слово о “Слове о Полку”, «Еще мы помним тех ребят-солдат...», Дороги, Охота, Ничья деревня, «Былое – не значит былё...», «Отчего порою сердца стук...», «Ты ли не права, иль я не прав...», Поэзия, Ветла, «Заметает землю листопадом...», Вторичность, «Далече. Может, недалече...», «Последние надежды и мгновенья...» 218

Елена Анатольевна Орлова. «Мимо что-то мультяшное промельтешило...», Вспоминая Брейгеля, «Вечер, будто измятый листок...», Память, Эскиз сезонных снов, Зимний триптих, «... и звёзды октября посмотрят сверху...» 225

Геннадий Васильевич Пастухов. Последний автобус 231

Сергей Викторович Подольский. Гитара из сорок первого, На последнем рубеже, Записка из солдатского медальона, После боя, Последний бой, Боль Катюны, Катюша 241

Алексей Николаевич Пранов. Пища богов, «Когда хулят что сердцу мило...», Анютины глазки, На утиной охоте, Русский лес, «Цветёт черёмуха, кружится голова ...»246

Василий Дмитриевич Савченков. Наш Василий Савченков (подготовлено Починковской районной библиотекой) 255

Вилен Абрамович Сальковский. «“Мюллер” хренов» (Быль)260

Владимир Иванович Тазов. Жалейка, Берёзовый тусок, «Кладочка через овраг лопушиный...», Поздний хлеб, Фауст, Компрачикос, Волхва-осень, Забавы 270

Иван Трифонович Твардовский. Наш Иван Твардовский (Владимир Макаренков). Биография (Циклопедия (http://cyclowiki.org)) К литературному портрету Ивана Твардовского (Олег Ермаков). Главы книги «Вокруг Света»)278
Вадим Дмитриевич Удальцов. Орден Святого Владимира307
Элина Дмитриевна Удальцова. «Опоздать бы, что ли, мне на поезд осени...», «Часы. Секунд ужасающий бег...», «Тень скользнула по стене устало...», «Из черноты вдруг возникает пламя...», Гадалка, «Дождь с судьбою – на брудершафт...», «И свет, и тень – заветная игра...», «Мне очень хочется стихов...», Два письма, «Мне приснился сон...», «Пережить, пережить, пересилить...»317
Иосиф Львович Хатилин. Зое, «Поэзия не терпит пустоты...», Соловьёво. Тридцать лет спустя, «Девочка моя милая...», Сизиф	323
Александр Михайлович Шамонин. «Зима и ночь. Зима – и мысль холопья...», «Слушай, надо ль считать зиму злой, роковой...», Станция, Разговор с тенью, Попутная песня, «Утро входит без стука. Отправив...», Родник, «Будильник запел на рассвете...»	329

«НА ТЁПЛОМ ПЁНЫШКЕ»

Владимир Макаренков

Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» (сокращённо – Смоленское отделение СРП) юридически было образовано в 1992 году. Но это не значит, что организация возникла как бы из воздуха, на пустой почве. Наоборот, она была создана профессиональными смоленскими писателями, членами Союза писателей СССР. После распада Страны Советов Союз писателей СССР разделился на две писательские организации: Союз писателей России и Союз российских писателей. В большинстве регионов России произошли параллельные процессы. Поэтому исторически мы ведём отсчёт своего существования так же, как и наши коллеги по смежному союзу – с марта 1924 г., когда состоялось организационное собрание писателей Смоленщины, на котором была предпринята попытка создания регионального отделения Всероссийского союза писателей. Неудивительно, что у истоков нашей организации стояли такие известные на Смоленщине в конце 20 века поэты, как Леонид Козырь, Юрий Пашков, Владимир Тазов, писатели-фронтовики Евгений Алфимов, Вера Звездаева. Впоследствии Юрий Пашков и Евгений Алфимов вышли из состава организации, став членами Смоленской областной писательской организации Союза писателей России. В числе первых членов организации также были: Олег Ермаков, Вера Иванова, Раиса Ипатова, Иван Твардовский (родной брат Александра Твардовского), Вадим Баевский, Вилен Сальковский и др. Вплоть до начала нового века членам Союза российских писателей вручались писательские билеты старого образца – Союза писателей СССР. Первым председателем организации стал поэт Леонид Иванович Козырь, безвременно ушедший из жизни по причине тяжёлой болезни. С 1995 г. по осень 2004 г. отделение возглавляла поэтесса Вера Анатольевна Иванова. С 2004 г. председателем организация стал автор этой вступительной статьи. При Ивановой в 2003 г. в Смоленске состоялся III съезд Союза российских писателей, организация получила от города Смоленска в аренду помещение по адресу: ул. Твардовского, дом 5/11, которое мы арендовали вплоть до 2017 г. В 2017 г. по финансовой причине юридический адрес организации был изменён на адрес квартиры председателя, аренда помещения у города на улице Твардовского прекращена. За многие годы прошений получить от областной или городской администрации помещение для офиса организации на безвозмездной основе нам так и не удалось,

несмотря на разные обещания высоких должностных лиц. Некоторое время организация выпускала «в складчину» журнал «Годы» (редактор-составитель Николай Илькевич). После выхода Илькевича из состава СРП журнал «Годы» перестал быть нашим писательским печатным органом. С 2002 г. организация стала выпускать ежегодный альманах «Под часами», а в последующие годы и издавать при альманахе книги, формируя таким образом «Библиотечку альманаха “Под часами”». Когда Администрация Смоленской области стала выделять творческим организациям Смоленщины субсидии на творческие проекты, альманах и библиотечка стали издаваться на средства этой субсидии.

За 25 лет существования организации нам удалось выпустить несколько номеров журнала «Годы» и 15 номеров альманаха «Под часами», много книг поэзии, прозы, краеведения. На страницах альманаха печатались не только признанные смоленские писатели и краеведы, но и писатели из многих регионов России и зарубежья, столицы, начинающие авторы, читатели. Вместе с альманахом омского отделения СРП «Складчина» альманах осуществил успешную программу «Дружба городов», по которой региональные литературные альманахи стали обмениваться публикациями.

Многие члены нашей организации — лауреаты литературных премий, учреждённых Администрацией Смоленской области, Олег Ермаков — лауреат премии журналов «Знамя» и «Новый мир», «Ясная поляна» в номинации «Выбор читателей» (2017). Сергей Жбанков — лауреат «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты». Писатели нашей организации, помимо указанных литературных изданий, постоянно публикуют свои произведения также в «Литературной России», российских антологиях поэзии, коллективных сборниках, московских, Санкт-Петербургских и региональных журналах и альманахах.

Помимо периодических литературных изданий и книг, многие из которых получили российское и зарубежное признание, множества организованных и проведённых литературных вечеров и иных мероприятий, члены нашей писательской организации внесли существенный вклад в развитие культуры, науки и упрочение государственности. Леонид Иванович Козырь был одним из основателей известной в своё время газеты творческих союзов Смоленщины «Вдохновение». Иван Трифонович Твардовский немало усилий приложил к созданию Музея-усадьбы А.Т. Твардовского «Хутор Загорье» — он был создан по его макету, — являлся смотрителем этого музея, пока позволяло здоровье. Его книга «Родина и чужбина» заняла своё достойное место в русской литературе. Вадим Соломонович Баевский, доктор филологии, заслуженный деятель науки РФ, первый почётный профессор Смоленского государственного университета, основал в Смоленском педа-

гогическом институте (ныне – государственный университет) кафедре истории и теории литературы, опубликовал много научных трудов по литературе, стоял у истоков создания формальной поэтической школы. Произведения Олега Ермакова («Афганские рассказы» и др.) переведены на английский, французский, шведский, китайский, итальянский языки, а его роман «Знак зверя» стал первым в России правдивым художественным произведением об афганской войне. Раиса Ипатова стала первым главным редактором телевидения ГТРК «Смоленск», долгие годы проработав в этой должности, создавая телерепортажи по культуре, осуществила цикл передач о смоленских поэтах «На тёплом пёнушке», воспитала не одного достойного уважения за профессионализм журналиста-телевизионщика. Виктор Кудрявцев составил несколько уникальных антологий: «Невод» (русская поэтическая миниатюра в 2 томах), «Круговая чаша» (русская поэзия серебряного века в 5 томах), «Белая лира», «Кипарисовый ларец», «Дальние берега», издал серию книг «Серебряный пепел». Эти издания имеются в главных библиотеках нашего государства, а также Франции, Израиля и некоторых других стран. Леонид Кузьмин, кандидат филологических наук, более 16 лет отработал в Смоленском педагогическом институте проректором по науке и международным отношениям, возглавлял кафедру английского языка и продолжает успешно трудиться на ней. Сергей Жбанков ныне – один из признанных писателей-юмористов России, сотрудничает с театром Евгения Петросяна, «Литературной газетой». Василий Савченков, биограф Александра Трифоновича Твардовского, краевед и журналист, внёс существенный вклад в развитие краеведения на Смоленщине. Его земляки оценили это по достоинству, присвоив Василию Савченкову звание Почётного гражданина города Починка (родина А.Т. Твардовского). Молодой поэт Вячеслав Иванов в 2016 г. стал победителем литературной премии политической партии «Справедливая Россия» «В поисках правды и справедливости» в номинации «Молодая поэзия России». Автор этих строк долгие годы возглавлял пресс-службу УФСИН России по Смоленской области, способствуя проведению на Смоленщине реформы уголовно-исполнительной системы, был инициатором учреждения литературной премии им. Н.И. Рыленкова, первым лауреатом которой стал В.С. Баевский. По ходатайству нашей писательской организации в Смоленский городской совет известному писателю-фантасту А.Р. Беляеву в 2014 г. было присвоено звание Почётного гражданина города Смоленска.

Наши писатели возглавляют ныне два районных литературных объединения: «Современник» в Рудне (руководитель – Виктор Кудрявцев) и «Истоки» в Рославле (руководитель – Александр Агеев). В областной юношеской библиотеке действует созданное Раисой Ипатовой литобъединение «Среда», которым ныне руководит Елена Орлова. Вера Иванова создала и руководила

до самой смерти детской литературной студией «Родничок» при областной детской библиотеке им. И.В. Соколова-Микитова.

Обо всех и обо всём, сделанном нашими писателями, не напишешь в короткой вступительной статье к книге. Самое хорошее знакомство с писателем, самая запоминающаяся встреча с ним происходят не в литературной гостиной библиотеки или ином публичном месте, а на страницах книги. Будем рады, если эта книга подарит нашему уважаемому читателю именно такое знакомство или новую незабываемую встречу с каждым наедине «на тёплом пёнушке».



Ирина Самуйловна Аронова — родилась и живёт в Смоленске. В годы Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в городе Бузулуке Оренбургской области. Окончила Московский государственный институт культуры (ныне университет). Работала в областной детской библиотеке, в отделе технической информации завода. Автор прозаических сборников «Чёрно-белое кино» (Смоленск, 2001), «Барабаны эпохи» (Смоленск, 2007), «И это пройдёт» (Смоленск, 2008), книги для детей «Всякое такое: загадки» (Смоленск, 2013), сборника «Проза жизни: рассказы, повесть, стихотворения» (М., 2017). Произведения И. Ароновой публиковались в журналах «Библиотека», «Лехаим», газете «Известия», антологии «Годовые кольца» (Смоленск, 2004), региональной периодике Смоленска, Оренбурга, Ставрополя. Постоянный автор альманаха «Под часами».

ДРОВА

Мне приснились хрустящие макароны с поджаристой корочкой, и я проснулась. В комнате стоял неподвижный, прозрачный холод. Вчера мама истопила глинянку последним кизяком, но за ночь всё остыло. Я посмотрела на забитые снегом окна, послушала, как от сильного ветра дребезжат стёкла...

«...Всё было мрак и вихрь, ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевлённым...» Пушкин хорошо знал эти края. Он был здесь, когда писал «Историю Пугачёва».

Оренбургские степи. Летом опалённая жарой трава и песчаные бури, зимой метели и трескучие морозы. И среди этих степей — город. Мы с мамой живём в старом, облупленном двухэтажном доме с высоким парадным крыльцом. Его охраняют два спящих льва с отбитыми носами. Но вход в наше жилище не с парадного, а со двора. Лестницей вниз, через холодный коридор в подвал, первая дверь направо — в нашу комнату. Серые стены, прогнивший пол, низкий потолок, весь в одинаковых метках от штыков. Говорят, здесь когда-то была гауптвахта. Из двух окон вид на мостовую с шагающими туда-сюда ногами. Это летом. Зимой окна замерзают и ничего не видно.

Но и такому жилищу мы рады. Вместе с ордером маме выдали в госпитале железную кровать, матрас и серое солдатское одеяло. У нас есть колченогий стол и два «венских» стула, оставшихся от прежних жильцов. На гвозде у двери, на самодельных вешалках, висит весь наш гардероб: моё пальто, купленное по талону в военторге, и мамино платье цвета «электрик». Она уезжала в нём из родного города с противогазом через плечо, который так никогда и не понадобился. Мама ходит в ватных стёганных брюках и старой шинели. На голове у неё шапка-ушанка. В этом наряде она выглядит очень

хорошо. Больше у нас ничего нет. Мы — эвакуированные. Приехали сюда из города на холмах, окружённого крепостной стеной, с памятником великому композитору, чью музыку я слышу с самого раннего детства.

Трудно привыкать к ровным улицам с добротными деревянными домами и высокими заборами, к ранней осени без листьев. Они осыпаются, не успев пожелтеть, лишая наслаждения от ярких красок природы.

«Мы остались *как стой*», — часто повторяет мама. Но она говорит это без грусти и ни на что не жалуется. Просто вспоминает своё пуховое одеяло, белые фетровые боты — однажды я засунула в них пробку от одеколлона, чуть каблук не сломался! А ещё бал-маскарад в Доме культуры профсоюзов. Она там танцевала с гусаром, а в это время папа сидел со мной дома и читал газеты.

Мама уже ушла в госпиталь и, если привезут раненых, неизвестно когда вернётся домой. А у меня — каникулы. Но вставать всё равно надо.

Я вскочила, быстро надела рыжие бурки, перешитые из старого тулупа, всунула их в галоши, повязалась серым клетчатым платком, как следует застегнулась и вышла на улицу.

Снег всё шёл и шёл, наметая сугроб за сугробом. Во дворе я встретила Витьку из нашего класса. У него отец генерал. Витька живёт на втором этаже с матерью и двумя маленькими сестричками.

— Пойдёшь завтра в школу на вечер? — спросил он.

— Наверно.

Но на вечер я, конечно, не пойду. Не в чем. Да и Витька не стал бы со мной танцевать. Он считает себя взрослым, носит тельняшку, широкие брюки с клиньями и даже курит! «Я — романтик моря», — повторяет он на каждом шагу и готовится в морское училище. Моя подруга Лидка считает, что он очень похож на артиста Столярова.

Из форточки выглянула Мария Николаевна, генеральша.

— Витька! Ты опять куришь?

— Да я ж не курю, я просто прикуриваю. — И он прячет окурок в карман.

Мария Николаевна — высокая женщина с крупными чертами лица и печальными серыми глазами. Она носит котиковую шубу, белые валенки и пуховый платок, но эти дорогие вещи выглядят на ней очень просто. Она ни с кем из соседей не останавливается, поздоровается и проходит мимо. А они судачат между собой: «Что-то давненько не видно генерала. Наверное, он их бросил, вот она и ходит такая хмурая». Мне очень хочется посмотреть, как у генеральши дома, но через стёкла видны только тюлевые занавески.

Я пошла к подруге. Лидка — местная. Их маленький белый домик совсем близко. Как они помещаются в нём: мать, отец, две сестры и она? С утра до ночи Лидкина мама возится по хозяйству, кормит и поит всю семью. Отец ей редко помогает, потому что тяжело болен и почти всё время лежит на печке. А сёстры весь день на работе в госпитале.

Каждый раз, когда я к ним прихожу, её мама спрашивает: «Кушать, наверное, хочешь?» И обязательно чем-нибудь накормит. Вот и сегодня отрезает от только что испечённого каравая огромный ломоть горячего пшеничного хлеба и наливает кружку молока.

Мне очень хорошо у этих людей, поэтому я не спешу уходить. Но зимний день летит незаметно, уже темно. Снег всё ещё идёт, ветер прекратился. Хозяйки домов отгребают лопатами заносы от своих дверей. Я иду домой. В окнах светятся неяркие огоньки.

Как я люблю заглядывать в чужие окна! Нет, не от любопытства. Это совсем другое. Я ищу в окнах домашний уют. То, что безвозвратно потеряно нами с мамой. Вот вижу в окне уголок кровати, покрытой белым одеялом, на подушке — кружевная накидка; кусок стола, а на нём горит керосиновая лампа под стеклянным абажуром... Сегодня в одном окне мелькнули ветка от ёлки, блестящий шар и серебряная нить. Завтра — тридцать первое! Новый год!

У крыльца нашего дома Витька с каким-то солдатом выгружают из саней большое дерево с редкими ветвями и длинными тёмно-зелёными иголками. Это — сосна. У нас дома их не украшают. В наших лесах достаточно пушистых и стройных елей.

Солдатик обрубил лишние ветки и вместе с Витькой потащил сосну в подъезд. Я подняла самую большую ветвь, принесла домой. Нашла для неё бутылку с отбитым горлышком, налила воды и поставила на стол.

Пришла мама, усталая и замёрзшая. Принесла мне баночку с рисовой кашей.

— Привезли эшелон раненых. Там девочка-санитарочка, ранена в руку. Одна в палате. Ты сходи, навести её.

Потом мы попытались растопить печку ломаными фанерками. Мама расщепляла их ножом и по одной подкладывала в костерок. Они вспыхивали и тут же прогорали. Пришлось пить холодный чай.

Спать мы легли почти не раздеваясь, накрылись поверх одеяла шинелью, крепко обнялись, но согреться никак не могли, у меня мёрзла даже голова.

— Мама, а что если мы доски сожжём?

— Какие доски? У нас нет никаких досок.

— А вот эти, на которых лежит матрас?

— Да ты что! Как же мы будем спать? Провалимся, как в гамаке. — Мама глубоко вздохнула.

— А ты видела брёвна во дворе? Лежат с самого лета, наверно, ничьи. Если взять одно?

Мама не отвечала. А я вдруг очень ясно представила себе другую печку, там, дома, облицованную белым кафелем, с двумя дверками: одна решётчатая, с узорами, через неё видно, как горят дрова, а другая чугунная, с засовом.

Как мне нравилось сидеть на полу возле печки и смотреть на красные огни, мелькающие в круглых отверстиях! Мама брала маленькую кочерёжку и время от времени ворошила угли...

И вдруг мама сказала:

— Я слушала в Москве Нежданову. Как она пела в «Лакме»!

Было тихо. Дом спал.

Так мы лежали довольно долго. Мама, наверное, решила, что я уснула, и, стараясь меня не тревожить, встала, надела валенки.

— Ты куда?

— Посмотрю, что за брёвна.

— Я с тобой!

Буран давно затих. В небе среди редких звёзд висела ко всему безразличная луна. Под ногами хрустел снег. Было очень холодно. Мы подошли к слежавшемуся сугробу, в который превратилась горка брёвен. Самое верхнее оказалось не очень толстым, но его невозможно было вытащить из промёрзшей груды. Мы дёргали его с обеих сторон, пытались повернуть — оно не поддавалось. Мама кряхтела, тихо ругалась. И когда мы уже решили бросить свою затею и вернуться, бревно вдруг зашевелилось и поехало. Я подхватила один конец, мама другой, и мы потащили его по лестнице в подвал.

Здорово мы повозились, пока распилили его на несколько частей. Пила была ржавая, тупая, плохо врезалась в дерево, колеблясь в разные стороны. Мы тянули её изо всех сил. Колоть чурбаки было ещё труднее. После каждого неумелого удара мамы чурбак отскакивал в сторону.

— Давай я попробую! — Замахиваюсь топором, бью... и он застревает в древесине.

— Отойди, не мешай! — Мама в который раз ставит чурбак. Не разбудить бы грохотом соседей...

Наконец мы отнесли в комнату несколько охапок изуродованных поленьев.

Сухие дрова быстро разгорелись, и мы долго смотрели, как весело плясал огонь в нашей обмазанной глиной печке. Стало тепло и уютно. Сосновая ветка оттаяла, расправилась и наполнила комнату таким знакомым с детства новогодним лесным ароматом!

Мы пили чай с пареной свёклой и вспоминали, как с нетерпением ждали Нового года, покупали ёлку и украшали её, какие у нас были замечательные игрушки! Мама делала их сама, я ей помогала. Мы хранили их не один год.

В самом центре ёлки, прислонившись к стволу, обычно располагался Пьеро. Он был одет в белый балахон из жатой бумаги «лигнин». В руках держал картонную мандолину, на его бледном лице застыла нарисованная слеза. Обязательно рядом плясала Коломбина в широкой пёстрой юбке. На одной из нижних веток пристраивался огромный ватный мухомор на проволочном

каркасе, обсыпанный блёстками. Особыми прищепками прикреплялись разноцветные свечи, и мы следили, чтобы они не опрокинулись...

Поздно ночью мама тщательно разгребла угли и закрыла трубу. Мы уснули.

Утром кто-то громко постучал в дверь. Я побежала открывать. В комнату с гордо поднятой головой влетела генеральша в шёлковом халате и наброшенном на плечи пуховом платке.

— Вы украли мои дрова! — Она гневно посмотрела по сторонам.

Наверное, она разглядела нашу железную койку, сидящую на ней маму в стёганных брюках и разных валенках, колченогий «венский» стул, такой же стол, ветку сосны в бутылке с отбитым горлышком. И, не сказав больше ни слова, так же стремительно вышла, не закрыв за собой дверь.

— Что же теперь будет? — сказала мама. — Меня арестуют?

Нашу соседку тётю Валу — она работала в пекарне — осенью задержали на проходной с буханкой хлеба. И посадили. Не посмотрели, что у неё маленькие дети. Все ходили их кормить, пока не приехал из деревни дядя Вася. Он и сейчас живёт с ними: тёте Вале дали три года.

— Я пойду на работу и зайду к генеральше. Всё ей объясню. — Мама ушла.

Потом прибежала Лида. На голове, под шалью, у неё торчали какие-то бугры.

— Я накрутилась. А ты собираешься на вечер?

— Мне не в чем идти.

— А это что?

— Мамино платье. Оно не подходит.

— Подойдёт.

Я мерила, Лидка что-то подправляла, подвязывала поясом.

— Замечательно!

Ей хорошо говорить. Наденет платье старшей сестры, из парашютного шёлка, «полный круг», повесит на шею цепочку с камушком под названием из физики «кулон». Мне бы такой!

И вдруг я подумала о маме. Как она останется дома одна? А если за ней придут?

— Никуда я не пойду. — И рассказала обо всём, что случилось.

— Ну и что? Пойдём к нам, притащим на санках дров, отдадим.

Но я знала, что у них самих дров мало. А до конца зимы ещё очень далеко. Лида долго уговаривала, потом ушла.

Я повесила платье на место, подмела пол, перестелила кровать. Пошла вынести мусор. Возле двери стоял Витька.

— А я на вечер не иду. Приехал отец с фронта, с самой передовой! Смотри, какой он мне компас подарил!

Я вернулась домой. Нарезала из бумаги снежинок, повесила их на ёлочку и стала ждать маму. Она пришла рано. Принесла паёк к празднику: баночку

консервов «Бычки в томате», немного пшена и кулёк «подушечек». За этот день она как-то осунулась, непривычно печально глядели её глаза.

— Я ходила к начальнику. Рассказала ему всё и предупредила, что меня могут арестовать.

— И что он сказал?

— Сказал, что не стоит расстраиваться раньше времени.

— А у генеральши ты была?

— К ним кто-то приехал. Я не пошла.

— Это генерал приехал. Витька сказал.

Стемнело. Мы сидели на кровати, в тепле. У нас были продукты. За стеной громко говорило радио о наступлении наших войск под Сталинградом, о множестве плененных немцев. Но на душе было тревожно. Мы прислушивались к любому звуку, раздающемуся за дверью.

Мой папа так же прислушивался ночами к шагам по лестнице, к проезжающим на улице машинам, пока за ним не пришли. Мы не знаем, где он сейчас...

Семь часов вечера. Кто-то спускается по нашей лестнице... Стучат...

— Всё, — сказала мама. — Это за мной.

Вошла генеральша Мария Николаевна, в нарядном платье. Она смущённо улыбалась.

— Я пришла за вами. Мой муж и я приглашаем вас встречать Новый год. Виктор тоже.

И добавила:

— Пожалуйста, приходите обязательно. Мы будем вас ждать.

Она ушла, как утром, не закрыв за собой дверь. А мама долго-долго плакала.

ДАМА С СУДЬБОЙ

Он прошёл через читальный зал, мастито ссутулившись, сел за столик с тремя чахлыми гвоздиками в керамической вазе, щёлкнув замками, достал из «кейса» печатные листки. Посмотрел вокруг. Здесь было всё, как и раньше: большие портреты классиков между окнами, тяжёлая пыльная люстра с множеством лампочек-свечек, всё тот же специфический книжный запах. За небольшими столами сидели читатели: студенты, пенсионеры — все, кого удалось согнать из других залов. Одни листали книги и журналы, другие смотрели по сторонам. Когда-то давно он пришёл сюда в первый раз, «молодой, талантливый, красивый» (подумал и усмехнулся). Тогда он читал свои «первые опыты» под аплодисменты. Подготовленная временем публика легко

распознавала фиги в кармане. С тех пор жизнь так стремительно менялась, что задержать мгновения, а тем более дать им оценку — не получалось. Расцвет его провинциальной славы миновал. Теперь он писал так, по мелочам. А приглашали его к читателям, наверное, по старой памяти. Он стал читать свой лучший рассказ и понял, что тот безнадежно устарел. Почувствовал себя неловко, заторопился, стал проглатывать слова, пропускать строчки. Наконец всё это закончилось. Под вялые хлопки он спрятал свои бумажки и собрался уходить. Ведущая, библиотекарь, с подобострастием протянула гвоздики. Пришлось взять.

Шёл мелкий дождь. Деревья чернели мокрыми стволами, на голых ветках кое-где висели ошмётки скорчившихся листьев. Он втянулся в толпу уставших людей и вместе с ними зашлёпал по вязкой смеси грязи со старыми листьями. Зажглись фонари и осветили лица тусклым жёлтым светом.

Баба Лена, аккуратно причёсанная, в пёстром фартуке с оборками, ждала его в кресле с книгой в руках.

— Наконец-то! Уже волноваться стала.

— Разве я не предупредил, что после работы встреча с читателями? Вот тебе от них цветы в знак уважения, что воспитала гениального внука!

— Ну и как прошла встреча?

Он сделал вид, что не услышал вопроса:

— Что это ты читаешь?

— А то не знаешь. Чехова, конечно, кого же ещё.

Она поднялась с кресла, положила на стол заложённую очками книгу и пошла в кухню. В маленькой кухне на покрытом крахмальной скатертью столе в плетёной корзинке был разложен замысловато нарезанный хлеб. Сели ужинать.

— Спасибо! Всё было очень вкусно! — как всегда, сказал он и поцеловал бабу Лену в тёплую морщинистую щёку.

— Ты посмотри, что мне выдали. — Она покопалась в сумочке и протянула маленькую красную книжечку. — Бедный твой дед десять лет рыл землю на «великих стройках», чтобы теперь я бесплатно катаюсь в трамваях! А мне это уже давно не нужно. Магазин рядом.

— Поздравляю от души! Завтра же повезу тебя в собор. Помолишься за такое заботливое правительство. Потом поедем в кино. На очередной боевик.

— Нет уж! Прошли те дни, когда ты таскал меня, старуху, развлекаться. Лучше б с молодыми!

— Начала свою песню!

— Вот скоро умру, останешься совсем один. — Она печально улыбнулась. — Всё время об этом тревожусь, поверь. Девятый десяток. Это тебе не шутки!

Он взял газету и прилёг на диван, а баба Лена пошла к себе в угол, за книжный шкаф, стелить постель.

Поздним вечером позвонил Сергей:

— Когда ты будешь дома? Хочу принести опусы одной дамы. Посмотри как профессионал. И дай консультацию, по возможности. Своеобразная дамочка!

— Ладно. Посмотрю. — В трубке запикало.

Тоже нашёл профессионала! Вечно этот Сергей. То щенков пристраивает, то с дамочками...

В квартире было жарко. Баба Лена, кряхтя, встала, открыла окно, опять легла, но уснуть не могла. Тяжёлые мысли лезли в голову, заставляли страдать. Похоронит он её, придёт в пустую квартиру, ни родных, ни близких. Сердце сжималось от жалости. Без матери, без отца с ранних лет. Дед — в пятьдесят, отец — в тридцать. Потом мать... Повесит ещё один портрет — рядом, в такой же рамочке. Были подруги, одна, другая. Ждали, ждали, не дождались, вышли замуж. Какая тут личная жизнь в однокомнатной квартире со старухой в придачу!

Она ворочалась, поправляла подушки, вздыхала. Раньше часто ездила к брату в Москву, к приятельнице на дачу. Теперь прочно осела в шлакоблочной коробке. Продолжала, что есть сил, поддерживать домашний уют. Ради внука, как-то украсить ему жизнь. Но делать это становилось всё тяжелее.

Он тоже не спал, и пружины старого дивана стонали под его тяжёлым телом. «Жизнь пошла за второй перевал...» А вспомнить нечего. Незаметно пролетели школа, студенческие годы. Хвостов, и тех никогда не было. Не было и настоящей любви. Избегал. Боялся осложнений... Работа — ненужный заводу отдел. Он, оргтехника и пять женщин. Трёх надо бы сократить, вчера служебку принесли. А кого? Два месяца без зарплаты. И ничего не пишется...

Постепенно гасли огни напротив, замолкали телевизоры, прошёл последний троллейбус. Уличный фонарь высвечивал на полках корешки давно прочитанных книг: «Мифологический словарь», «Путеводитель по Библии», Замятин, Мережковский, Шмелёв.

Писатель... Неудачник, с пустотой впереди. С грустными думами он наконец уснул. А баба Лена долго ещё лежала на своей кровати, уткнувшись носом в ковёр и водя рукой по его незатейливому рисунку...

Как всегда, в семь, затрещал будильник. Не открывая глаз, он заткнул его пальцем. Забыв на столе свёрток с завтраком, заботливо приготовленный бабой Леной, выскочил из подъезда в неудобную темень промозглого утра, вдавился в троллейбус и долго ехал, оцепенев, ухватившись за поручень.

Вечером, когда ушёл Сергей, он включил настольную лампу, сел и открыл изрядно потрёпанную общую тетрадь с приклеенными на обложке незабудками. Поздней ночью дочитал последнее стихотворение.

Стихи, писавшиеся в течение многих лет по разным поводам, были слабые, неумелые. Но от них веяло такой свежестью и искренностью чувств, что захватывало дух. И какая судьба увиделась ему в этих беспомощных творениях! Первая любовь, первое разочарование. Замужество. Пелёнки, измены мужа... Крушение всяческих надежд. Одиночество... Словно роман прочитал. Поражала смелость, беспощадность автора к себе. Даже не верилось, что это бойкое перо принадлежит женщине...

Баба Лена давно спала у себя в уголке, а он перечитывал снова и снова, вникал и думал, представлял и фантазировал. Пока не заснул.

— Ну как? — позвонил Сергей. — Что ей сказать?

— Через посредника не могу.

— Сказать, чтоб к тебе пришла? Когда?

— Завтра. Часов в семь.

Он ходил по комнате и не знал, с чего начать разговор. Было как-то неловко. Наконец решился.

— Баба Лена, не сходишь ли ты куда-нибудь погулять или к подруге? А то всё дома и дома.

— Погода сегодня...

— Понимаешь, тут ко мне должны прийти на консультацию.

— Хорошо, хорошо, — она стала догадываться. — Пойду к Марии. Пере ночевать могу... — Она засуетилась, заторопилась.

— Не спеши. Вечером, часам к семи, ладно?

«И что же ей скажу?» Он снял с полки «Теорию литературы» и стал листать... Подзабыл. Подзабыл! Опоясывающая. Перекрёстная. Ямб. Амфибрахий... Нет, не это, не это. Нужно по существу. Дескать, есть настроение, чувство, откровенность, подобие образов. Но чудовишно! Чудовишно сделано! И эта элементарная безграмотность! Что она, классиков не читала? Может, и образования у неё нет. Так, «кулинарное училище». Он посмотрел в окно. Опять шёл дождь. Сколько можно? Целый месяц... Нет, но судьба! Судьба! И он представил себе, как бледная девочка, украдкой кропающая стишки, ночью, когда все уже спят и жёлтый месяц глядит в окно через тюлевую штору, постепенно превратилась в усталую женщину с синим гримом на веках, с седой прядью в волосах. Сигарета, вишнёвый маникюр... От восторженной девочки — до ироничной дамы...

Он услышал, как баба Лена, в своём выходном платье, надушенная и свежая, почти молодая, хлопнула дверью, отдав перед этим последние распоряжения: протереть чашки, переложить варенье в хрустальную вазочку, достать хорошие ложки... Без двадцати семь! Сейчас зайвится. Срочно переодеться! Галстук? Нет. Не подходит. Белая рубашка и шейный платок. Небрежно, по-домашнему. Расстегнуть воротник. Пожалуй, платок не надо. Брюки, брюки... Ни одни не лезут — брюшко. Только на вдохе. Не высидеть. Привык

в трениках — валяться на диване... Придёт дама! В глазах скепсис... но где-то в глубине — маленькая искорка надежды. Не всё ещё потеряно! Мы оба столько пережили и выстрадали... Ну, Сергей! Стихи — это предлог! Остроумный предлог. Он, наверное, таким способом решил познакомиться. И заодно консультация. Придумал, нечего сказать! С него станет... Дама — с судьбой. И у неё сын. Категоричный молодой человек с меняющимся голосом. Отвергает всё и всех. Готовый сын. Взрослый сын — почти молодой человек! Постараться найти общий язык. Мужские разговоры, книги, шахматы, прогулки на лыжах. Втроём. Ужин. Лёгкое вино, горячие бутерброды. Приятная усталость, румянец на щеках, забавные истории... Да, нужно что-то на стол. Конфеты. И, конечно, кофе. Гляссе — кажется, есть сливки. Немного ликёра. Это потом... Чашечки. Вот они. Залежались... Две тонкие фарфоровые чашечки с блюдцами. Почти прозрачные, невесомые, в мелких голубых цветочках. Эти чашечки подарила Лиля. Лиля, Лиля, где она, что с ней? Век не видел. Целых десять лет. Отмечали тридцать, да ещё вышла книга, первая и последняя. Были гости. Сергей пел: «Заезжий музыкант целуется с трубою...» И был бабин Ленин «наполеон». Она так устала, что еле держалась на ногах. Все ушли, Лиля осталась помогать. Убрали, потом пили кофе. В кухне, из этих чашечек... Лиля, Лиля, тонкая, как змея, в своём зелёном платье, с распущенными волосами... Не осталась. Не стал уговаривать. Довёл до троллейбуса, посадил и пошёл домой... Больше не пришла. Чашечки — как напоминание о несбывшемся... Он поправил покрывало на диване и вспомнил из песни: «...Где койка у окна — всего лишь по рублю...» Топят — сил нет! Открыл окно. Подошёл к зеркалу. Щетина. Некогда, пусть так. А то подумает, что специально готовился. Теперь — бра. А общий свет... Нет. Не годится, всё это потом. На стол — альбом. Бакст или Шагал. А она знает, кто такие? Пусть поллистает. Музыку прямо сейчас. Что-нибудь небанальное, но достаточно комфортное: лютни, например, или джаз. Вот она, пластинка. Большая старая долгоиграющая пластинка. Вертушка, правда, времён очаковских... Медвежонок запылится. Наташа, любовь моя школьная! Как подарила, с тех пор стоит. А у неё дочь уже замужем...

Позвонили. Торопясь, шаркая домашними туфлями, пошёл открывать. Соседка принесла яблоки.

— Спасибо, Васильевна! Вы так добры! — Вымыл яблоки и уложил в хрустальную вазу. Устал, сел на минуту в кресло.

Дама не приходила. Наверное, не придёт. И вообще, всё это — абсурд. И стихи, и дама. Зачем только старуху стронул с места. Сидела бы и читала своего Чехова. «Не много ль я хочу, всему давая цену...» — опять всплыло из песни.

...Она вошла и принесла с собой букет запахов: прелых осенних листьев, дорогих духов.

— Здравствуйте! Нарушила ваш домашний регламент? Сергей сказал, что вы страшно занятой человек... Я ненадолго.

Ничуть не смущаясь, дама расшнуровала высокие ботинки, сама повесила кожаный коричневый плащ, тщательно причесалась у зеркала. Она выглядела значительно моложе, чем он себе представлял. Её можно было бы назвать красивой, если бы не излишний макияж: густые коричневые волосы, большие весёлые карие глаза, длинные, сильно накрашенные ресницы, яркий румянец на щеках... Она удобно устроилась в кресле, аккуратно расправив складки тёмного шёлкового платья.

— Я читала вашу книгу. Давно. Она мне очень понравилась. Особенно рассказ про несчастных телят. Сколько времени прошло, а они стоят передо мной, как живые. В своём загоне, по колено в грязи, такие худенькие, с печальными глазами. Снег сыплется, сыплется, и никому до них дела нет... И сейчас у меня сердце разрывается от жалости!

— Устарел этот рассказ. Безнадёжно устарел. Ну так что, начнём? Может, сначала кофе? Или чаю?

— Нет, что вы! Спасибо. Я не буду у вас много отнимать времени. Готова слушать всё, что вы скажете. Не стесняйтесь в выражениях. Никогда никому не показывала из профессионалов. Читала подругам, им нравится...

Он открыл тетрадь. Перевернул несколько страниц.

— Понимаете, у меня к вашим стихам отношение сложное. Нравится искренность, смелость. Можно сказать, отвага. Не каждый может так — из себя. Скажите, это... не биография? Откуда вы берёте сюжеты? Я не спал всю ночь под впечатлением...

— Ещё в школе стала сочинять. Никому не показывала. Сначала о себе. Потом надоело: всё так банально, благополучно, без конфликтов. Полюбила, вышла замуж, не разлюбил, — она весело засмеялась. Сверкнули длинные серьги в ушах. — Пишу обо всём, что рассказывают подруги, друзья, мама, муж, а теперь и старший сын! Присочиняю кое-что. Всё очень просто! Теперь уже так привыкла, что не мыслю, — снова засмеялась, — дня без строчки. Вчера ещё три наляпала. Хотите, прочту?

— Но всё, между прочим, очень плохо!

— Я знаю, что плохо. Это Сергей заставил: «Покажи, покажи, может, в тебе великий поэт погибает».

— А если сесть и поработать?

И он прочитал ей лекцию о том, как нужно писать: о рифмах и ритмах, о традициях... Она внимательно слушала и улыбалась.

— Спасибо за такой глубокий анализ и консультацию. Только переделывать... зачем? Всё равно не напечатают, да мне это и не нужно. А теорию литературы я, вообще-то, сдавала. На пятёрку сдала. Потом забыла. Мой любимый профессор даже не догадывался, что я сама сочиняю... Вот. А вчера, например, готовлю ужин, смотрю в окно. На деревьях ни одного листочка, а вишня вся красная, как ни в чём не бывало. Написалось что-то...

— И все же, кофе? — он включил проигрыватель. Тихо зазвучала музыка.

— Нет, нет, надо идти.

— Могу я задать вам банальный вопрос?

— Конечно.

— Вы... счастливы?

— Пожалуй, да, — она легко вздохнула, поднялась с кресла, поправила причёску.

— Я провожу вас?

— Нет, не надо. Большое спасибо за консультацию, и вообще, мне было так интересно с вами. Сергею спасибо, что познакомил.

Он помог ей надеть плащ и проводил по лестнице вниз. Навстречу с фонариком и полным ведром картошки поднималась соседка. Она внимательно и с одобрением посмотрела на даму.

— Ну что ж. Прощайте. Желаю вам творческих успехов. Стихи всё-таки пересмотрите тщательно и подправьте. Работы с ними — непечатый край. Потом покажем в журнале кому надо.

— Может быть, — она улыбнулась и помахала рукой.

Поднимаясь по лестнице, он увидел через окно, как дама подбежала к высокому мужчине, взяла его под руку, и они скрылись в тёмной улице.

Дома было тепло, уютно. Пахло кофе. На столе стояли пустые чашечки, блестели маленькие серебряные ложки. Лютни ласкали слух. Сиротливо выглядывал из-за книжного шкафа диван бабы Лены, аккуратно застеленный клетчатым пледом. «Как она будет спать на чужой кровати?..» Он снял с проигрывателя пластинку, включил телевизор. В новостях кто-то кого-то убивал, убивал, убивал... Щёлкнул выключателем — экран погас. Расстелил свою постель, лёг, развернул газету. Не читалось. Выключил свет. Стали слипаться глаза. «А ничего был бы сюжет. Вот так, как есть... И вообще, пусть — всё, как есть...»



Андрей Николаевич Агафонов – прозаик. Родился в 1972 году в Смоленске. Автор книг (жанр – фэнтези): «Повести Куницына» (Смоленск, 2008) и «Последний поход» (Смоленск, 2010). Писать начал ещё в школе. Один из первых школьных рассказов вошёл в книгу «Повести Куницына». Печатался в альманахах «Под часами», «Сторона родная». Автор научно-популярной статьи на разделе истории медицины и русской словесности («Вестник СГМА»).

СОН ЛУКИЧА

В субботний вечер Лукич явился в школу на суточное дежурство. Должность сторожа в единственном учебном заведении крошечного районного городка не предполагала особой ответственности. Красть в школе, кроме старых парт, мелков и коллекции пожелтевших картинок со сценами жизни древних животных, было абсолютно нечего. Но только не в предстоящую ночь. Ночь будет последней перед важным событием – выборами. И значит, – особой. И уж тройне особой она будет для Лукича. Во-первых, он будет охранять покой не просто в школе, а в главном и, между прочим, единственном городском избирательном участке. А во-вторых, под его персональной опекой окажется святая святых – избирательная урна. Сам мэр города Андроний Всеславович Столетов передал урну Лукичу, похлопал его по плечу, пожал руку и строго напутствовал:

– Лукич, с урны глаз не своди, на пушечный выстрел никого к ней не подпускай. В твоих руках судьба демократии.

– Не сомневайтесь, Андроний Всеславович, не провороним. Не в первый раз.

Лукич был настроен серьёзно. Он понимал значимость момента, и слова государева человека глубоко запали в его стариковскую душу.

К восьми часам вечера учителя под руководством директора и завхоза, завершив превращение спортзала в зал для голосования, разошлись по домам. Лукич запер за ними дверь и остался в школе один.

Потушив в коридорах и в зале свет, Лукич прошёл в кабинет директора и степенно уселся рядом с урной. Стеречь доверенную драгоценность приходилось не в привычной подсобке – во всей школе только на окне директорского кабинета имелась железная решётка.

На улице меж тем установилась совершеннейшая ночь. Чтобы не привлекать к себе ненужного внимания посторонних лиц, Лукич соблюдал све-

томаскировку. Впрочем, дежурство в темноте было для него обычным делом. Искусственный электрический свет он не любил. А зажигать живой огонь в деревянных стенах старой школы категорически запрещалось.

В вечернее и ночное время каждые два-три часа Лукич устраивал обходы по вверенному его заботам объекту. Проверял двери, окна, классы, актовый зал и столовую. Но как совершать обходы в эту ночь? Урну без присмотра не бросишь. А таскать за собой по всей школе такую обузу тяжело. Что делать? Как быть?

Лукич задумался. Но мысли его постепенно перешли с этих маленьких, но не решённых вопросов настоящего на прошлое. По стариковской привычке, конечно. С чего бы ещё? Минуты ползли медленно, как улитки. Было темно, тепло и тихо-тихо...

Неожиданно прямо под носом сторожа громко и как-то очень подозрительно закричала половица. Лукич вздрогнул, открыл глаза. И что бы вы думали, он увидел? В тусклом свете заглядывающей в окошко луны какой-то лохматый тип склонялся над урной и самым наглым образом пытался засунуть в неё толстенную пачку избирательных бюллетеней.

— Ах ты ж! — воскликнул Лукич, вскочил на ноги и хватил кулаком по спине наглого фальсификатора.

Лохматый взвыл и, рассыпав по полу поддельные бюллетени, кинулся наутёк. Перед тем, как его фигура скрылась во мраке коридора, Лукичу показалось, что сзади у него болтается длинный хвост. Но, конечно же, не сам хвост смутил задремавшего сторожа, а его обладатель.

— Вот ведь пакость, — недовольно бурчал Лукич. — И как этот злыдень сюда забрался. Должно быть, с чёрного хода дверь ножовкой подпилит. Слабая там дверь. Но погоди. Сей же час поймаю тебя и сотру в котлету.

Лукич двинулся следом за лохматым налётчиком. Но остановился. Урна! Оставь её тут без надзора — тут же стянут или напихают в неё чёрт знает какого мусора. Придётся брать её с собой. Лукич согнул спину колесом, перехватил урну поперёк левой рукой и, изловчившись, одним рывком оторвал её от пола. Как будто не тяжела. Даже наоборот, бодрости придаёт.

Лукич осторожно выглянул из кабинета директора, огляделся, вышел и аккуратно запер за собою дверь. Коридор был пуст. Хотя в ночном мраке и видно было всего шагов на пять, в какую ни возьми сторону.

Где-то в дальнем краю мелькнул тусклый огонёк. Послышалась чья-то шаркающая поступь. Лукич присмотрелся, прислушался. Через минуту из темноты показался невысокий дядька. Освещая себе дорогу горящей свечой, он шёл прямо на Лукича. Сторож внимательно оглядел незнакомца и пришёл к заключению, что этот совсем не тот, что над урной колдовал и получил кулаком промеж лопаток. Тот был высокий, худой и какой-то шалый. А этот, наоборот, — низенький, толстенький, одет в аккуратный стеганный ватник с кошачьим воротником. А на ноги бос.

— Эй ты, — окликнул низенького Лукич, — зачем огнём балуешь? Инструкцию, что ли, не читал? Погаси свечу немедленно.

Низенький спорить не стал. Тут же задул свечу и, помусолив фитиль слюнявыми пальцами, сунул её в карман. Подойдя к Лукичу вплотную, он в свою очередь внимательно оглядел его и недовольно произнёс:

— А что это вы тут делаете, да ещё с избирательной урной? Выборы-то с минуты на минуту начнутся. Будьте добры, проследуйте в актовЫй зал.

— Неужели я выборы проспал, — хлопнул себя по лбу Лукич, — вот незадача.

Он пошёл следом за низеньким.

— А почему в актовЫй? — вдруг спросил он. — Ведь выборы в спортзале состоятся.

— В актовом пока проходит встреча кандидатов с избирателями, то есть с нами. Прибавьте шагу, не то опоздаем.

— Ух ты! — воскликнул Лукич и покрепче прижал к себе заветную урну. — Это в нашу-то глушь кандидаты пожаловали. А что, один кто-то или всем скопом?

— А чему тут удивляться, — через плечо бросил низенький, — голоса-то всем нужны. Об этом и в газетах писали, и по телевиденью тоже.

В коридоре как будто немного посветлело. Лукич стал замечать, что в одном с ними направлении движется достаточно много разношёрстной публики. Виднелись и мужские лица, и женские, и молодые, и старые.

В актовом зале Лукич и его низенький знакомый заняли два последних свободных места. Так что те, кто прибыл следом за ними, рассаживались кто на подоконники, а кто прямо на пол. Аккуратно положив себе на колени урну, Лукич осмотрелся по сторонам. Никого из присутствующих он не узнавал, хотя прежде мог поклясться, что знает всех своих земляков в лицо.

Собравшееся общество производило впечатление неухоженности и расстрёпанности. Одежки у большинства были пошты из старых драных рогож и овчин. Однако кое-где виднелись и довольно приличные костюмы и шубы, а в одном месте торчал даже какой-то старомодный ревенгот изумрудной масти.

— Это ж кто такие? — удивлённо спросил Лукич. — Вместе с кандидатами, что ль, приехали?

— Все до единого тутощние, — мотнул головой низенький, — вон домовые с кикиморами, вон банники, вон лешие, водяные, луговые, ну и прочие все. А ты-то сам, школьный, что ли?

— Вроде того, — поскрёб затылок Лукич, дивясь про себя, как это он так запросто попал в разряд школьных духов, о существовании которых, надо заметить, отродясь не слыхивал.

Тем временем из-за шторы на невысокую сцену один за другим вышли три кандидата и сразу же уселись за стол. Лукич заметил, что сидели они как-

то странно, пряча за фасад покрытого широкой скатертью стола и руки, и большую часть своих тел. Всеобщему обозрению были открыты только их головы, шеи, перевязанные разноцветными галстуками, и верхние части плеч.

Щурясь и напрягая уже давно потерявшее свою остроту зрение, Лукич принялся рассматривать физиономии кандидатов. Но тут один из них, тот, что сидел по центру, разинул громадных размеров пасть и гаркнул, как из пушки стрельнул:

– Кончай базар!

Разнокалиберный гомон в зале прекратился. А кандидат продолжил:

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы всенародным тайным голосованием выбрать лидера всех домовых, дворовых и прочей, тьфу, нечисти.

Кандидат говорил, словно поленья колуном сёк:

– Тёмные времена, когда вами правил этот, как его...

– Змей Горыныч, – пискнул кто-то из зала.

– Да, Змей Горыныч, давно прошли. Теперь времена новые. Вы сами будете выбирать меня...

– Или меня, – подал голос другой кандидат, тот, что сидел справа.

– Да, или его, или вон его, – сидящий по центру по очереди кивнул на двух своих соседей. – Я лично обещаю вам ежедневную сытость.

– А я упитанность! – выкрикнул кандидат, тот, что справа.

– А я бодрость! – не отставал тот, что слева.

– Да, он бодрость, – рыкнул кандидат, сидевший посередине. – А ещё я покрашу все ваши заборы красивой жёлтой краской. А на каждом вашем столбе повешу по покойнику, то есть, тьфу, повешу по фонарю, чтобы вы по ночам своими ногами за кочки не цеплялись.

– Простите, – раздался из зала чей-то голос, – меня, как представителя независимой лиги свободных водяных и болотных, волнует следующий аспект: в зоне нашего обитания нет ни заборов, ни столбов. Какая, простите, от ваших реформ будет для нас польза?

– Я тебе, зелёная гнида, слова не давал, – клацнул зубами кандидат, тот, что по центру.

А который слева добавил:

– Таких, как ты, в клозетах топить надо.

По залу прокатился смешок. Шутка заключалась в том, что поди – попробуй утопить водяного.

– Куда Ваньку-Дурака дели!? – раздался чей-то приглушённый возглас.

В зале тут же повисла мёртвая тишина. А все три кандидата заволновались и чуть не хором принялись голосить:

– Это кто сказал!? Я спрашиваю: это чья поганая глотка про Ваньку-Дурака тьявкнула!? А-а-а!?

Никто не признавался. Тогда кандидат, тот, что по центру, сделал знак двум своим конкурентам замолчать и продолжил в одиночку:

— Тысячу раз повторял вам, бараны, — Ванька — наймит, проклятый популист и просто собака. Кроме того, он не собрал нужного количества подписей и не может считаться кандидатом в лидеры вашего пёсего стада. Здесь всего три кандидата — это я!!!

Последние слова вновь были произнесены хором.

— Короче, сейчас все организованно отрывают свои зады от кресел и идут в спортзал для голосования.

— А куда голосовать будете? — воскликнул вдруг низенький знакомый Лукича. — Ведь урна для голосования здесь, у нашего школьного коллеги.

Все повернули головы в сторону Лукича. А кандидаты смутились и о чём-то зашептались меж собой.

Лукич, слегка оробев от всеобщего внимания, поднялся.

— Это ничего, граждане, что урна у меня. Урна, она ведь того, для голосования и предназначена. Я, то есть, сей же час в спортзал вместе с вами отправлюсь и урну для вашего волеизъявления предоставлю.

Следом за Лукичом все начали подниматься со своих мест. И тут Лукич заметил, что один из избирателей направляется не к выходу из актового зала, а к сцене, к столу с сидящими за ним кандидатами. Лукич пригляделся и узнал в нём того самого лохматого, который с час тому назад пытался накормить фальшивыми бюллетенями его урну. Точно, это был он. И хвост сзади всё так же болтается. Лисий такой, пушистый хвост.

Лохматый подобострастно склонился перед компанией кандидатов и о чём-то быстро стал докладывать им, то и дело оглядываясь на застывшего в центре зала Лукича и указывая на него пальцем. Кандидаты не дослушали доклад лохматого. Один из них вдруг ухватил его зубами за шиворот. Да, да, не рукой, а именно зубами. А второй, что-то коротко рыкнув, так боднул своей широкой головой, что агент-неудачник кубарем покатился со сцены в зал.

Кандидаты чинно поднялись и тут же скрылись в глубине сцены за шторами. Актальный зал тем временем совсем опустел. Почти все избиратели покинули его, с тем чтобы перейти в спортзал для голосования. Остались лишь Лукич и лохматый.

Агент Горыныча, потирая разбитый лоб, на цыпочках подбежал к Лукичу и, остановившись от него на довольно приличном расстоянии, промямлил:

— С вами говорить хотят. Пожалуйте на сцену, за портьеру.

— Как дам сейчас! — замахнулся на него Лукич, но, видя плачевное состояние лохматого, ни тузить его, ни угрожать больше не стал.

А, крепко прижимая к себе урну, последовал на сцену.

В небольшом закутке среди складок занавеса Лукича поджидали кандидаты — все трое.

— Что хочешь за урну? — без церемоний спросил тот, который за столом сидел по центру.

Он и сейчас в компании двух своих конкурентов продолжал занимать центральное положение.

Лукич не спешил с ответом. При ближайшем рассмотрении кандидаты показались ему особо чудными. Густые длинные шевелюры на их головах сильно смахивали на парики. Бороды и усы тоже были явно накладными. Физиономии покрывал такой толстый слой крема и румян, какой постеснялась бы намазать на себя самая последняя гулящая девка. Но главная особенность, или скорее уродство, кандидатов было не в этом, а в том, что у них не было ног. Скрытые под пиджаками тела оканчивались толстыми змееподобными хвостами, такими длинными, что концы их терялись под тяжёлой тканью портьер.

— Так что хочешь за урну? — нетерпеливо повторил кандидат.

— А у тебя есть что предложить? — вопросом на вопрос ответил Лукич.

— Много! — рявкнул кандидат и тут же ощутил у своего носа тяжёлый кукиш Лукича.

— Это бунт, коллеги, — потерянно просипел кандидат тот, что справа, и вдруг мёртвой бульдожьей хваткой вцепился в руку Лукича.

Остальные атаковали его с другой стороны. Урну Лукич, конечно, выпустил, но только для того, чтобы освободившейся рукой отоварить распоясавшихся кандидатов такими кренделями, чтоб им вовек сладкого не хотелось. Хоть и был Лукич стар, но ещё крепок. Управившись с троицей, он обнаружил ещё одно их уродство. Во время драки с левого кандидата был сорван пиджак. Под ним не оказалось ни туловища, ни рук, а продолжение всё того же хвоста. Головы кандидатов держались непосредственно на хвостах. А иллюзия полноты тел придавалась тряпьем, набитым под пиджаки и напиханным в рукава.

И тут страшное подозрение закралось в сознание Лукича. Пока кандидаты охали и прикладывали разбитые носы к холодному полу, Лукич быстро зашёл к ним в тыл и приподнял край занавеса, прикрывающего их хвосты. Но никаких хвостов там не оказалось. За занавесом находилось одно общее для трёх кандидатов тело размерами и формой напоминающее упитанного хряка. Тело было облачено в богатую соболью шубу. Хвосты оказались никакими не хвостами, а шеями, произрастающими из широких жирных плеч.

— Так я и думал! — воскликнул Лукич. — Змей Горыныч, если не ошибаюсь.

— Ну, предположим, Горыныч, — хмуро бросил разоблачённый Змей. — Что дальше?

— А то, — поучительно произнёс Лукич, — что один гражданин под тремя фамилиями в выборах участвовать не может. Это прямое нарушение выборного законодательства.

— В самом деле? — издевательски заржал Змей. — Вот удивил.

Лукич хотел было усовестить мерзавца, но рассудив, что затея эта совершенно бесполезная, спросил у него:

— Зачем тебе этот цирк нужен, с выборами? Правил бы ты по-прежнему, как и сто, и двести лет назад.

— Хе-хе-хе, — захихикал Горыныч, — ошибся ты и сразу два раза. Двести и даже сто лет назад правил не я, а мой папаша, который недавно благополучно почил. А ещё, понимаешь, времена изменились. Раньше в каждом уважающем себя крае монарх был, а теперь демократия. Без этой демократии с тобой и разговаривать никто не станет, — Змей вздохнул, — приходится следовать духу времени.

— Так ты наследник — Горыныч второй?

— Нет, не наследник, — поправил Лукича Змей, — преемник. Слушай, мой лохматый помощник дураком оказался. Я ему приказал урну по-тихому сюда принести, а он прямо в кабинете директора начал в неё бумаги засовывать. Отдал бы ты мне урну сейчас, а? Тем остолопам волю дай — они так наголосуют, что потом семерым не расхлебать.

— Не-е-ет, — покачал головой Лукич, — мне Андроний Всеславович велел урну никому до выборов не давать.

— Что ж, ладно, — сник Змей. — А я ведь тебя ещё в актовом зале распознал. Ведь никакой ты не школьный дух. Ты человек! Вот ты кто! Теперь ты в школе сторожем работаешь, а прежде учителем рисования и труда был. Так ведь?

— Так, — кивнул Лукич.

— Ты ведь живность всякую рисовать любишь, — хитро прищурился Горыныч, — птичек там всяких, зверьков.

Видя, что Лукич не противоречит, Змей продолжил:

— А хочешь, я тебе такого зверя подарю, какого ни у кого нет, и какого никто не выдывал. Череп папаши моего.

— Что ты, не надо, — замахал рукою Лукич, — прах усопшего...

Горыныч поморщился.

— Папаша мой, честно говоря, был откровенная скотина. Напивался до зелёных чертей. И в пьяном виде меня — своего единственного сына и преемника — пребольно избивал палкой. Так что мне его костей несколько не жалко. Тем более что тебе я подарю всего один череп, а у меня ещё два останутся.

— Но урну я тебе всё равно не отдам, — подумав, сказал Лукич.

— Я понял, — обречённо вздохнул Змей.

Он повернулся и затопал вглубь сцены на своих коротеньких когтистых лапах. Но не прошло и пяти минут, как Горыныч появился вновь и сунул в свободную от урны руку Лукича череп своего папаши. Мёртвая голова Горыныча-старшего была лобаста, зубаста, рогата и тяжела — полпуда, не меньше.

— Заверни, — следом за головой Горыныч протянул Лукичу кусок старой ветоши.

Обмотав череп тряпкой, Лукич вспомнил о времени и извлёк из кармана старые часы.

— Боже мой, — воскликнул школьный сторож, — времени без четверти девять! Выборы в восемь начались. А я до сих пор с тобою лясы точу.

Старик прижал к одному боку урну, к другому — свёрток с мёртвой головой и решительно пошёл прочь со сцены.

Не сдаваясь, Горыныч засеменил следом. Отведав кулаков Лукича, он больше не решался нападать на человека, а только просил:

— Ну отдай, ну, пожалуйста. Ты не представляешь, что будет, если пустить дело на самотёк — анархия, бунт кровавый и бессмысленный. Отдай.

— Но-но, — Лукич резко пресёк все увещевания Змея, — ты моим сознанием манипулировать прекращай. Я тебе не леший какой-нибудь.

Горыныч отступил.

— Как знаешь, — бросил он Лукичу, — за последствия сам отвечать будешь.

Без происшествий одолев половину школьного коридора и лесенку в десять ступеней, Лукич вошёл в спортзал. И что же он увидел? Всё кругом было плотно заполнено избирателями — теми самыми домовыми, дворовыми и лешими. Все они слушали оратора, который, взгромоздившись на груду матов у входа в раздевалку, кричал отрывисто и зло:

— Граждане избиратели!!! Свобода в опасности!!! Проклятый выкормыш Горыныча хочет сорвать наши выборы! Он обескровил нашу молодую демократию! Он украл урну для голосования!

По толпе раскатистым эхом прокатился тяжёлый вздох.

Лукич встал на цыпочки, вытянул шею и поверх чужих голов присмотрелся к оратору. У крикуна патлы до плеч, борода из мочалки, краснощёкая напомаженная физиономия. Так это же один из кандидатов, точнее, одна из голов Змея Горыныча. А сам Змей, видать, в раздевалке прячется.

— Как же ты вперёд меня поспел? — недовольно пробурчал Лукич. — Резвы ты, однако.

— Он хочет возвращения мрачных времён! — продолжала вопить Змеиная голова. — Он всех нас погубит! Вот он, злодей! У входа притаился!

Тысяча суровых, мрачных лиц повернулась в сторону Лукича.

— Да что вы, братцы, — воскликнул Лукич, — врёт он! Я урну вам же для голосования и нёс!

В голосе его чувствовалась растерянность.

— А ещё он хочет возродить культ проклятого Змея! — подлила масла в огонь Горынычева голова. — Граждане, гляньте — у него череп Змеюки проклятого. Кумира, божка себе изыскал и нас всех на поганые мощи молиться заставит.

— Да ты что, — заволновался Лукич. — Сам же мне этот череп подсунул, а теперь вон что запел. Братцы, это не кандидат никакой. Это сам Змей Горыныч и есть.

— Врёт собака!!! — неистово замотал головой кандидат, закрутил, как мельница, руками, подпрыгнул так высоко, что даже Лукич с довольно приличного расстояния заметил, что и руки и ноги у кандидата на месте.

А ни длинной шеи, ни хвоста нет. Точнее, хвост есть, только не змеиный — зелёный и чешуйчатый, а лисий — рыжий.

— Лохматый, — ахнул Лукич.

— Граждане, — не унимался заgrimированный агент Горыныча, — а посмотрите, во что у него череп обёрнут. Это же рубаха Ваньки-Дурака. Ванькиной же кровушкой обагрена. И с дыроу от ножа на груди. Он Ваньку нашего и убил!!!

От такого неслыханного обвинения Лукич смутился. Пока он размышлял над ответом, группа болотников схватила его. Урна и череп были вырваны из его рук. Один из болотников в доказательство правдивости слов кандидата-оратора на всеобщее обозрение высоко поднял мёртвую голову Змея. А другой — ветошь, которая действительно походила на старую драную рубашку, испачканную чем-то багровым.

— Дело ясное! — надрывно выкрикнул лохматый. — И урна уворованная при нём, и мощи сатанинские, и рубище убиенного Ваньки! Бейте его!!!

Толпа рассерженной, растревоженной волной качнулась к Лукичу, накрыла его и погребла под собой. Но, перед тем как упасть, Лукич успел заметить, как в коридоре показались три головы младшего Горыныча, а в зал аккуратно просунулась его чешуйчатая лапа, уцепилась за урну и тихонько выволокла её вон.

Биться с толпой в одиночку — дело бесполезное и крайне ущербное для здоровья. Умудрённый многолетним опытом жизни, Лукич помнил об этом. А посему поначалу оказывать сопротивление разъярённым избирателям не собирался. Но, сообразив, что Андроний Всеславович за пропажу урны и срыв выборов уж точно его не похвалит, решил сопротивление толпе оказать и урну у коварного Горыныча изъять. Доказывая все преимущества существа теплокровного, вооружённого поперечно-полосатой мускулатурой, Лукич хотя с трудом, но поднялся на ноги и поднял над собой целый стог атаковавших его водяных, домовых и болотных. Аккуратно уложив груды избирательских тел на пол, а особо настырным влепив по затрещине, Лукич вырвался в коридор и пустился в погоню за Горынычем.

Но не успел он одолеть и половины расстояния до актового зала, как из одного учебного класса послышался громкий стон. Лукич остановился, открыл дверь и осторожно заглянул в класс.

Из-под ближней к двери парты торчала пара чьих-то ног. Ноги были обёрнуты в грязные онучи, на которых виднелись обильные следы крови. Лукич ахнул и, ухватив раненого за лодыжки, аккуратно выволок его из-под парты.

Незнакомец и одёжкой, и лицом своим был грязен и чёрен необыкновенно, будто в печном дымоходе побывал. Но не грязь взволновала Лукича, а большое кровавое пятно, поверх черноты разлившееся по драной косово-

ротке незнакомца. Кровь была и на полу. Широкой багровой полосой протянулась она из-под парты следом за раненым.

– Эй, – позвал Лукич, – ты живой?

На оклик Лукича незнакомец тут же открыл глаза.

– Пока живой, – простонал он. – Змей проклятый меня ножом пырнул, когда я за ним вдогон пустился и урну вернуть хотел.

– Ой, беда, беда, – запричитал Лукич, – жалко – я во врачевании не силен. Погоди, сейчас до учительской добегу. Там телефон – скорую помощь вызову.

Но раненый покачал головой и твёрдо произнёс:

– Не время лечиться. Нужно Горыныча найти и выборы народу вернуть. Зажав ладонью раненую грудь, незнакомец поднялся.

– Ты герой, – с уважением воскликнул Лукич. – Как звать тебя?

– Моя гражданская позиция – не быть равнодушным, – бодро произнёс раненый, – а зовут меня Ванька-Дурак.

– Как, неужели ты и есть!? Тебя же там все обыскались.

– Я знаю, – кивнул Ванька, – народ ценит меня и любит. А я социальную справедливость люблю, за что постоянно и страдаю. Ты, Лукич, в актовом зале Горыныча искать собрался. Он в подвале спрятался и урну туда уволок.

– Хм, – Лукич поскрёб колючую щёку, пробитую жёсткой седой щетиной, – тогда пойдём в подвал.

Увлечённый погоней, он не задумался, откуда этот новоявленный Ванька знает, как его, Лукича, зовут.

Подвал занимал собой почти ту же площадь, что и наземная часть школы. В подвале находились водопроводные стояки, отопительный котёл, склад угля для котла и овощехранилище для школьных обедов. Вход в подвал представлял квадратное отверстие в полу, накрытое деревянной крышкой. Сверху вниз совершенно отвесно вела железная лестница.

– Там он, – на ухо Лукичу зашептал Ванька, указывая на вход в подполье.

Лукич с усилием откинул в сторону крышку, склонился, заглядывая в подземные владения школы. Темно в подвале – хоть глаз выколи. Единственное, что абсолютно точно сумел определить Лукич, так это то, что ведущая вниз лестница куда-то пропала.

– Эй, Ваня, – не отводя глаз от чёрной ниши под ногами, проговорил Лукич, – щёлкни там рубильник на стене – свет в подвале включить надо.

Но вместо света Лукич вдруг получил толчок в спину такой силы, что не удержался на ногах и рухнул в подвал. Хорошо – шею не сломал, а только зашиб голову и плечи. Хорошенько выматерившись и таким образом облегчив страдания от лобового столкновения с подвальным полом, Лукич встал на ноги. Причина падения всё ещё оставалась для него загадкой.

– Ваня-я-я, – растерянно и глухо позвал он, – руку подай, вылезти помоги отсюда.

Ответа не последовало. Зато почти сразу за его словами вверху в светлом квадратном проёме входа в подпол появились четыре головы. Одна Ванькина и три Змея Горыныча.

— Попался, — злобно процедил Змей, — будешь знать, как мешать свободному волеизъявлению моих граждан.

Ванька осклабился, блеснул крепкими жёлтыми зубами и подобострастно взглянул на Змея Горыныча.

— Иди — умойся, — прикрикнул на него Змей, — и водички с собою прихвати. Погорячее!

Ванька пропал.

— Это он тебя толкнул, — снова обращаясь к Лукичу, произнёс Змей, — по моему приказу.

— Догадался уже, — крикнул Лукич.

— Вот что, — продолжил Змей, — урна у нас, но подготовленные избирательские бюллетени в кабинете у директора остались. Помнишь — ты моего агента спугнул, он листы рассыпал. Так они там и лежат. Давай мне сейчас ключ от директорского кабинета. Ведь ты его, уходя, запер. А мы без ключа туда попасть никак не можем.

— Никакого ключа я тебе не дам, — спокойно произнёс Лукич, — и погоди — вылезу отсюда, поймаю, все три твои морды начищу.

Горыныч захихикал:

— А ты сперва вылези.

Раздался шум чьих-то быстрых шагов. В подвал вновь заглянул Ванька. На этот раз его физиономия была чисто вымыта от сажи и красной краски, которую он выдавал за собственную кровь. Завидев его, Лукич чёрта помянул. Никакой это был не Ванька, а уже знакомый агент Горыныча — лохматый. Выходило, что Лукич уже второй раз ошибался, принимая хитрюгу лохматого за другую личность.

— Принёс? — спросил Горыныч у лохматого.

— Да, принёс.

— Отдашь ключ? — снова обращаясь к Лукичу и глубоко опуская вниз рассерженные головы, прорычал Горыныч.

— Не дам, — отрезал Лукич и, немного подумав, добавил: — У меня здесь ещё одна лестница припрятана на всякий аварийный случай. Сейчас я за ней схожу, вылезу и тогда...

— Шпарь его!!! — истошно завопил Горыныч.

Как видно, известие о спрятанной лестнице очень не понравилось ему.

Лохматый выхватил из-за спины принесённый с собой чайник с кипятком и одним махом выплеснул его на Лукича. Он вскрикнул от нестерпимой боли и, обхватив обваренные бока, волчком закрутился на месте.

Горыныч довольно потёр пухлые ладошки. Чувство безнаказанности опьянило его, и, потеряв бдительность, он слишком низко опустил свои го-

ловы в подвал. Очень уж хотелось ему поближе посмотреть на перекошенное от боли лицо Лукича.

— Что, козёл старый, получил на орехи, — ухмыльнулся Горыныч, — гляди, сейчас ещё добавим, если ключ не отдашь.

Но лучше бы он молчал. Разъярённый Лукич собрал все свои силы и, высоко подпрыгнув, схватил Горыныча за одну из свисающих вниз длинных гусиных шей. Схватил и рванул на себя.

Если бы Горыныч там наверху успел ухватиться за какой-нибудь выступ или же упереться лапами в пол, то Лукич попросту оторвал бы ему одну из голов. Но ничего подобного не произошло. Горыныч плюхнулся в подвал, как куль с песком.

Хотя и была атака Лукича неожиданной крайне, а последующее за ней падение ещё менее ожидаемым, Горыныч всё ж таки заранее подготовил себя к подобному повороту событий. Он заменил соболью шубу на надёжную золотую кольчугу и запасся парой длинных булатных ножей. Ну и, конечно же, упав, разлёживаться не стал, а довольно резво подскочил, выхватил ножи и, целясь одним Лукичу в грудь, а вторым в горло, кинулся в атаку.

Схватка вышла короткой, яростной и кровавой. Горыныч нанёс Лукичу несколько глубоких колотых ран, но этим только ещё сильнее разъярил старого школьного сторожа. Менее чем через минуту один нож, выбитый ловким ударом, канул куда-то в подвальную темноту, а второй, вырванный из лап Горыныча, оказался уже в руках самого Лукича. И тут сторож разделался с гадом, как повар с картошкой. Одним махом он отсёк сразу три Змеиные головы, которые, подобно мячам, поскакали в разные стороны. А обезглавленное тело замерло, бестолково зашевелило культиями длинных шей и упало, как подкошенный репейник.

Лукич глубоко и судорожно вздохнул. Отступил назад, стараясь не замочить ног в луже зелёной крови.

И тут привиделось ему странное. Будто на обрубках шей, словно почки на вербе, начинают распускаться новые головы. Размазывая по лицу горячий пот вперемешку со своей алой человеческой кровью, Лукич протёр глаза. Так и есть — растут новые головушки у поганца. Сторож стиснул зубы, высоко поднял нож и вновь шагнул к змею.

— Не, так у тебя ничего не выйдет, — раздался сверху голос лохматого, — сколько головы ни руби, на их месте новые вылезут. Нужно тулово ему раскроить. Гуляш из него приготовить, фарш котлетный.

В последних словах лохматого слышалась такая ненависть и неприкрытая злоба к своему бывшему хозяину, что даже Лукич содрогнулся.

— Видать, сильно он тебя доконал, — пробурчал Лукич, а вслух произнес: — Опять брешешь или теперь взаправду говоришь?

— Правду, — затряс головой лохматый.

Лукич понимал, что совет ему даёт подлец и первостатейный обманщик, но речи лохматого на этот раз казались не лишёнными смысла.

Сторож побряхтел, повздыхал, стянул со змея золотую кольчугу, поплевал на ладони и, морщась от отвращения, принялся шинковать его, как какой-нибудь кочан капусты, предназначенный для зимней засолки.

Управившись, он заметил, что головы-почки свой рост прекратили и как будто сморщились и завяли.

— Вот так-то лучше, — произнёс Лукич.

Он хотел попросить лохматого принести украденную им и Горынычем лестницу, но лохматый куда-то пропал. Лукич пожал плечами, аккуратно положил на пол булатный нож. Осмотрелся, отыскал второй нож и положил его рядом с первым. Затем, стараясь случайно не столкнуться с какой-нибудь таящейся во мраке преградой, направился за запасной лестницей. Лукич вернулся назад через четверть часа. Установил принесённую лестницу вместо украденной. И тут только заметил кое-какие изменения, произошедшие на месте недавней схватки. Сверху в подвал свисала толстая верёвка, а ещё исчезли ножи. «Верно, лохматый сюда без меня спустился и мои трофеи стянул», — подумал Лукич.

Он неторопливо поднялся наверх и направился в спортзал. Гнева обманутых избирателей он больше не боялся. И в глубине души надеялся, что исправившийся лохматый сам вернёт избирательскую урну народу.

Однако, сделав всего несколько шагов, Лукич был вынужден остановиться. Прямо посреди школьного коридора к дощатому полу одним из тех самых пропавших ножей было приколото чьё-то крохотное уродливое тельце.

Разинув от удивления рот, Лукич склонился над ним и принялся внимательно осматривать. Кроме осмотра, он ничего другого и делать не пытался, ибо пронзённое насквозь существо, без сомнения, было мертво. Величиною заморыш с крупную жабу. Нагое пупырчатое тельце его покрыто бурой слизью и испачкано зелёной кровью. Голова большая, почти одного размера с туловищем. А физиономия знакома... Лукич присмотрелся. Так ведь это же недавно отрубленная левая голова Змея Горыныча. А тельце откуда у головы взялось? И кто в него нож всадил? Ответы на эти вопросы поди — найди. А на выборы спешить надо. Больше не задерживаясь, Лукич продолжил свой путь к спортзалу.

Но почти у самых дверей в зал остановился вновь. К стене вторым ножом был припилен ещё один уродец — близнец того первого. На узеньких плечиках уродца болталась правая голова Горыныча...

Широко распахнув дверь, Лукич вошёл в зал. Первым, на кого упал его взгляд, был лохматый. Взобравшись на возвращённую избирателям урну, брызжа слюной и неистово хлеща себя по бокам хвостом, лохматый держал речь:

— Змей обезглавлен, — орал он, — и изрублен на мелкие клочки!!!

Завидев Лукича у входа в зал, лохматый взмахнул рукою и указал на него избирателям:

— Вот он наш герой-освободитель. Прошу тебя подтвердить правдивость моих слов.

— Да, подтверждаю, — нехотя выкрикнул Лукич, — зарубил я Горыныча. Только вот что странно...

Лукич хотел поведать общественности о мёртвых заморышах. Но лохматый не дал ему договорить.

— Слыхали, — радостно воскликнул он, — нету больше змеюки поганого! Некому больше нас терзать и мучить, некому голодом нас морить и по крысиным ямам держать! Свобода, братцы! Воля вольная! Гуляй! Веселись!

Лохматый выхватил из кармана старый ржавый подшипник и с хохотом запустил его в окно. Разбитое стекло мелкой блестящей шрапнелью осыпало домовых, дворовых и леших.

— Воля? — в толпе кто-то робко повторил лозунг лохматого.

— Гуляй, веселись, — всё увереннее заметалось над толпой и тут же из идеи облеклось в плоть реального действия.

В окна и лампочки полетели камни и комья земли. В дальнем крае зала вспыхнули какие-то подозрительные огоньки, и в воздухе запахло палёным. Кто-то загорланил разухабистую бранную песню. А на глазах у удивлённого Лукича ободранная шайка то ли водяных, то ли болотных накинулась на упитанного домового, сорвала с него бобровую шапку, сбила с ног и принялась нещадно тузить его.

Наверное, было бы очень странно, если бы, заметив такую «победу» свободомыслия, Лукич вдруг присоединился к ней. Конечно же, произошло совершенно обратное. Степенный и трезвомыслящий школьный сторож сперва оторопел от происходящего, но спустя минуту воскликнул:

— Эй, ребята, хватит баловать!

И кинулся спасать дорогое его сердцу имущество школы, а заодно и жизни, и здоровье тех избирателей, которым запущенная лохматым вакханалия пришлось не по нутру. А таких, надо заметить, в зале оказалось большинство.

Один из избирателей, наверное, самый смелый, даже кинулся помогать Лукичу урезонивать и успокаивать разбушевавшихся соотечественников.

Быстро навёл Лукич в зале порядок. Надавав тумачков и затрещин разбушевавшимся хулиганам, он остановил источаемый из их карманов град мелких камешков и прочего мусора. Он потушил подождённый чьей-то злодейской рукой угол школы. А блатной безголосый певун со своей гнусной песенкой сам замолчал.

— У-ух, управились, — довольно вздохнул всюду следовавший за Лукичом его добровольный помощник.

Толку в наведении порядка от помощника не было никакого, и в суматохе всеобщей свары Лукич только теперь обратил на него внимание.

Был помощник тщедушен и низкоросл. Из одежды на нём болтался задрипанный, не по размеру подобранный пиджак и широкие подвёрнутые брюки. Помощник улыбнулся, утёр рукавом с носа соплю и вдруг произнёс:

— Что, Лукич, видел свою хваленую демократию в действии? Сам же первый против неё и пошёл. А ведь прежде ещё спорил со мной.

— Мы знакомы? — прищурившись, спросил Лукич.

Своего собеседника он не узнавал.

— Ещё бы, — усмехнулся тот и, понизив голос, представился: — Змей Горыныч, точнее, его главная, центровая голова.

— Что-о-о!? — воскликнул Лукич и сжал кулаки.

— Ты не кипятись, не кипятись, — быстро заговорил Горыныч, — негоже, чтоб два героя на виду у толпы спорили и драку меж собой затевали.

— Как ты в живых остаться сумел? — остывая, проговорил Лукич. — Ведь я же тебе мало что головы отсёк, так ещё и тушу твою змеиную изрубил.

— Тушу изрубил, — кивнул Змей, — а про головы забыл. Понимаешь, природа вложила в меня столько замечательной растительной силы, что если не из тела новые головы, так из голов новые тела выросли. Пока ты в подвале за лестницей ходил, верный лохматый нам верёвку спустил. Мы наверх поднялись. К залу пошли. А по дороге мне одна золотая мысль на ум пришла: те двое, кто вместе со мной, те, кто прежде ближе братьев родных были — головы-то мои, — теперь врагами моими стали, самыми опасными конкурентами в борьбе за власть. Хорошо, я ножи с собою прихватил...

— А лохматый заранее, что ли, обо всём знал?

— Конечно. Он и здесь концерт по моей заявке устроил.

— Провокатор.

— Ещё какой. Две масштабные задачи замыслили мы этой провокацией. И обе с твоей помощью реализовали. Во-первых, мы выявили всех прохвостов и диссидентов, всех, кто на клич моего агента откликнулся. А во-вторых, наши с тобой рейтинги храбрецов, даровавших народу покой и стабильность, необыкновенно, я бы сказал сказочно, возросли.

— Ну и гад же ты! — со злостью процедил Лукич. — Сейчас откручу я тебе голову. Как яйцо куриное раздавлю. Чтоб духу твоего здесь не было.

Горыныч отшатнулся от Лукича, но не побежал. А отвернул ворот у своего широченного пиджака и прошипел:

— Три головы откручивать придётся, гляди не притомись.

На его плечах виднелись ещё две крохотные, зародышевые головки.

— Запомни, человек, — запахнув пиджак, продолжал шипеть Змей, — здесь и сейчас есть два героя, которым любой из этого телячьего стада за ве-

ликую честь почтёт подошвы лизать. Но твоё время ушло. Ты не опасен мне больше. Наступило утро. Ты уходишь, а я остаюсь. Просыпайся, просыпайся, Лукич.

Последние слова Змей произнёс густым и тяжёлым басом.

Лукич открыл глаза и обнаружил себя сидящим на стуле в кабинете директора. Грудь, руки и голова его покоились на урне для голосований. Рядом с ним стоял мэр их города Андроний Всеславович Столетов и, слегка потряхивая за плечо, повторял:

– Просыпайся, просыпайся, Лукич. До выборов меньше часа осталось.

За спиной мэра виднелось ещё несколько ответственных работников.

Хрустнув старыми костями, Лукич распрямил спину и удивлённо уставился на мэра.

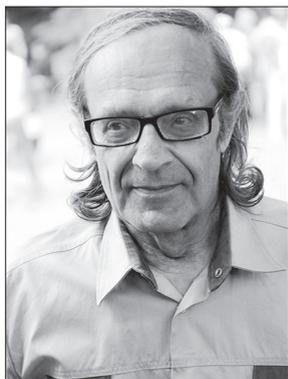
– А где Змей, как его... Горыныч? И где избиратели все?

Столетов нахмурился.

– Тьфу, то ж приснилось мне, – ахнул Лукич.

– Бывает, – степенно ухмыльнулся Столетов и, указав своим помощникам на урну, молвил: – Ребята, берите ёмкость и незамедлительно до места назначения. Выборы на носу.

Проводив взглядом ответственных работников, Лукич облегчённо вздохнул и сладко потянулся со сна. Радоваться было чему. Урну он не проворонил и выборы не проспал.



Александр Александрович Агеев — поэт, литературный критик. Родился 10 апреля 1952 г. в городе Рославле. Стихи пишет с 1972 г. Автор сборников стихов «Дебют» (1996), «Междувечье» (2005). Участник антологий «Современная поэзия России», «Великая Победа». Лауреат и дипломант нескольких литературных конкурсов. Руководитель литературного объединения «Истоки» (г. Рославль). Печатался в альманахах и коллективных сборниках, опубликовал в областной прессе более 30 рецензий и статей на литературные темы.

ЗЕРКАЛА

1

Пути души незримы и длинны...
Луч Солнца отразился от Луны,
Потом от озера, потом от глаз твоих.
Весь мир затих.

Когда-нибудь уйду во тьму,
Непостижимую уму,
Но этот свет и этот взгляд
Вернут меня в свой круг назад.

2

Так зыбко искусству служенье...
Тройная поэтова статья:
Быть зеркалом и отраженьем,
И лично пред ними предстать.

* * *

В. Потапову

Немалые малости есть у поэта:
Пропетая осень, пропитое лето,
И есть у поэта больная страна,
И есть ещё где-то девчонка одна...

И есть белый свет — карнавал и аскеза,
И памятник нужен ему до зареза:
Он весь не умрёт, если чья-то рука
Погладит подножие памятника.

МОСКОВСКАЯ ГРОЗА

Гроза за мной в погоне.
Бегу я на журфак.
Театр, фронтоны — и кони
Отплясывают в такт.

И барабанит сердце
Под ритмику оград.
Я, Огарёв и Герцен
На весь Охотный ряд.

Блеснула вспышка немо,
И прорычал раскат,
Но вот крыльцо и мемо-
риальная доска.

А в проливневой бане
Под душем цвета беж,
Как в ванне из шампани,
Манежится Манеж.

Окрестности — в завесе,
Висит текучий тюль.
Кругом сплошной импресси-
онизм... Гроза. Июль.

ПУШКИНУ

Свобода — это тоже узы.
Покоя нет и воли нет.
Любовь земной до боли Музы
Окупит гибелью поэт.

Он изначально знал: бывает
Шлагбаум на косо́й версте...
Россия руки умывает
Лишь кровью брата на кресте.

ПАМЯТИ В. ВЫСОЦКОГО

«Жил да был один поэт...» —
И прощай-прости.
Он на льду застойных лет
Жал на скорости.

В этой серости тупой,
В тёплой сырости
Уходил в такой запой,
Что прощай-прости.

Ведал горе от ума,
Делал глупости.
Есть закон шлагбаума —
И прощай-прости.

Лучший бард бардачных пор
Понимал: тшета.
Но затеивал он спор,
Не бросал щита.

Хоть не мог же он не знать
Пастернаково:
Строчки с кровью убивать
Будут всякого.

ИЗ ЛЕТОПИСИ

Нам нелепо начать,
Да и кончить облыжно.
Собиралась рать
Конна, людна и лыжна.

Хилый разумом кнезь
Порешил почудесить:
— Всем повеситься днесь,
Я ж возьму ваши веси!

Призадумалась рать,
Почесав у потылиц,
И рече: — Исполать,
И спасибо, кормилец.

Лишь какой-то буй-тур
Приодёрнул свой китель:
— Принесу ужо шнур...
Ну, а мыла дадите ль?

...Погибоша оне
И влачиша беремья
В фэнтезийной стране,
В виртуальное время.

* * *

Придёт похмелье без попойки,
Его мы изопьём до дна,
И на обломках перестройки
Напишут наши письма...
Исконно в истине вина
И ценится елей.
Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

* * *

*День 7 ноября —
Красный день календаря.*

Пусть марши победные льются
Во имя отрад и утрат!
Какая ещё революция?
Парад был в России, парад!

Ищу днём с огнём человека,
Но лживые слышу слова:
– Двадцатого не было века,
А был – девятнадцатый «А»...

ВАРИАЦИИ

1

О Ямбург!

Н. Сухарев

О Русь!

Понятьям старым ныне – амба!
Мы – не рабы? Нет, мы рабы.
А если бы уехал в Гамбург,
Там ел бы гамбургеры бы,
Платил по гамбургскому счёту,
Моя бы марка высока
Была по стихообороту...
Тоска, mein Gott... Тоска, тоска.

2

Парижская нота

В.С. Баевскому

Приснилось детство: пирожки
И замки из песка...
– Вставайте, граф, кипят рожки!
– Тоска, mon cher... Тоска.

Когда все ноты просвистишь,
То думаешь о том:
А вот уехал бы в Париж
Сейчас или потом?

Доднесь одна из русских нот
От порванной струны
Длит из Парижа перелёт
К полям ржаной страны.

И я там взял бы свой аккорд,
Играл бы на века...
С полей до Place de la Concorde
Дорога далека.

Ещё родимой стороне
Я не отдал заём.
Сыграю на своей струне,
В Отечестве своём.

Сквозь время, ветер и песок
До вешней синевы
Я прорасту ростками строк,
Колосьев и травы.

Mon cher, над пропастью не ржи.
Adios, Paris, пока!
От моря лжи до поля ржи
Дорога нелегка.

3

Попурри

Строил замки на песке,
Шёл по гравию.
Жил в разлуке и тоске,
Пел во здравие.

Всё прошло, как с яблонь дым,
Мыслю прозово.
Было небо голубым —
Стало грозovým.

За окном — еврозакат,
Звоны медные.
Из поэтов кто богат?
Дёмки Бедные.

Помолчим в глухие дни,
Муза-грация.
Не мила ни Русь и ни
Эмиграция.

Тучны, млечны облака
Мироздания.
Досвишвеция, пока!
Досвидания.

* * *

Восходит осень облаками,
Снисходит ясными деньками
На берегу большой реки —
Бог весть, то ль Стикса, то ль Оки,
Где то ли рыба, то ли выдра
На плёсе плёскает в тиши,
И небо, полная клепсидра,
Роняет миги в камыши,
А время, числа срок земной,
Кукушествоует надо мной.
И я прошу: пожалуйста,
Ещё полста, ещё полста!



Вадим Соломонович Баевский (1929–2013) — профессор, заслуженный деятель науки, доктор филологических наук, прозаик, поэт. Родился в 1929 году в Харькове. Создал и более 40 лет руководил кафедрой истории и теории литературы Смоленского педагогического института (в новое время — университет). Автор книг: «Стих русской советской поэзии» (Смоленск, 1972), «Давид Самойлов: Поэт и его поколение» (М., 1986), «Сквозь магический кристалл: Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А. Пушкина» (М., 1990), «В нём каждый вершок был поэт: Записки о Давиде Самойлове» (Смоленск, 1992), «Б. Пастернак-лирик: Основы поэтической системы» (Смоленск, 1993), «История русской поэзии» (М.: 1994, 1996, 2004; Смоленск, 1994), «Пастернак» (М.: 1997, 1999, 2002), «История русской литературы XX века» (М.: 1999, 2003), «Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы» (М., 2001), «Смоленская поэтическая школа в портретах» (Смоленск, 2006); мемуарного очерка об А. В. Македонове «Смоленский Сократ» (Смоленск, 1995); поэтического сборника «Стихотворения 1941–2003 годов» (Смоленск, 2004), «Роман одной жизни» (СПб; Нестор-История, 2007), «Стихотворения двух тысячелетий» (Смоленск, библиотечка «Под часами», 2012) и др. Как прозаик и эссеист публиковался в журнале «Знамя». Лауреат литературных премий: им. М.В. Исаковского, им. А.Т. Твардовского, им. Н.И. Рыленкова. Член Союза российских писателей. Похоронен в Смоленске на Одинцовском кладбище.

ШАД

Памяти Александра Львовича Дорфмана и Александра Марковича Шендеровича

Осень 1941 года. Ашхабад. Оазис в пустыне, посреди песков и саксаулов. Тугой, тягучий зной, сквозь который бредёшь, как сквозь вязкую субстанцию. Огромное ашхабадское ночное небо, так же придавившее землю зноем, полное звёзд, как увидел и описал его Юрий Трифионов. Гордые верблюды с высоко поднятой головой и мясистыми губами, постоянно сложенными в презрительную гримасу. Ослы, которые, глядя в небо, вдруг начинают надсадно, отчаянно, истерически, испуганно, захлёбываясь, орать на двух ногах. Я вспоминаю этот ор всегда, когда слышу рёв противоугонных устройств на автомобильных стоянках. Настороженные, подозрительные черепахи. В чайхане, сложенной из кирпича, обожжённого на солнце, часами сидят медлительные молчаливые мужчины с неподвижными лицами в полосатых халатах и высоких меховых шапках. Голод. Война. Мне 12 лет. Враждебность

местных мальчишек, которые считают, что в продуктовых карточках и до-роговизне виноваты мы, «выковЫренные». Рядом с этим, конечно, проявление великодушия, гостеприимства. Ашхабад дал нам приют на два с половиной года. Мама, детский врач, говорит:

— Сегодня я была на вызове у хорошего мальчика. Зовут Шура, они тоже эвакуированы из Киева. Когда он выздоровеет, я тебя к нему отведу.

Встреча состоялась. Шура сразу сказал:

— Я здесь познакомился с Аликом из Харькова. Хочешь его увидеть? Человек хороший, только немножко странный. Но ты не придавай значения. Любит в разговоре переворачивать слова. И потом... — Тут Шура хмыкнул. — Поёт такую песенку:

Етиртомсоп, етиртомсоп

Ан укчесипип юом!

Мы тогда не могли подумать, что происходит одно из самых важных событий трёх наших жизней. Что мы трое рядом пройдем всю дорогу сквозь этот негостеприимный двадцатый. Что судьба заставит нас жить в разных городах, Алик похоронит Шуру, а я похороню Алика. И положу ему, президенту ШАДа, в гроб на грудь флаг ШАДа, вышитый моей женой. Что сын Шуры будет жить в Израиле (и до жён, и до сына, и до государства-то Израиль ой как далеко было!), сын Алика — в той Германии, которая тогда вела против нас смертельную войну, а моя дочь — в Соединённых Штатах, великой стране — нашей союзнице в той войне.

Я вёл дневник. В стихах. Когда мы с мамой в марте 1944 года сквозь голод и разруху пробирались из Ашхабада на Украину, он пропал. Но благодаря тому, что я над ним работал, кое-что из того времени прочно засело в моей памяти.

В 6-м классе у нас начиналась алгебра. Для 6–9-х классов был единый задачник Шапошникова и Вальцева. Перед началом занятий в 6-м классе Алик мне сказал:

— От нечего делать я за лето перерешал все примеры и задачи по Шапошникову и Вальцеву.

То есть на пороге 6-го класса он от нечего делать освоил всю школьную алгебру. Мне это понравилось, и я решил сделать то же самое. И застрял на первой же задаче.

На пороге 7-го класса я сказал Алику, что кончил учить наизусть «Евгения Онегина». Прекрасные стихи запоминались сами собой. Алик тут же начал учить его тоже. Он остановился около середины первой главы.

* * *

В начале 1942 года Шура и Алик мне сказали, что у нас будет государство ШАД: Шура-Алик-Дима. Об этом уже знала мама Алика, при которой и состоялся исторический разговор, и одобрила затею моих друзей. Теперь я думаю, что в выборе имени для нашей республики сыграло роль (бессознательно для Шуры, Алика и его мамы) название города, в котором мы тогда жили: имя нашей республики в нём анаграммировано. Я до войны «Швамбранию» прочитал, а основатели государства ШАД — нет, всё придумали сами. Потом наши мамы весело смеялись, когда я в школьной тетрадке написал «Историю ШАДа», где они были описаны как «предки ШАДа».

При учреждении республики ШАД было решено, что у неё будет свой государственный язык, придуманный Аликом. Сообщения на языке ШАД представляли собой последовательности русских слов, каждое из которых произносилось справа налево.

Теперь я знаю, что этнология, социология, психология стремятся изучать малые социальные общности, такие, как семья, кафедра, спортивная команда и т.п., а социолингвистика — говоры таких общностей. 5,4 миллиарда людей, населяющих нашу землю, образуют много сот тысяч социальных групп. Мы — не хаотичное скопление особей, мы — своеобразная галактика, сложная система мирков, взаимно тяготеющих, отталкивающихся, взаимно пересекающихся, возникающих и распадающихся, с постоянным частичным перераспределением составных элементов, со своими более или менее отчётливо выраженными особенностями речи, излюбленными словечками, паролями и табу.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечёт предмет.

Своеобразие отношений, выделяющее малую социальную общность из всех других, сохраняется, по мнению разных исследователей, в группах от трёх до десяти — пятнадцати — двадцати — тридцати человек. Под группой понимаются «двое или более лиц, которые взаимодействуют друг с другом, влияют друг на друга дольше нескольких мгновений и воспринимают себя как “мы”». Среди таких объектов различаются формальные и неформальные объединения. Поскольку в нормальном случае любой человек состоит членом нескольких малых социальных групп (семья, класс, коллеги, друзья по туризму и т.п.), при каждом исследовании важно выделить среди них группу референтную — такую, которая их членам представляется самой важной. От

этого зависит и степень сплочённости группы, и мера её языкового обособления. Специально проведённые исследования показали, что эффективнее всего выявляются свойства индивидуумов в группах вроде нашей, состоящих из 2–3 человек.

Наша республика была, конечно, неформальным объединением, это ясно, и референтным, что значительно менее предсказуемо. В Ашхабаде в силу особенностей домашнего быта я был больше отчуждён от семьи, чем мои два товарища, и особенно дорожил нашей дружбой. Некоторые исследователи детской психологии вообще полагают, что на детях влияние товарищей по играм сказывается значительно сильнее, чем влияние родителей. Когда мы выросли и жизнь со всеми её сложностями обступила нас со всех сторон, а иногда и брала за горло, дружеское общение служило нам последним прибежищем. Оно заставляло нас лелеять наше маленькое государство и его язык ШАД.

Алик не принадлежал, конечно, к советскому истеблишменту, но жил с оглядкой на него. Я отвергал его а *limine*. Шура пошёл ещё дальше: для него государство просто не существовало. Шура жил в Киеве; при своих разносторонних способностях он не нашёл себя. Он стал инженером, многократно менял работу.

Летом 1961 года мы все вместе отдохали на даче на Украине. Мы с женой, два школьных учителя в шахтёрском посёлке, постоянно с трудом дотягивали до очередной зарплаты, а летом во время самого скромного отдыха вынуждены бывали занимать в долг деньги, чтобы до конца использовать отпуск. Так и этим летом в начале августа я попросил у Шуры займа денег. Я сказал ему, сколько мы получаем (сейчас я, конечно, сумм не помню), и прибавил: вот если бы мы получали столько-то, то были бы вполне довольны. Он спросил:

– Оба вместе или каждый?

– Вместе, – ответил я.

– Мы с Майкой зарабатываем столько каждый, и то нам никогда не хватает, – сказал Шура. Но деньги, конечно, дал. А через год поведал мне маленькую историю. Передам её так, как она отложилась в моём дневнике.

К нему приехал американский дядюшка. В разгар политической оттепели, когда родственные отношения с иностранцами советским людям обвинения в шпионаже вроде бы уже не грозили, в Соединённых Штатах в определённых кругах стало даже модным отыскивать в СССР бедных родственников и помогать им. На этой волне разыскал Шуру его состоятельный дядя. Он отправил несколько чудесных посылок, а потом приехал и привёз дублёнки Шуры, Майе и их сыну Игорю. Дублёнка в то время была предметом вожделения и символом высочайшего благосостояния. А тут три дублёнки. Кроме дублёнок, привёз много и других подарков. Шура показывал ему

Киев — и восстановленные после войны районы, и памятники IX—XII веков. Они много гуляли и крепко понравились друг другу. Шура решил у нового, преуспевающего приятеля поучиться жить. Он долго выбирал подходящую минуту и наконец, когда они уселись за столик кафе на Владимирской горке, сказал:

— Дядя, вот вы — богатый человек, предприниматель. Всего добились сами. Научите меня, как это делается. Как мне разбогатеть?

Шура, передавая мне этот разговор, грустно усмехнулся. Дядюшка долго не отвечал, Шура даже забеспокоился. Потом искоса взглянул на Шуру и ответил:

— Понимаешь, Шура, бизнесменом, как поэтом, надо родиться. У тебя или это есть, или этого нет. Если это есть, то и спрашивать ничего не нужно. Богатство само придёт. А если этого нет, то никакие советы тебе не помогут.

Ещё помолчал и прибавил:

— А у тебя, как я вижу, этого нет.

В СССР наиболее полно выразил абсентеизм потерянного поколения, порождённого репрессиями и Второй мировой, замечательный поэт Иосиф Бродский; а в республике ШАД таким абсентеистом был Шура. Крошка ШАД пародировал гигантского монстра — государство Сталина и Брежнева; Шура этого монстра в упор не видел. Американский дядюшка оказался прав. Наша дружба. Шахматы. Женщины. Карты и вообще все мыслимые виды азарта. Грибная охота в осеннем лесу. Единственный из нас он любил и умел готовить. Пожалуй, в нём было нечто раблезианское. Вот из чего состоял его мир. Они оба с Бродским заплатили за свой абсентеизм смертью от инфаркта в 50 и 56 лет. Шуру словно бы втянула могучая воронка водоворота, он цеплялся за нас с Аликом, а мы не сумели удержать его на поверхности.

Алик в Харькове стал доктором физико-математических наук, известным физиком-ядерщиком-экспериментатором. Он был прекрасный семьянин, но семья приносила ему много горя. Утешением ему служил Бард — огромная злая умная овчарка. Физический институт, в котором Алик работал и в городке которого жил, выстроен в пригороде Харькова в лесу. Там по утрам и вечерам Бард выгуливал Алика. Я говорил Алику, что он живёт в фолкнеровской ситуации (имея в виду прежде всего «Шум и ярость»). Его внук оказался ребёнком с замедленным развитием; Алик показывал его лучшим харьковским врачам, возил его к лучшим врачам в Москву и Ленинград, — никто так и не помог. Отец Алика до войны заведовал кафедрой в Харьковском медицинском институте, во время войны служил начальником военного госпиталя, а в конце жизни впал в старческий маразм. Это был крупный массивный мужчина, привыкший повелевать и на кафедре, и в госпитале, и в семье. Однажды во время моего приезда в Харьков мы с Аликом играли в шахматы. Бард лежал под столом. Алик мне напомнил, чтобы я избегал рез-

ких движений ногами: Бард меня прекрасно знал, но на неожиданный рывок мог инстинктивно отреагировать некорректно. Вдруг отец Алика замычал, что-то пробормотал. Услышав его капризный властный голос, Алик пошёл в другую комнату к нему. Мы остановили шахматные часы, я воспользовался передышкой и углубился в анализ позиции. Вдруг Алик меня позвал:

— Амидик, иди адюс. Игомоп енм.

Я вскочил. Бард рыкнул и вцепился мне в ногу. Я вскрикнул. Алик кинулся ко мне. Массивный Бард виновато взвизгнул и забился в угол. Мы с Аликом вернулись к его отцу, переложили его и продолжили шахматную партию.

На следующее утро я проснулся раньше Алика и его жены Алочки. У них в комнате тихо. Лежу и читаю. Вдруг слышу: кто-то царапается ко мне в дверь. Я понял, что это Бард. Открыл ему дверь и опять улёгся. Он осторожно вошёл, сел возле моей кровати, заглянул мне в лицо, стал тихонько скулить и помахивать хвостом. Если бы он заговорил человеческим голосом, и то не было бы понятнее: он извиняется за вчерашнее происшествие, за то, что случайно меня цапнул. Я сказал:

— Да что ты, Бард. Пожалуйста, не думай об этом больше. Я уже и думать забыл. Я на тебя не сержусь. С кем не бывает?

Он обрадовался, вскочил, его хвост заработал энергично, он положил голову на простыню моей кровати и улыбнулся. Мне показалось, что улыбнулся. Было видно, что у него словно камень с души свалился.

Так сладко бывало Алику при наших встречах отгородиться от казённых фраз, лезущих из телевизионного ящика, из радиоприёмника, из газеты, оглашаемых по бумажке полуграмотными глотками, от бессмысленного мычания близких людей с повреждённой психикой и окунуться в шахматы, в язык ШАД, в котором всё было наоборот. Когда удавалось, мы с Аликом и Бардом на полдня уходили в лес. Суровая мужская дружба. Алик ввёл меня в мир математической статистики, познакомил с физической и математической сутью своих исследований элементарных частиц. Благодаря ему я представляю себе современную физическую картину мира, вероятно, лучше, чем многие мои коллеги-филологи.

В 1990 году в Стенфордском университете в Калифорнии состоялся русско-американский симпозиум, посвящённый изучению Пастернака. Он длился неделю; середине этого срока был устроен день отдыха: хозяева пригласили нас в Сан-Франциско, в один из китайских ресторанов Чайна-тауна. Я попросил в это время вместо ресторана организовать мне экскурсию на ускоритель элементарных частиц. От Алика я знал, что в Стенфордском университете имеется самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц. Гостеприимные хозяева всё устроили. Этот ускоритель — не прибор, а целый завод, да такой, что по нему надо ездить на машине, пешком его не обойдёшь. Возила и водила меня по ускорителю молодая датская исследовательница. Она мне объяснила, что приехала сюда на год для выполнения

работы, которую только на столь мощном ускорителе и можно осуществить. Я выразил сожаление, что оторвал её от занятий, но она меня успокоила:

— Мы по очереди водим экскурсантов. Экскурсии полезны не только экскурсантам, но и нам. Обычно каждый из нас работает на своём участке ускорителя, над своим экспериментом, со своим счётчиком элементарных частиц; а во время экскурсий мы имеем возможность и даже вынуждены охватить всё огромное сложнейшее устройство целиком.

Наша экскурсия длилась полдня, даже несколько больше. Когда мы прощались, моя опекунша сказала:

— Вы предупредили, что вы филолог, а не физик. Но я вижу, что вы изучали ядерную физику.

— Не изучал. Однако у меня есть близкий человек — физик-ядерщик, и мы знакомим друг друга со своими работами.

Моя опекунша недоверчиво покачала головой.

Алик умер в 63 года от рака. Незадолго до смерти он мне написал: «Вспоминая историю ШАД, могу с полной искренностью сказать, что ты оказал на меня огромное влияние. Под твоим влиянием я стал совсем другим человеком. Ты фактически ввёл меня в мир литературы, привил понимание поэзии, а главное — твоё нравственное воздействие». А я не сумел его удержать в этом мире, где только мы с ним двое после смерти Шуры и говорили правильно, — на языке ШАД.

Теперь я понимаю, что жизнь мы бессознательно воспринимали как нескончаемый карнавал. Бахтин в своём классическом труде рассматривает образы и язык Рабле как результат борьбы народной культуры с официальной культурой средневековья. Я хочу добавить: в народной культуре, в карнавальном, площадном слове Рабле нашёл неисчерпаемый источник приёмов отстранения, доминанту стиля своего романа. Язык ШАД и государство ШАД возникли из детского протеста против бытовых явлений репрессий, войны, беженского существования. Ашхабад, язык ШАД и государство ШАД неотделимы один от другого. Позволю себе смелую параллель. Так, Фонтене-ле-Конт, где Рабле в юности приобщался к народной карнавальной культуре, был родиной особого арго.

Язык ШАД и государство ШАД представляли собою особый «внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь». Они пародировали большой мир ужасов, в них царила логика «наоборот». Наоборотным был и язык ШАД. Словно бы о нас написал Бахтин: «Пафосом смен и обновлений, сознанием весёлой относительности господствующих правд и властей проникнуты все формы и символы карнавального языка. Для него очень характерна своеобразная логика «обратности» (à l'envers), «наоборот», «наизнанку». Под влиянием внезапных потрясений, вызванных войной, опытом жестоких бомбар-

дировок во время эвакуации, когда на наших глазах рядом, на соседних путях горели вагоны с живыми людьми, паровозы выли, как огромные раненые животные, яростно ревели пикирующие бомбардировщики и рвались бомбы, заглушая вопли людей, неожиданно оказавшись в непонятном для нас раскалённом котле Востока, мы, трое мальчишек, делали лихорадочные попытки построить на основе мирно лежавших в Бессознательном и внезапно пробудившихся архаичных черт психики, — построить собственный мир, отрицавший жестокий эмпирический мир-людоед, противоположный ему.

Вслед за Рабле родились два других гения Возрождения — Сервантес и Шекспир. Дон Кихот вместе с Санчо Пансой на Пиренеях воплотили испанский извод карнавального мироощущения, как сэр Фальстаф — его северный извод. Тогда, в Ашхабаде, мы понятия не имели обо всём этом. Сейчас я не могу смотреть на крохотный ШАД и не вспоминать гигантов Возрождения и их создания.

Мы страстно увлекались шахматами. Они стали, наряду с языком ШАД, ещё одним важнейшим виртуальным регионом (скажем так в сегодняшних терминах) нашей республики. Шахматы помогали нам самоутверждаться в этом мире. Я, мальчишка-шестиклассник, в определённые дни несколько вечеров в неделю ходил в другой район города к начальнику планового отдела киностудии Ивану Дмитриевичу Лучину играть с ним в шахматы. Менее регулярно я играл с выдающимся кинорежиссёром Марком Семёновичем Донским. Однажды я предложил сыграть отцу Алика; я знал, что он играет, он и Алика научил. Крупные, тяжёлые черты его лица пришли в движение:

— Какой смысл мне — играть с тобой? — ухмыльнулся он. — Если обыграю ребёнка — никакой славы, даже неловко как-то, вроде бы обидел. А если проиграю — позор.

ШАД — это особое художественное пространство-время. Мы втроём его сотворили и поддерживали. Мы жили в ШАДе с его пространством-временем, а ШАД с его пространством-временем жил в каждом из нас (и в нас троих вместе в более совершенном виде). Кызя ШАД и махуташи (почему-то именно так мы называли шахматы) были двумя важнейшими областями пространства-времени ШАДа.

Слова *шахматы*, *Ашхабад* и *ШАД* тесно переплетены своим звуковым составом. Это был ещё один язык нашего общения — шахматы, ещё один способ уйти от кровавого абсурда большого мира. Он обладал особой экспрессией. На этом языке каждый из нас отстаивал своё превосходство и одновременно выражал своё дружеское отношение к согражданам. Мы разрабатывали алгоритм безошибочной шахматной игры. Идею и способ его построения мы почерпнули в книге второго чемпиона мира по шахматам философа и математика Э. Ласкера «Учебник шахматной игры», купленной в Ашхабаде на Текинском базаре. Мы играли с разным контролем времени: два с половиной

часа на сорок ходов, полчаса на партию, пять минут на партию, три минуты на партию. Играли вслепую, не глядя на доску. Это были своеобразные диалекты нашего шахматного языка. Игровой элемент, который настойчиво подчёркивает Бахтин в своём анализе карнавальных форм средневековья, у нас воплощался и в государственном устройстве ШАДа, и в его языке, и, в пределе (в математическом смысле слова), — в шахматах. Игра в шахматы сливалась с игрой в ШАД. Наш государственный флаг состоял из чёрных и белых квадратов, как шахматная доска. Посредине были вышиты схематически изображённый шахматный король и слово ШАД. Шура сделал изящный металлический флагшток.

После похорон Алика я перестал играть в шахматы. Не смог.

Ещё мы много играли в настольный теннис, но всё-таки и отдалённо так не увлекались им, как шахматами. Игра в пинг-понг никак не была у нас ритуализирована.

Когда взрослым я читал и перечитывал «Игру в бисер», я находил всё новые чёрточки родства между республикой ШАД и миром романа Гессе. «Три товарища» Ремарка ассоциаций не вызывали: мы были совсем другие, время было другое. Хотя эмоционально Ремарк с его «Тремя товарищами» был нам намного ближе, не роман Ремарка, а «Игра в бисер» Гессе то и дело перекликалась с нашей игрой в ШАД. Свою книгу Гессе дописал, республику Касталию достроил в то самое время, когда мы начинали строительство республики ШАД, — в 1942 году. Утопия Касталия была основана на особой игре в бисер — усложнённой всеподчиняющей музыкальной организации; утопия ШАД стояла на игре в шахматы и игре в язык ШАД. Подобно большинству утопий, Касталия сочетает в себе высоту и безжизненность; черты высоты (решаюсь сказать) и безжизненности сочетались и в утопии ШАД. Гессе говорит, что набор знаков и грамматика игры в бисер являют собой в совокупности разновидность тайного языка, в котором участвуют разные науки и искусства; подобно этому язык ШАД в сочетании с языком шахмат стал нашим заветным языком. Даже то обстоятельство, что Гессе создал свою утопию под сильным влиянием культур Востока, — и через нас нашу утопию ШАД тоже создал Восток, представляется мне полным смысла. «Игру в бисер» я воспринял как высокую пародию на республику ШАД. Как пародию на пародию.

Сейчас мне бросилось в глаза ещё одно совпадение. После гибели Иозефа Кнехта, героя романа Гессе, остались его стихи. Гессе их приводит в своём романе. В прошлом году, ещё не думая о той работе, результаты которой сейчас излагаю, я собрал и издал (со строгим отбором) свои стихотворения, написанные на протяжении всей жизни. Я отдаю себе отчёт в том, что это не поэзия; но надеюсь, что моя маленькая книга стихов — полезный человеческий документ.

Здесь настораживает ещё одно, намного более значительное совпадение. Прочитал ли Пастернак «Игру в бисер»? Он начал своего «Доктора Живаго»

в 1945 году, через два года после того, как в Швейцарии вышло в свет первое издание романа Гессе, и окончил в 1955-м. Последнюю часть романа Пастернака составляют «Стихотворения Юрия Живаго». Прошу у Вас, дорогой Читатель, прощения за эту глоссу, не имеющую никакого отношения к теме настоящей статьи.

Размышляя над романом Гессе, я увидел существенное различие между Касталией и ШАДом. Утопия Касталия придумана замечательным писателем Германом Гессе, и эта воображаемая страна перенесена им в 2200 год. Мы, трое детей, уютную республику ШАД придумали во время всемирной бойни и осуществили свою идиллию во второй половине XX века. Мы построили утопию, жили в утопии, прожили в ней свои жизни; мои друзья умерли в нашей утопии. В своём отношении к жизни Шура ближе нас с Аликом подошёл к идеалам Касталии Германа Гессе, отвергавшей вмешательство своих сочленов в деятельность государства, останавливавшей любые честолюбивые помыслы своих сочленов.

Всё это я осмыслил много позже. А в Ашхабаде сначала мы просто развлекались, упражняли свой ум, память, характер (и Гессе так же описывает начальную фазу игры в бисер). Мы договорились в начале каждого месяца проводить шахматный турнир, играя каждый с каждым по четыре партии. Это были наши праздники. По Бахтину, праздничность — одно из важнейших свойств обрядово-зрелищных форм средневековья. Он замечательно пишет: «Праздничность здесь становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия». Этими словами он описывает и наши ощущения во время шахматных турниров. Победитель провозглашался президентом на этот месяц. За всю жизнь мы ни разу не поссорились. ШАД был республикой справедливости. Все важные дела: идти в кино или играть в шахматы и т.п. — у нас решались голосованием. При этом президент имел два голоса. Если голоса разделялись поровну — допустим, президент хотел играть в шахматы, а остальные граждане идти в кино, — бросали игральную кость. Она у нас называлась *клутирка* (это слово языка ШАД произошло от слова естественного языка *крутилка*). Такие кубики можно было найти во многих настольных играх, они всегда были с собой у каждого из нас. Решение клутирки было так же непререкаемо, как решение президента.

Потом, когда мы стали жить в разных городах, учиться, работать, победитель очередного турнира, сохранявшего для нас всю карнавальную праздничность, оставался президентом до нового турнира, часто на год-два. Теперь голосованием решались вопросы второстепенные: у кого, в каком городе встречаться в следующий раз? летом тремя семьями отдыхать на даче на Украине или идти через Кавказские горы с рюкзаками и палатками к Чёрному морю? Должен признаться, что женщины в государстве ШАД права голоса не имели, хотя наши жёны приняли и поддерживали нашу игру. Другое

дело, что ещё в Ашхабаде мы узнали пословицу: муж голова, жена шея; куда шея захочет, туда голова повернётся. В шахматы наши жёны не играли, но жёны Шуры и Алика — одна — преподавательница фортепиано в музыкальной школе, другая — инженер-авиастроитель — кое-что понимали на языке ШАД и иногда произносили *троч имзов!* или *отч еокат?* или совмещённое *отч еокат, троч имзов?!* или что-нибудь столь же патетическое. Моя жена, профессор-романист, занимающаяся и французскими арго, языком ШАД не интересовалась. Алик, который никогда не был хохмачом, с присущим ему особым юмором, исключавшим всякое форсирование шутки, время от времени говорил, вздыхая и даже несколько мрачней:

— Как жаль, что у Эдочки нет никаких способностей к иностранным языкам.

Жёны Шуры и Алика тоже, как и их мужья, уже умерли.

Дети наши проявляли лишь ограниченное внимание друг к другу и — увы! — никогда никакого интереса не проявляли ни к республике ШАД, ни к её языку.

В Ашхабаде мы все трое играли в шахматы приблизительно в равную силу. С возрастом соотношение сил медленно изменялось в одном направлении: Алик становился президентом всё чаще. В этом была высшая справедливость: независимо от того, завоевал Алик на этот раз звание президента или нет, он всегда был у нас негласным лидером. Он же лучше всех владел языком ШАД, что соответствует учению лингвистики малых социальных общностей о статусе лидера.

— Ты знаешь: Алик — лучший в мире сын, лучший в мире муж, лучший в мире отец, лучший в мире друг, — сказал мне однажды Шура, к тому времени вообще весьма скептически смотревший на людей. И я с ним без колебаний согласился.

Сегодня наблюдения над языком ШАД вызывают у меня некоторые общие соображения о природе языка. Язык ШАД не возник из потребности общения, бытового и официального, или трудовой деятельности. Эти функции осуществлял для нас естественный язык. Язык ШАД изобрёл один из моих друзей, человек высокоодарённый, в 11 лет, в одиночестве, от одиночества и потрясений начала войны и бегства из Харькова в Туркмению. В его личности актуализировались архетипические черты психики, до тех пор неподвижно лежавшие в Бессознательном. Вскоре после нашего знакомства Алик мне рассказал, что, когда в Харькове их семья погрузилась в эшелон, мать дала ему плитку шоколада и сказала, что она единственная. Алик съел половину, а вторую половину отложил. На другой день пути он съел половину оставшейся половины. На третий — половину половины половины... Даже когда осталась одна долька, он её переполовинил. Кончилось тем, что осталась совсем маленькая частица, которая просто растаяла и исчезла; её не оказалось, когда Алик захотел очередным вечером проделать над нею очередную операцию.

Мне стало обидно за Алика. Я представил себе, что моему другу только в неопределённом отдалённом будущем (или никогда больше вообще) не придётся попробовать шоколад, а в поезде он не доел крупичу, которую мог доест. И я выразил своё огорчение и своё сочувствие. Но Алик сказал:

— Нет, так надо было.

Я ничего не понял, попытался расспросить. Но Алик сам не мог объяснить, почему это надо было есть шоколад именно так. Однако он знал, что всё проделал правильно. Позже, когда я в институте изучал логику, я узнал, что дихотомия — деление на два и последовательное многократное деление каждой половины на два — суть древнейшие мыслительные операции в силу своей простоты и надёжности.

Известно, что у людей с особенно высокоорганизованной психикой (поэтов, мыслителей) особенно легко обнажаются древнейшие структуры Бессознательного. Так Алик подверг дихотомии плитку шоколада. Так придумал язык ШАД. Исследователями подмечено, что языковая игра вообще нравится подросткам. Подросток бурно овладевает миром, и то, что взрослому привычно, подростку внове. Языковая игра остраивает для него мир, помогает ему острее его воспринимать. Подросток боится быть похожим на других. А создание собственного говора резко обособляет его от непосвящённых.

Игра с языком ШАД нас, правда, забавляла. Но было, я думаю, и другое. Сначала Алику, а потом вместе с ним и нам с Шурой нравилось, что в языке ШАД всё наоборот. Нам дорог был этот языковой карнавал, потому что нам хотелось, чтобы в страшной жизни, которой мы жили, всё изменилось и стало наоборот. А стишок моего друга показывает, что в создании языка ШАД участвовало пробуждавшееся половое чувство — материально-телесный низ (Бахтин). Здесь Фрейд и Бахтин смыкаются. И стремление спрятаться от мировой бойни, и поиски гармонии на развалинах привычного быта, и либидо — это мощные бессознательные стимулы, вызвавшие к жизни государство ШАД и язык ШАД.

Это не был тайный язык: мы были добропорядочные дети, пришибленные войной, нам нечего было скрывать. Наш язык обогащал синонимию, расширял возможности естественного языка. Я вспоминаю, что в детстве мы, когда лениво перебрисывались репликами, всегда это делали на языке ШАД. Однако когда говорили увлечённо, например, анализируя шахматную партию, сразу переходили на естественный язык. По сохранившимся письмам вижу, что взрослыми мы переходили на язык ШАД значительно реже, когда хотели выразить особую душевную теплоту, в минуты повышенной эмоциональной возбуждённости; чаще в связи с хорошим настроением, но иногда и с плохим. Алик пишет: *Дорогой Амидик! Получил твои подарки. Обисапс! (19.4.89). Алла чувствует себя плохо, плохо переносит жару. Зато Бард цедолом. За последний год (1988) родил (от двух жён) 16 щенков (6 + 10) (15.6.89). Я йохолл тамолпид. Часто говорю то, что думаю.*

Это был язык обособления. В Ашхабаде мы себя чувствовали маргиналами. Я по большей части ходил босиком и дома, и в гости, и в школу. Сандалии у меня были, но одни, и мама объяснила, что их надо беречь на зиму, на плохую погоду. Надо так надо. И я полюбил ощущать, как раскалённая земля обжигает босые ноги. Даже порезы и царапины на ногах саднили приятно. Между тем, ашхабадская школа несколько отличалась от того, к чему я привык в киевской 45-й образцово-показательной школе. Например, в Ашхабаде однажды мой соученик-пятиклассник, я даже помню его фамилию, только не хочу её во всеуслышание сейчас объявлять, придя в школу под хмельком, во время перемены расстегнул свои брюки, достал из них свой маленький мужской орган и стал демонстрировать его девочкам. (Раздельное обучение мальчиков и девочек ввели позже). Девочки шарахались, жеманились, хихикали и издали искоса с любопытством на него поглядывали. В школу босиком ходить не разрешалось: это считалось неуважением к школе. Я маме этого не говорил и только старался не попадаться на глаза директору. Он, увидев меня босиком, со строгими внушениями прогонял из школы. Учителя отводили глаза, делали вид, что моих нарушений установленного порядка не замечают, а я поджимал ноги под себя и прятал ступни ног под парту.

А в ШАДе «человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей» (Бахтин). Переговариваясь на нашем языке, играя в шахматы и обычно побеждая посторонних, мы с Шурой и Аликом без специальных слов говорили друг другу: мы трое необыкновенно близки между собой; так близки, как ни с кем другим; и как бы к нам ни относились посторонние, мы не хуже их и друг друга в обиду не дадим. А остальные нам и не нужны. Такая оппозиция «мы vs они» заставляет участников группы особенно остро почувствовать и осознать свою социальную идентичность. Мы упивались нашим языком на фоне голода, враждебности, побоев, непривычного климата, опасений за близких, воевавших на фронте и оставшихся в оккупации, на фоне боязни навсегда застрять в Ашхабаде. Обладание нашим языком приподнимало нас над бытом, возвеличивало в собственных глазах. Шутка! У кого ещё в поле нашего зрения был свой собственный язык?

Обобщив значительный материал, современная исследовательница проблемы детской игры в страну (С.М. Лойтер) выявила её основные черты. Сопоставляя с её выводами своё знание о республике ШАД, я вижу, что наш ШАД был во многом оригинален. 1). Обычно это игра тайная. Из ШАДа мы никогда тайны не делали. 2). Обычно эта игра длится недели, месяцы, иногда год-два. ШАД был игрой длиною в жизнь. 3). Обычно эту игру изобретают дети 7–11 лет. Мы начали свою игру в 12 и не окончили никогда. 4). Обычно в неё играют в укромном уголке квартиры, на чердаке и в тому подобных тайных местах. Мы не прятались. 5). Обычно предопределяет и направляет игру в страну книжность. У нас невозможно выявить влияние книг на возникновение и продолжение игры.

И лишь три признака у нас совпадают с обычно наблюдаемыми. 1). Нас было трое участников (обычно от одного до трёх). 2). Наша игра носила общечеловеческий, а не национальный характер. И 3). это была игра городских детей.

То, что ШАД стал утопией на всю жизнь и что он никогда не был тайным, в первую очередь определило его своеобразие. Возможно, с этим связано и то обстоятельство, что мы создали свою утопию на год позже, чем обычно наблюдается; в таком возрасте год значит много. И следует выделить ещё одну особенность ШАДа, которая и становится видна только на фоне других детских утопий. Обычно языка как системы детская игра не знает. Многочисленные примеры сообщают отдельные слова и словосочетания, привлекательные по созвучию и обозначающие главным образом имена обитателей страны-утопии и ее топонимы. Мы не знаем ни одного описания детской страны-утопии со своим языком. Вывод из сказанного может быть, кажется, только один: мы с нашим ШАДом и языком ШАД в каком-то смысле сохранили детскость на всю жизнь. Мне жаль, что я говорю о своих друзьях и о себе самом, а не исследую посторонний материал. Иначе я напомнил бы два высказывания: «Истинно говорю вам: если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, гл. 18, стих 3) и «Гении — это те, которые сумели не вырасти» (М. Волошин, «Лики творчества»).

После ухода из жизни Шуры и Алика язык ШАД почти умер или умер без *почти*. Иногда только я неожиданно для себя скажу что-нибудь жене на языке ШАД. Как подобает мёртвому языку, он обладает памятниками, сохранившими его тексты. Это письма. У меня находится приблизительно 110 писем Алика, около 40 писем Шуры и 110 моих писем Алику, которые по моей просьбе его вдова вернула мне после его смерти. Все они написаны русским литературным языком, но почти в каждом есть вкрапления на языке ШАД. И ещё я сам себе служу информантом как последний живой носитель этого языка.

Но слово ШАД мы никогда не произносили справа налево. Наши жёны обратили на это внимание и посмеивались над нашей непоследовательностью. После похорон Алика, когда мы возвращались из крематория, Аллочка, его вдова, мне сказала:

— Вот почему вы не произносили название вашего ШАДа справа налево. Вы не знали, но предчувствовали, в каком порядке будете умирать.

Нет, всё-таки язык ШАД нельзя считать мёртвым, пока жив последний его носитель. В прошлом году я прочитал рецензию, опубликованную в 1918 году и подписанную *Ассиар*, на одну книгу Блока. Я забеспокоился, что не знаю такого автора. В известном словаре псевдонимов Масанова псевдоним Ассиар отсутствует. По старой привычке я машинально произнёс это слово справа налево. Получилось Раиса. Я задумался. Второе С вставлено, предпо-

ложил я, чтобы труднее было распознать скрытое за псевдонимом имя. В начале XX века любили подобные экзотические слова: *Ассаргадон*, *Ассур*, *Ассурбанипал*. Ассиар. Я начал пересматривать произведения женщин-писательниц Серебряного века и нашёл среди них только одну с именем Раиса. Это Раиса Блох (7 сентября 1899 – конец 1943), одарённая поэтесса и переводчица с трагической судьбой. Это ей принадлежит стихотворение «Принесла случайная молва...», которое положил в основу своей песенки «Чужие города» Вертинский. В 1920 году она была принята в Петроградский союз поэтов. Сохранились письменные одобрительные отзывы о ней при приёме, принадлежащие М. Лозинскому, Гумилёву, М. Кузмину, Блоку. Если моя атрибуция верна, это Раиса Блох в возрасте 19 лет опубликовала на блоковское издание стихотворений Аполлона Григорьева рецензию, не уступающую по пронительности отзывам З.Н. Гиппиус, В.М. Жирмунского и других звёзд Серебряного века. Мой очерк о ней напечатан в 5-й книжке журнала «Знамя» за 2005 год. Если бы в моей жизни не было языка ШАД, мне, скорее всего, не пришлось бы в голову произнести псевдоним Ассиар справа налево. Какой же это мёртвый язык? Язык ШАД пока что жив. Мне повезло. Я счастлив, что в моей жизни был ШАД.



Татьяна Николаевна Бакланова родилась 13 апреля 1953 г. в Карелии. С 1954 г. живёт в городе Рославле Смоленской области. В 1986 г. окончила литфак Смоленского педагогического института. Стихи пишет с 10 лет. На счету у автора 15 поэтических и прозаических книг. Её стихи неоднократно звучали по радио и телевидению (ОРТ, РТР, т/к «Культура»). Многие стихи положены на музыку. Бакланова — лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского.

МИХАИЛУ

Твоё имя — «подобный богу».
И святым твой является путь.
Ты ступил на мою дорогу,
Чтоб ни разу с неё не свернуть.

Чтоб меня, всю как есть, принимая,
Побуждая и жить, и цвести,
Над бедой высоко поднимая,
Сквозь года на руках пронести.

Сам от этого выше и крепче
Ты становишься день ото дня.
Ты Всевышнего знаком отмечен —
Бережёт он тебя для меня.

Страшно думать, что в час неудобный
Разминуться со мною ты мог.
Для меня — ты совсем не «подобный»,
Ты мой свет, моя жизнь. Ты — мой Бог!

* * *

Серебристые волны плескались.
Я сидела под ивой своей:
То ли косы с плеча растекались,
То ли гибкие нити ветвей.

Тайны сами собою сказались.
Так бывает — таи не таи:
То ли листья тоскливо шептались,
То ли жалобы ныли мои.

Говорить нам ничто не мешало.
Не касалось молвы остриё.
То ли ива меня утешала,
То ли я утешала её...

* * *

Когда сосна без усталости баюкала
Ночь молодую песнею ветвей,
Моя любовь отчаянно аюкала,
И ты охотно откликался ей.

И принимали звёздные субстанции
Согласья свет и тайные слова.
Безумней ветер становился танцами
Да зеленой и ласковой трава.

И безрассудность наблюдала весело
(Рассудка власть — безропотно тиха),
Когда теряло сердце равновесие
Меж святостью и пропастью греха...

СНОВА О БЕРЁЗЕ

Смирным и ласковым тёплым котёнком
Снова у ног твоих ветер затих.
Вечером этим — прозрачным и звонким —
Снова, берёза, ты просишься в стих.
Веткой разлаписта или тонка ты,
В холод согреешь, в жару охладишь.
Каждой простой обносившейся хате
Преданным взглядом в окошко глядишь.
И от души у себя привечаешь
Боль одного или счастье двоих.

В синий полёт ты легко провожаешь
Пташек с зелёных ладоней своих.
Шелестом кроны охотно ответишь
Нам на вопросы, о чём не спроси.
Духом поддержишь и рану полечишь, —
Белая грусть нашей скорбной Руси.

* * *

У всех у нас — свой почерк и походка,
Простые или сложные пути.
У всех — свои потери и находки,
Свои огрехи — Господи, прости!
Всем роль отведена в житейской драме,
Как место зёрнам в свежей борозде.
Без жалоб и упрёка вместе с вами
Варюсь я в окружающей среде.
Надлом судьбы, суровая реальность
Не прикипают к моему перу.
Но почему-то тайна и кристальность
Росы земной волнуют поутру.
Поля, леса, дождей святые слёзы,
Родных лугов июльский колорит,
Где созревает пришвинская проза,
Поэзия Есенина звенит.
Мне ни к чему услужливый посредник.
Менять не стану слово — на гроши.
Я не трибун, я тихий собеседник
Для откровенно-искренней души.

* * *

Я исчезну из этого мира
Незаметно, как искра костра.
И моя некричащая лира
Замолчит всем воспетым вчера.

Я покину свой город старинный,
Свет в окошках, добрейших людей,
Скверы, улицы – ночью недлинной
Под прелюдию летних дождей.

Ни к чему громогласие тризны
И неискренних слёз водопад.
Не строптивым уже, не капризным
Той судьбы пусть покажется взгляд.

Только веткой, к земле наклонённой,
Кольхнётся берёзонька пусть:
Я жила всей душою влюблённой
В эту белую русскую грусть.

Я исчезну из этого мира:
Поднимусь на волшебном крыле.
А тебя, моя тихая лира,
Я оставлю на этой земле.

* * *

Всё так по жизни ведётся:
Идём мы своей полосой. —
Чья чаркой хмельною прольётся,
Чья горько-солёной слезой.
Кому-то всегда без натуги
Бездумно по жизни шагать,
Нужды и потери, недуга
И горя большого не знать.
Черстветь от достатка и лоска,
Теряться в пустых мелочах. —
Их беды вмещает авоська,
У нас же — сума на плечах.
До крови врезаясь в лопатки,
Как лодку держа на мели,
Лишает нас силы и хватки
Её оторвать от земли.
Девиз наш безумный — не сдаться,
Чтоб сдвинуть беду хоть на пядь,
Но только нам это удастся —
Сума тяжелеет опять.

И снова идёт всё по кругу,
И ночи черней полоса,
Пока не порвётся подпруга,
Пока не угаснут глаза...

* * *

Где хлеба недавно зрели,
В поле встретить бы зарю.
Есть дежурный по апрелю,
Ну а я — по сентябрю!

Над родной землёй глубинки
Небо хмурится уже.
Тают первые снежинки
На рябиновом драже.

В гуще серых окоёмов
Растворился птичий гам.
Ветер воду водоёмов
Прижимает к берегам.

Словно лодки у причала
Листья в кружеве колец...
Сладостно весны начало,
Горек осени конец.

НОЧНОЙ БЛЮЗ

Приутих городской шум.
Наступил полон тайн час.
Будоражит волна дум —
Не сомкнуть до утра глаз.

Освещён тусклым бра стол,
Где в скатёрку вплетён лён.
И, пронзительно так гол,
За окошком дрожит клён.

В удивленье стоит ночь.
Льёт елей щедро сон-лгун.
Фонари светят точь-в-точь,
Как упавшие сто лун.

Бродит тень, наводя жуть.
Затяну на груди шаль.
Мне б строкой отразить суть, —
На листке ни словца... Жаль...

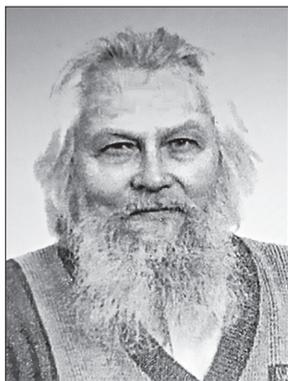
* * *

Я не жду от судьбы чудес —
Позабыта давно эта глупость.
Я смотрю в синеву небес,
На февральского солнца скупость.

Вереница усталых дум
Устремляется ввысь, как птица,
Чтоб забыть суеты шум,
Чтоб душе синевы напиться.

И, по всем ощущениям примет,
Груз тревоги становится легче.
Смуту в сердце пронзает свет,
Невесомо ложится на плечи.

Велика над людьми неба власть,
Не дающая вдруг растеряться,
Чтоб в унынье душе не впасть,
Чтоб держаться, держаться, держаться...



Виктор Никитович Бобков-Тесновский (1934–2009) – поэт, прозаик. Родился в д. Большое Тесное Выходского района Смоленской области. Окончил Московский авиационный институт. Работал в научных КБ Москвы. Автор книги стихов и прозы «Эхо» (Смоленск, 2005). Публиковался в региональных периодических изданиях, альманахе «Под часами». Член Союза российских писателей. Похоронен на родине на сельском кладбище.

СОЛОВЬИНАЯ ВЕСНА

(отрывок из повести)

Не сказать, чтобы Прохор отставал от нового века – просто не успел выжить из минувшего. Этот новый век ещё в старом так отчуждал всех ваучером, что до сих пор хребет чешется.

Старая Дарья Михайловна, соседка Прохорова в Логах, пока не разобралась, всё Чубайса Волчером называла. Да и неспроста, видать.

Всё одно к одному. В очередную перемену курса Дарья, как обычно, пришла на почту за пенсией. И что же? – вместо вороха денег ей выложили всего... две бумажки. Одно и то же, сказали, – бери. Дарья не ребёнок, и хоть ей за 80, считать не разучилась, много от мало отличает.

– Мало, – говорит Дарья почтарьке, – прошлый раз я много получила, не возьму.

– Бери что дают, – отвечает почтарька, – не мешай работать.

«Никак обмануть хочет, – подумалось Дарье. – Ишь, мешаю я ей!»

– Не возьму, – настаивает на своём старуха, – зовите дочку, чтоб без обману.

Пришлось дочку позвать... Всю дорогу до дому Дарья пыталась осмыслить, как это получается, все одно: что мало, что много. Да так и померла, не осилив, едва переступив порог.

Всех Дарьиных за долгую жизнь сбережений едва хватило на похороны да на скромные поминки. Как легко догадаться, что не раз отмечалось и классиками, на Дарьины похороны день выдался скверный – дул холодный ветер, с серенького неба срывались ленивые слезинки дождя; за гробом шли четыре-пять унылых старух, которые обычно и обмывают, и провожают таких, как Дарья, в последний путь. Реденько сорили еловым лапником.

Не для каждого у Бога погожий день, да и не каждому усопшему высоко в небесах у самых райских ворот сияет золотое солнце. И разница не только в погоде или в божеском благоволении, а и в памяти человеческой.

К примеру, ну чем ту же Дарью вспомнить? А иных есть чем: тысячи тысяч людей в землю зароят, в прах обратят в своих то блистательно-коротких, то подлиннее, в годы, войнах.

Хоть из чистого золота жеребца в память народу каждому о том, с победоносцем на полированный постамент гранитный, и чтоб трубы серебряные трубили, и чтоб бил копытами конь и грозно гудел: гу-гу-гу-гу!!

У Дарьи с нашей Великой Отечественной, она ж и кровавая Вторая мировая, не вернулись муж да двое сыновей. И до того не было в Дарьином роду, чтобы хоть кто-то не сгинул в войнах.

Родилась Дарья лет за семь до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года; из Логов выезжала только в замужество на шахты, в Донбасс. Хоть жилось там и хлопотно, да в тепле, — дом держала, семьёй дорожила. На Донбассе и расписываться научили, в ликбезе.

А как мужиков на войне поубивало, с дочкой в Лога приехала — кому нужна Дарья на чужой стороне. Из тех тёплых мест она разве что тёплые слова вывезла, для нашего уха непривычные. Бывало, выговаривает дочке: «Ты бы лушпекайки не в ведро, а на лужбайку — куры поклюють».

За долгую свою жизнь Дарья научилась делать громко и потише радио, управлялась с электроплиткой.

Прослышала, что за свет надо платить, попросила вернуть самую яркую лампочку: как же, её глаза света яркого бояться! Зажигала ту лампочку только поздним вечером да в тёмные зимние утра.

Единственную внучку свою Дарья готова была за пазухой носить:

— В городе таперича живеть, вывчилась на начальника внученька; таперича ничаво ни делаить, только провирять ездить.

И не зря гордится Дарья грамотной внучкою — отчим-то, хоть уже не ликбезом охваченный, а всеобщим по стране средним образованием, в страстном и решительном желании «покончить» передал любимой теще в заверение такую написанную собственной рукою расписку: «Я ШУМЕТ НЕ БУДУ И ДРАЦА НЕ БУДУ ЕСЛИ ЕЧЕ ПОВТОРИЦА ТО СОЖАЙТЕ МЕНЕ».

Нет уже в живых и Дарьиного зятя — наверно, всё-таки повторялось. Не вступая с ним в борьбу, покорила, выгорела нутром и её дочка.

Внучка унаследовала Дарьин дворец — крохотную избёнку под крышей, крытой рубероидом по дранке, да четыре курицы с будильным петухом.

Тенью пронеслась над Логами Дарьиная жизнь, а всё же зацепилась, оставила след по себе: бывавшие в Логах нет-нет да и припомнят, как покупали у Дарьи необычно вкусные, в кулак величиною, куриные яйца. А секрет был простой — курочки дикарками вывелись и выходились сами, пока не повзрослели, чтобы лушпекайки клевать. Так диво ли, что каждая по четыре раза на дню неслась.

Только закатный луч скользит теперь над бурьянами на месте Дарьиной хатенки, скользит, ни за что не цепляясь. Разве споткнётся и высветит молодые белоствольные берёзки на краю бывшего пахотного поля.

Прохор с интересом вслушивается в чужеродную вязь новых слов. Давно уже, как-то по-школьному, прошёл — выучил бартер и ваучер, нисколько не удивился созвучию бордель и баррель — в сродстве...

Промоутор, дилер, гламур, медиа и пиар... и прочая, прочая, в аббревиатурах, были уже за пределами притяжения его планетной системы.

Не попрекать же детей, зародившихся в объятиях нового века, тем, что они никак не могут понять своих бабушек и дедушек. О чём это: «друг милый, не велеть ли в санки кобылку бурую запретить?». О чём это? Пушкин, поэт? Кажется, Александром Сергеевичем звали... Достоевского будущие дипломаты в советские писатели определили. А что же не будущие и не дипломаты — в Союз журналистов запишут?

Дилеры, киллеры, комп, мышка — тут всё понятно и просто; но вот «трещит затопленная печь?..» А ещё, говорят, этот Пушкин латынь и греческий знал, на французском стихи сочинял... В ноутбуке — вот язык, мировой — знай, кнопки жми. Сам не поймешь — друзья помогут. Да если надо, теперь на мобилу любую муму сбросят, а захочешь — то и Герасим заговорит. Башня Вавилонская новая, похоже, ввысь растёт и вширь разрастается. Чужим языкам всем народом обучаемся. Кто на слух учится (гламур, лямур), кто по банкам консервным, что выедает, кто по пакетам.

Вот до чего дело дошло. Объявились как-то двое в Логах, не так уж и молодые, ещё «Приму» да «Беломорканал» курили (теперь-то больше «Петра Первого» на дым изводят), глаза с усмешечкой. Прослышали, говорят: Прохор Петрович, забор починить вам надо... Так мы того... починим, как бы.

— Так и сколько же вы за работу, как бы, возьмёте? — спрашивает Прохор.

— Не-е-е-е-е, мы, это, поглядеть что к чему — насчёт цены с нашим менеджером договаривайтесь.

... И ушли, к великому изумлению Прохора Петровича.

Что? Забыли, как с кротов шкурки сдирали? Или в «пещерах» потеплело, не дует уже? А может, петух жареный ещё в задницу не клюнул? Да за копеечкой земле кланялись, а у Прохора — пальцем пошевелинуть — не хочу. Не хотят брать — мало. Больше бы и взяли, да стыдно. Ну, это так Прохор рассудил... С менеджером, однако, договорились. Хотя этот тип какой-то пластиковой карточкой голову морочил. Прохор такой и в глаза не видел. Всё, что когда-то считал Прохор в кошельке, за четвёртый знак, как на счётчике электрическом, не переваливало.

«Серость и темнота ты, — думает о себе Прохор. — Вот в Париж тебя не вытянешь — скучно. Слетал бы хоть в Штаты Соединённые, коллеги-друзья давние приглашают; живи, пока не обрыднет в этой самой Калифорнии — жильё своё, комфорт, кондишены, бассейны с молодыми акулами. Однако обуржуазились марксисты-перерожденцы — извиняй, мол, Прохор, дорогу

туда-обратно изволь сам оплатить. Дороги, видите ли, им не потянуть, эрлайны разные».

И Прохору дороги не потянуть — ни через океан, ни через Берингов пролив... Ни в какую сторону не потянуть. Может, на автобусе по социальной льготе, за бесплатно, с жёлтой карточкой?

Ну и зачем Прохору такая их Калифорния? Вот разольётся по весне Басиха, луга-болота затопит — с каким океаном сравнить? Спадёт вода — кусты ивовые зацветут, преобразятся, словно шмелями золотыми высветятся, пчелы дикие налетят — медком потянет. А уж когда соловьи нагрянут, — эхма! — какая там Калифорния? Забудешь, с какой стороны солнца ждать, — что тебе на концерте песни и пляски по праздничным дням. Правда, соловьи только по весне поют, раз в год — как тут в счастье не поверить? Бывают, однако, странные сближения. По весне, как раз на масленицу, Прохора в люди потянуло, в районный Дом культуры зашёл. И как раз угодил под народный имени Коммунистического Интернационала молодёжи (это Прохор точно запомнил, КИМом сослуживца звали) ансамбль «Золотая Челюсть». Три часа сарафанного счастья. Не солгать, морщины разгладились, хоть и местами, — в Лога возвращаться не хотелось.

Жалееет Прохор, что не жмётся к нему городской его внучик, не стоит у него на босых ступнях, как когда-то сам мальчонкой стоял Прохор на ступнях своего деда, с затаённой робостью вслушиваясь в тихое потрескивание звёзд в безмерно высоком ночном небе.

Зимой на крыльце долго не постоишь, хоть и дух захватывает от слепаще-яркой луны над деревней, от свечения снегов, от пугающей густой синевы в провалах между хлевами и избами.

«Живой, однако», — улыбался Прохор Петрович, возвращаясь в Лога на ту памятную масленицу. Ансамбль КИМ ЗЧ порадовал тогда Прохора, вызвал, поманил из душевных глубин такие чувства, словно хорошо выполненная работа. Такие песни пели — сердце таяло в груди, в соловьиную весну поскорей захотелось, и чтоб любимая за шею руками обхватила и к твоей груди своей грудью прижалась.

«Вот вам! Вот вам! — в мыслях выговаривал Прохор сбежавшим в Штаты. — Чтоб у вас сердце в груди, как селезёнка у коренника, ёкало... Да у вас-то, поди, и соловьёв не бывает? Или и с них за перелёт через океан денежки выцыганиваете? Вот вам про Басиху! У вас такой не сыскать! А боры-то сосновые стоят вдоль Невесницы! Не стану вас расстраивать — вдруг сердца ваши с воспоминаний да с расстройства и вправду пообрываются... (Как же, стоят те боры, — споткнулся мыслью Прохор, — меньше чем за год положили. Да всё равно, пускай посохнут эти космополиты! Так им и надо!)».

И не кипятился бы Прохор, только в начале лета, прогревшего речные берега, вышел он к устью Басихи. И, к немалому изумлению своему, увидел там то, что называл теперешним диким словом — текстовка. Два столба возносили размалёванный жестяной лист на трёхметровую высоту.

Не без труда прочитал, однако почти запомнил:

«Р. ПЕРЕПЛЮЙКА (бывш. река Басиха. Упом. 1650 г. 1870 лесосплав)

Наименование Переплюйка принято внеочередным решением Комиссии по переименованиям в связи с историческими и природными изменениями и по многочисленным просьбам трудящихся в 199... по факту».

Последняя цифра и «по факту» были прострелены ружейной дробью.

Знакомый краевед, упрекнув Прохора в пещерной отсталости, сообщил, что «да, против факта не попрёшь», такие щиты по всей России почти устанавливаются. А у нас не только в устье Басихи, а ещё при впадении в Угру речек НЕВЕСТЕНКИ и НЕВЕСТИНКИ близ Щёкина, на родине предков писателя И. С. Соколова-Микитова (так на карте 1994 г., – Невестенка и Невестинка. – *Прим. авт.*), на реке Гордоте (впадает в Угру близ Фёдоровского. На Гордоте в усадьбе Кислово прошло детство И. С. Соколова-Микитова, написаны многие его рассказы. В войну 1941 – 1945 гг. дважды с боями форсировали Гордоту десантники 4-го воздушно-десантного корпуса. – *Прим. авт.*).

Так вышло, что по факту, в связи с историческими и природными изменениями, имеем теперь, соответственно, речки ПЕРЕЙДИПОСУХУ и ПИРИЙДИПОСУХУ, а некогда уносившая в Угру мосты и срубы Гордота и вовсе именуется НЕМОЙ РУЧЕЙ.

Переживая сообщённое краеведом, но всё же ободрённый сходством во мнениях о работе Комиссии, Прохор ощущал порой страстное желание поработать. Уж так обидно было за Басиху. И что подумают теперь эти, в Калифорнии. Их уже, поди, ностальгия доконала, – вот-вот самолёт заказывать, а тут – Переплюйка... Конфуз – выходит, налгал Прохор про Басиху! Хотя, один чёрт – кнопку нажмут, им эту Переплюй-Басиху спутник голенькую на экран выведет, без боров смолистых и полян ландышевых; как девчужку перед зеркалом в мамином лифчике. «А не доживут, пока лифчик в пору, – позлорадствовал Прохор. – Хотя вон уже на Переплюйке и медведи по малинникам шастают... Эпоха возрождения грядёт, Ренессанс российский!»

Только о возрождении подумалось – извилины зачесались, по работе соскучились. Это ж что выходит, проглядело государство, прошляпило – ну, никак нельзя отпускать человека на волю в шестьдесят лет, никак нельзя! Сколько б ещё могли сделать старички... Что и как сделать, Прохор Петрович представлял себе смутно. Но сделать хотелось – Ренессанс.

Прохор Петрович ушёл на пенсию, когда страна меняла гербы и знамёна, так же до неприличия просто – не вышел на работу с понедельника. На вопрос жены: «Что, у тебя отгулы?» – отшутился: «Я с понедельника АРАП. – И пояснил: – Активно Работающий Пенсионер». Жена не возражала... Хорошая у Прохора жена, с понятием – настоящая.

Рассудив, что дорога теперь не путь и не шествие, а детская забава «закрой глаза – открой глаза», Прохор уехал из престольной в свои родовые Лога.

В скромном качестве инженера Прохор Петрович бывал и за границей, и во многих местах дома; многое и видел, и слышал, и научился не делиться «дорожными» впечатлениями. Теперь, когда сломались печати, всё пытался рассказать сыновьям о том и о другом, а они в ответ только: «Мимо, отец, мимо! Живи спокойно, мы тебя любим».

И Прохор жил, ощущая себя по-прежнему причастным к чему-то Единственному в мире, полном благодати и ужасов, не поддающихся описанию.

Он понимал язык природы, горячо отстаивал права давно живущих рядом с человеком насекомых на более тесное общение. И, что бы там ни говорили, комары не беспокоили Прохора, осы и пчёлы, присев отдохнуть на его обнажённое плечо, торопились в своё короткое лето. И даже мухи не залетали в Прохорово жилище.

Если бы такое совершенное создание, как бабочка (почти равное в совершенстве человеку-женщине – исследовано), могло уцелеть в хаосе сознаний и суждений, Прохор мог бы выступать с бабочками в цирке. Он попросит – и бабочка понимает. Вот раскроет лепестками цветка крылышки, замрёт на ушной раковине, и тогда Прохор, затаив дыхание, слушает и слушает, как бьются её крошечные сердца.

Много ли мы знаем друг о друге? о себе? о тех, кто рядом на нашей маленькой планетке? По несходству с собою судим. На одних весах взвешиваем навет и верность.

Не понять Прохору, отчего слова золотую суть люди тем же словом и губят. Вот слово – социализм. Из него назад далеко глядеть, а вперёд – ещё дальше, на все века маяком. И суть для всех золотом сияет – «ИЗ МЫ». «А пришло время, – рассуждал Прохор, – и оно, и многие измы обесценились, под девальвацию угодили.

Над Расеею рожь посеяли
Зорькой раннею, огневой,
Золотится рожь – нет красее... –

пропел Прохор, как обычно в раздумные минуты. – Ну-ка, ну, – распалял себя Прохор, как это там? – Расея, от Москвы и до Енисея... А до Москвы? А за Енисеем, до Амура?

Или в угоду Расее «русскостью» кичимся – потихонечку б грамоте учились, стихились бы годков на десяток-другой, РОССИЮ бы сберегли. А то не пришлось бы запеть: «от Москвы и до Амура территория гламура».

Ишь как, – хмыкнул с усмешкою Прохор, вероятно, в похвалу, – поэты первыми «перемену курса» почувствовали и от потерявших силу слов отказались. На новых «купюрах» и рисунок поменялся, и год выпуска другой. Подругому и рифмовать придётся... Распевное времечко», – заключил Прохор.

Часто Прохор беседовал со своей собакой Ларионом. Иногда пёс повизгивал, соглашаясь; чаще молча вертел хвостом в непонятых местах; всего охотнее слушал с листа. Может, потому, что после прочтения Прохор комкал

лист, и тогда Ларион на правах первого оппонента шугал котёнка Шидлу, зажимал комок между лапами и, уткнувшись в него носом, на какое-то время засыпал.

— Скажи, Ларион, если ты мне друг (в ответ Ларион подавал голос — гав, гав), скажи, дано ли тебе предугадать, когда кончается одно и начинается другое? Нюхал ли ты хоть раз мебиусову ленту? Знаешь ли, как вымерить меру мерой, равной себе? Не крути хвостом, и так знаю, не нюхал. А можешь ли ты предвосхитить мысли? И что в тебе твоего? Согласись, что ты всего лишь часть Пространства в собачьей твоей шкуре, с хвостом. То-то же, визжишь — согласен, выходит.

Вот тысячелетия слышим: человек, человечество, человечность, век, вечность, а не проходят слова, не стираются в сути своей.

И пока только живому, а значит и тебе тоже (ты, я слышу, похрапываешь, лентой непроходимый) дано почувствовать тонкие различия в них по смыслам. Ни человек, ни ты, собака, не можем войти в Вечность при жизни. Когда слышим «больше века не проживёшь» или «чужой век живёт», о человеке ли, о вещи ничтожной, или вот о собаке — тут, прямо скажем, не совсем о Времени. Скорее всего о Состоянии.

— Проснись, лодырь! Я тебе русским языком говорю: только «человечность» пахнет моим желанием дать тебе косточку; то есть желание — психическое, унюхал? А уж когда дам, наверно, прогавкаешь, что я человеческий человек, или по-вашему — настоящий собака. Не так ли?

Перестань визжать, Ларион, — кости дорого покупать даже людям. О Вечности мы подсознательно судим как о Едином Пространстве.

Тут все на равных правах — бабочка, дерево, человек и ты, собака, — все, все. Тут, брат, Века и Народы... Всем места хватает в Едином Пространстве Вечности.

В немецком языке «век» (столетие, эпоха, жизнь), «веко», «вечность» не имеют общего, как наши, корня. А слову человечность в русско-немецком словаре на восемнадцать тысяч слов не нашлось и перевода. Зато нашлось нечто, что подтверждает наши с тобой рассуждения.

Ах, ты всё ещё спишь, собака. Иди-ка гуляй. Иди, иди — вижу, тебе только косточки снятся.

Вот что записал Прохор о вечном и вечности: ewig — вечный, вечное; ewigkeit — вечность. То есть как «вместилище». Сравним переводы слов «бедный» и «бедность»; «беднота» — собирательное! Вечность как Единое Пространство лишена памяти веков, хотя на Вечности веками наживают себе капиталы. Любопытно, спекулируют ли ВЕЧНОСТЬЮ немцы? Им было бы труднее вывести слова из одного гнезда. Где им до тонких переходов — всё у них по полочкам, до скуки. Даже пиво только сосисками с капустой закусывают.

Прохор скомкал лист, бросил к печке, на пол — на растопку пойдёт. Шустрая Шидла тут же завладела игрушкой и устроила Прохору настоящее цир-

ковое представление с выслеживанием, преследованием, поимкой добычи и победными танцами.

На очередном листе Прохор с трудом разобрал им же написанное: «Знать, только в русском языке ВЕЩЬ становится ВЕШКОЙ на дороге памяти...» Далее много раз правленные строчки:

«Для Вечности седые пирамиды,
Ведущие бесстрастно счёт векам,
Не память об ушедших фараонах —
Всего лишь только пение песка...»

— Эх, куда занесло — того гляди, под белы рученьки подхватят. А уж там — сживут как сжуют, пропадёшь ни за нюх табака, — хохотнул Прохор. — Поживём, однако, некуда торопиться. Да и кое-что доделать надо бы.

Прохор готовился лечь спать. На душе было бестолково-весело, как на дне рождения; просторно, как в его Соловьёвой весне — одной на четверых: два деда да два внука; и вполне в духе века — два в одном и десять процентов бесплатно. Быстрее вспышки зарницы пронеслись милые воспоминания о тех счастливых днях.

— Пространство времени, пространство, — шептал Прохор, засыпая. — Свет...

Кажется, дотянулся... В то же мгновение огромный мегаполис погрузился во тьму. И не нашлось бы желающих увязать эти два события между собой.

Прохор лежал с совершенно пустой головой, готовой к свершению новых открытий. Однако пока ещё без всякого движения мысли, без ощущения тепла или холода.

Одинокое белое облако белым лебедем проплывало над синим лесом. Прохор почувствовал, всего на миг, что наконец-то неведомо как, чудом, осуществится его давнишнее желание пролететь на дельтаплане неторопливо и незвучно, как когда-то летали аисты над его деревней. Тёплая упругая волна согретого под аистиными крыльями воздуха коснулась невзначай его лица и рук. Но другие, неведомые Прохору, крылья бережно подхватили и понесли его в бирюзовое весеннее небо.

Поздним утром в Логах объявилась живописная группа молодых людей. Высокие, статные, со здоровым румянцем на щеках мужчины и улыбчивые белозубые (глаз не отвести, как хороши) женщины весёлым громким смехом подняли с постели Кузьминичну, и та метнулась в испуге к окошку, прилипла к стеклу, едва не расплющив себе нос.

— Ну вот, знать, к Прохору. А к кому ж ещё? Выходит, правду говорил, не лгал про таких-то... Ишь как — на японских лендровежах... Не иначе с навигатором этим, который к нам дорогу показывает. Во понаволокли, — дивилась Кузьминична, — это ж на сколько хватит! Теперь Прохора и из избы не выманишь.

Старуха лукавила — зимой ей и самой не очень-то хотелось «из избы», чаще у неё бывал Прохор.

В обычной торопливой бестолковщине и суете, какая случается, когда наконец — «Ура! Всё — приехали!» — в напряженно-радостном настроении приехавшие направились к Прохорову жилью. Несли свёртки, пакеты, картонные коробки... Высокотелый мужчина («Во, лось, вымахал, — отметила Кузьминична, — воду возить») озорно раскручивал глобус, то и дело убыстряя перемены дней и ночей, зим и лет, перемены перемен на нашей крошечной планетке.

Прохор Петрович скончался во сне. Смерть перенесла его на дельтаплане через порог Вечности, и та равнодушно заключила Прохора в своё Беспамятство.

Среди подарков оказалось несколько книжек с мудрёным для многих и сегодня названием: «К вопросу о качестве жизни в реальном и виртуальном. Россия на стыке тысячелетий». То был итог работы Прохоровых гостей, молодых инженеров. В подстрочнике, мелким шрифтом, указано: научный рецензент и консультант Пётр Любомиров.

Схоронили Петра Петровича, по его завещанию, в «наследных» Логах, на сползающем в Забвение деревенском кладбище. Ни креста, ни камня ставить не велел. Говаривал: «Схороните под звёздами, травой прорасту. Мимо не проходите: Вечности всё равно — себя поберегите...»

Прибывшегося в Логи одинокого (или одичавшего?) горожанина, чуть дохнувшего в Логах хрустально-чистого воздуха, хоронил последний потомок известного в наших краях многочисленного рода Лендсли. Лендсли — выходцы из Шотландии — верой и правдой служили и на военной, и на всякой другой службе русским царям и социалистическому отечеству с начала четырнадцатого века; так говорят, иногда пишут в переиздающихся энциклопедиях.

Вышвыривая широким заступом податливую землю, исшотландившийся Лендсли приговаривал:

— Во, хорошее место тебе выбрал — между сосенок; как себе, могилку выкопаю, глубокую... А что — один песок... Копай да копай, пока не надоись.

...Выкопал, за что и получил от власти сто пятьдесят рублей и бутылку водки.

Подъехала машина с покойником. В скорбном молчании опустили гроб в могилу; вчетвером, не считая шофёра, и управились: ни провожающих, ни речей...

Сломалась на свежем могильном холмике тень от набежавшей тучки. Пролетая, о чем-то прокричал с высоты одинокий ворон. Тихо.

За эту ли тишину сложили головы в снегах, песках да болотах ратоборцы наши?

Колесники, кузнецы, печники да колодезники, плотники наши логовские; и несть числа, кто ещё по матушке земле нашей; всем народом поднялись – и выстояли. Их не в чем упрекнуть – они не вернулись с войны. Им не знать о том, что попоранные знамёна неприятеля брошены на брусчатку Главной площади столицы нашей и преданы огню перчатки, коснувшиеся поганого древка тех знамён. Живым бы и знать, и помнить.

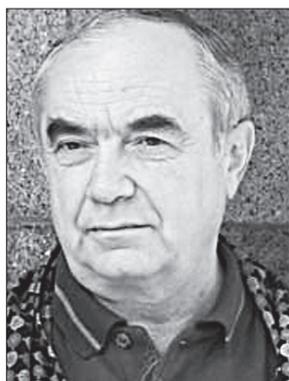
...В сонную тишину, пронизанную светом занимающейся зари; в утро, переполненное властным ожиданием Свершения; в Соловьиную Весну над Переплюйкой истошно, на языке своей матери, орала молодая женщина.

– Рожает, однако, – сказал бы Прохор. – Мальчик... Видать, крупный: головкой выходит... О! – голос подал! В деревнях наших, вдоль Басихи, бабы, бывало, чаще мальчиков рожали.

И, крикнув, добавил бы с прищуром:

– Раз говорят – всё образуется! А как же иначе? Не всё ж говорить... Это-то вон в какую весну выпрыгнул! Надежда есть, за землю зацепится.

В ещё не пробудившемся дне было слышно, как с деревьев, с молодых ещё, нежных, как пятка новорождённого слонёнка, восковых листочков, срывались вниз и сочно чмокали жемчужные капли росы.



Эдуард Александрович Борохов — афорист, поэт. Родился в 1948 г. в Смоленске. Автор 9 книг афоризмов на все случаи жизни. Автор-составитель самой большой российской энциклопедии афоризмов («Энциклопедия афоризмов» в 4-х т.т.) и 5-ти сборников афоризмов. Публиковался в сборниках, изданных в России, Украине, Литве, газетах и журналах. Афоризмы цитируются на десятках сайтов в Интернете, включены в Википедию и в Антологию современной отечественной афористики, звучат в радиопередачах и спектаклях. Живёт в Смоленске.

О ПРОШЛОМ ПОМНИТЬ НЕ ВСЕГДА ПРИЯТНО, А БУДУЩЕЕ ЗНАТЬ – НЕВЫНОСИМО

* * *

Вся жизнь — хлопот хитросплетенье,
И очень часто будний день
Похож на бой боксёра с тенью,
В котором побеждает тень.

* * *

За жизнь в порывах страсти и метании
Вознаграждает нас судьба с подвохом:
Когда нужда есть во втором дыхании,
Она нам шлёт его с последним вздохом.

* * *

Я, приобщаясь к мудрости наследию,
Немало любопытного узнал:
Чем больше жизнь похожа на комедию,
Тем у неё трагичнее финал.

* * *

Народ наш мудрецов и дебоширов
Не может обойтись без идеалов,
Умеет создавать себе кумиров,
Чтобы потом сносить их с пьедесталов.

* * *

Следуя заманчивым идеям
Сообразно силе и уму,
Осчастливить мы себя умеем
Так, что не завидно никому.

* * *

Напрасно мы на чудо уповаем,
Что поумнеем к старости весьма:
Мы к старости ума не наживаем,
А чаще выживаем из ума.

* * *

Не бойся проходимца и прохвоста,
Не уступай без драки никому:
Ведь сохранить лицо своё не просто,
Не получив ни разу по нему.

* * *

Как бы ни тяготило жизни бремя,
Расстаться не спеши с ней сгоряча:
Нет палача безжалостней, чем время,
Но нет его искуснее врача.

* * *

Хоть без напастей не проходит дня,
Одoleвает суета напрасная,
Эфир переполняет болтовня
О том, какая жизнь у нас прекрасная.

* * *

Многих ревнителей прытких затей
Нам лишь способны внушить отвращение:
Чем завлекательней с виду идеи,
Тем отвратительней их воплощение.

* * *

О прошлом не пристало нам тужить,
Пора забыть все небыли и были,
Мы не имели права плохо жить,
Но в яростной борьбе его добыли.

* * *

На склоне лет становится понятно
То, что для юных невообразимо:
О прошлом помнить не всегда приятно,
А будущее знать — невыносимо.

ЧЕМ С БОЛЬШИМ ТРУДОМ ВЫЖИВАЕТ НАРОД, ТЕМ ЛУЧШЕ ЖИВУТ ЕГО СЛУГИ

* * *

Шум идёт по российской округе —
Шум возни, препирательств и склок:
Это делят народные слуги
Аппетитный бюджетный пирог.

* * *

Чтоб к лучшему могла жизнь измениться,
Я пожелал бы Думы депутату
Ходить к врачам в районную больницу
И жить на минимальную зарплату.

* * *

Власть влечёт, прельщает и манит,
Вызывает головокружение,
Власть осуществляет, как магнит,
Всяческих подонков притяжение.

* * *

Ведь нужно стопроцентным быть ослом,
Чтоб делать из политика кумира:
Лишь тот, кто не владеет ремеслом,
Решать берётся рьяно судьбы мира.

* * *

Едва одолев своих мыслей разброд,
К одной я пришёл на досуге:
Чем с большим трудом выживает народ,
Тем лучше живут его слуги.

* * *

С народом у власти одна маета,
Доводит её он до паники:
Пока заживают рубцы от кнута,
На складе кончаются пряники.

* * *

Чиновник — вот хапуга и уродина —
Кладёт в заначку золотые слитки
И поучает, как любить нам родину,
Которую он обобрал до нитки.

* * *

Устроим жизнь мы на другой манер —
Она ведь далека от идеала, —
Когда последний коррупционер
Оценит красоту лесоповала.

* * *

Дождаться честной власти — не судьба,
Любой режим всегда дурачит нацию.
А всякая с коррупцией борьба
Весьма напоминает профанацию.

* * *

У нас вопросов меньше, чем ответов,
По чьей вине мы пьём из горькой чаши:
Сидит в тиши высоких кабинетов
Немало тех, чьё место у парашаи.

* * *

За фортуной обласканной следуют свитой,
На чужой кусок держат разинутым рот,
Много тех, кто себя называет элитой, —
Это жадный до власти и роскоши сброд.

* * *

С детства в нас поселяется страсть
К трюкам клоунов и лицедеев,
Потому мы, наверно, во власть
Выбираем одних прохиндеев.

ТЕХ, КОГО ВЛЕКУТ ДРУГ К ДРУГУ СТРАСТИ, НЕ ОСТАНОВИТЬ НА ПОЛПУТИ

* * *

Мы, как только жизнь нас допечёт,
Извлекаем из неё уроки.
К женщине ничто так не влечёт,
Как её капризы и пороки.

* * *

В мечтах все женщины готовы
Изведать эту благодать:
Попасть в объятия Казановы
И долго их не покидать.

* * *

Загульным мужикам пора взять в толк,
Чтоб не искать забвение в вине:
Когда супруг не отдаёт свой долг,
Жена берёт кредит на стороне.

* * *

Пусть женою будет королева
Или шамаханская царица,
Выбрать случай, чтоб сходить налево,
Всё равно мужчина умудрится.

* * *

Не верю предсказаньям и прогнозам,
Но знаю, что связь наша — не забава,
Ведь нахожусь я под твоим гипнозом,
Как кролик в поле зрения удава.

* * *

Когда на ноги женщин в час томлений
Мужчины сладострастным смотрят оком,
В них вызывает зрелище коленей
Мечту о чём-то более высоком.

* * *

В творении природа не слепа,
Мир создаёт с умом и добротой:
К примеру, если женщина глупа,
Она её утешит красотой.

* * *

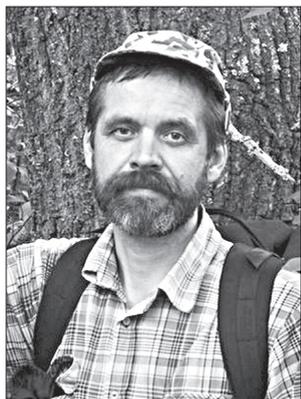
Умело она выбирает моменты,
Когда есть нужда настоять на своём:
У женщины в пользу свою аргументы
Гораздо весомее ночью, чем днём.

* * *

Вряд ли меня убедят доброхоты,
Что смог мужчина постичь
То, что в процессе любовной охоты
Он превращается в дичь.

* * *

Страсть подобна тяжкому недугу,
И от осложнений не уйти:
Тех, кого она влечёт друг к другу,
Не остановить на полпути.



Олег Николаевич Ермаков — прозаик, публицист. Родился 20 февраля 1961 г. в городе Смоленске. Член Союза писателей РСФСР с 1989 г., а с 1992 г. — Союза российских писателей. С 2011 г. входит в состав Первого жюри Международной премии имени О. Генри «Дары волхвов» (Нью-Йорк). Удостоен премий: журналов «Знамя» (1995 г.), «Нева» (2010 г.), «Новый мир», имени Ю. Казакова (рассказ «Лёгкий поток») (2009 г.), «Ясной поляны» в номинации «Выбор читателей» (роман «Песнь Тунгуса»). Произведения: «Афганские рассказы», роман «Знак зверя», повесть «Фрески города Гороухши», роман «Свирель вселенной», повесть «Вариации», повесть «Возвращение в Кандагар», роман «Холст», роман «Иван-чай-сутра», роман «С той стороны дерева», рассказы «Арифметика войны», «Вокруг света. Походная книга», «Покинутые, или Безумцы» и др. Произведения переведены на английский, венгерский, нидерландский, датский, итальянский, китайский, немецкий, финский, французский языки.

БЕРЕГ МЁРТВЫХ – БЕРЕГ ЖИВЫХ

В Смоленске, как в далёкой стране Кемет, сиречь Египет, есть своя Долина мёртвых, это — правый берег Днепра вниз по течению от города. Правда, в египетской Долине гробницы все сановников да царей, почему и называют её ещё Долиной царей, а на правом берегу Днепра находили свой причал воины, хотя и многие — офицерского звания и несколько генералов, но много и обычных людей. Необычно было то, что смерть их долго оставалась тайной.

Начинается этот берег мёртвых на городской окраине и тянется примерно на десять километров на запад параллельно Витебскому шоссе. Места эти занимают два леса — Красный бор и Катынский. Песок и сосны, невысокие холмы, Днепр и чистые озёра придают местности своеобразие. Сюда издавна тянулись горожане подышать сосновым воздухом, отдохнуть, позагорать и выкупаться. Здесь возводились дома отдыха и пионерские лагеря. В детстве и автору этих строк довелось проводить там в пионерском лагере по летнему месяцу, рвать на озере белые кувшинки и оставлять букет на тумбочке спящей девчонки, лазить в «бункер Гитлера», а потом сочинять страшные истории на ночь об этом и слушать чужие рассказы... Детство на берегу мёртвых оставило яркие впечатления. И довольно долго этот берег воспринимался именно местом детских и подростковых приключений... Какой ещё берег мёртвых?

Но в поздних экскурсиях туда вызревало именно это название.

И однажды оно явилось со всей беспощадной ясностью.

* * *

Древнейший «причал» берега мёртвых находится примерно посередине. Это — Гнёздовские курганы. Когда-то курганов было около 4000. Сейчас — около 1500. Как пишут, это крупнейший могильник Восточной и Северной Европы. Курганы относятся ко времени образования древнерусского государства.

Высказывалось предположение, что именно здесь был возведён первоначальный Смоленск. Летопись сообщает о Смоленске в 863 году, а в самом Смоленске культурного слоя этого времени археологами не обнаружено. Но и самым древним курганом в Гнёздове считался курган под номером 15 из раскопок Кусцинского с вонзённым по обычаю варягов мечом в землю, копьём с дамаскированным лезвием, урнами с железной гривной и молоточками Тора. Этот курган был отнесён исследователем к девятому веку. Но известный археолог Д. А. Авдусин доказал, что твёрдых данных для такой датировки попросту нет. Он считает, что «гнёздовское курганное кладбище функционировало не более ста лет: с начала 10 по начало 11 в.»¹

Так какой «град велик и мног людьми» видели приплывшие варяги Аскольд и Дир под именем Смоленска? Если город показался им великим и неприступным, так что «брать его на щит» они не отважились, то, наверное, стоял тут не первый год, и культурный слой должен был образоваться?



Курганы в Гнёздове

¹ Смоленск и Гнёздово, 1991. Издательство Московского университета.



Ястреб в Гнёздовском лесу

В последнее время археологи сообщают, что на Соборном холме открыли культурный слой, относящийся к 9 – 10 вв. Но, похоже, находка эта скромна. Древний Смоленск как призрак.

Авдусин называет Гнёздово проходным двором. Через это поселение шёл транзит из Балтики в Чёрное море – из варяг в греки. Кто его контролировал? Кривичи или варяги? Варяжских курганов здесь, по оценке Авдусина, более ста. В них урны с различными предметами: ножами, фибулами; мечи, лезвия копий, амулеты, заклёпки от сгоревшей ладьи. Обнаружены женские скандинавские и детские захоронения. Любопытно, что высота кургана определялась прижизненным статусом усопшего. Курган в полтора метра высотой можно, по-видимому, считать могилой простого человека. Впрочем, тут можно гадать. «Однако ясно, – пишет Ю. Э. Жарнов, – что мужчины и женщины, над останками которых были насыпаны курганы выше 2,5 м, занимали наиболее заметное место в обществе». И далее исследователь замечает, что «нескандинавских погребений в курганах, высота которых была бы больше 2,5 м, в Гнёздове, по данным нашей выборки, нет»¹.

Наверное, это обстоятельство и позволило А. А. Спицыну, комментатору и издателю монографии В. И. Сизова, первого исследователя гнёздовских

¹ Смоленск и Гнёздово, 1991. Издательство Московского университета.



Курганы и корни

курганов, заключить, что Гнёздово «обилует русским населением, но господами в нём являются многочисленные норманны»¹.

С обнаружением в позапрошлом веке — случайным, при дорожных работах — гнёздовского могильника тут же наострили уши норманисты и анти-норманисты. Баталии вспыхнули с новой силой.

Факт: гости из Скандинавии варяжили на просторах Древней Руси. Даёт ли это основание утверждать, что они и были создателями государства?

В 2012 году журнал «Нева» проводил опрос на тему 1500-летия российской государственности, анкета была прислана и мне. Третьим пунктом был как раз норманнский вопрос. Привожу свой ответ:

«В этом пункте скрытый вопрос: какую из теорий принимаете? Можно спорить о характере призвания Рюрика и вообще подвергать его сомнению, но не выбросить слов из песни, а имен из истории. А с именами скандинавскими крепко переплетены нити русской истории. Имя объединителя северных и южных земель в государство Киевская Русь — скандинавское. Договор 911 года, например, с Царьградом отправились заключать Карлы и Фарлофы, в списке делегации много имён, и только, может быть, два — славянские. Спокойное суждение Сергея Соловьёва о том, что не стоит из разъединения и несогласия славянских племён выводить родовую черту славянской народности, что это всего лишь этап развития, который одни народы проходят по тем или иным причинам раньше, а другие позже (германцы, например, раньше благодаря тому, что восприняли идеи государственности,

¹ Смоленск и Гнёздово, 1991. Издательство Московского университета.

оказавшись на римской территории), и что Рюрик был призван в качестве третейского судьи между враждовавшими родами, суждение это кажется здравым и основательным. И, наоборот, утверждение советского учебника истории о том, что княжение Олега «незначительный и недолговременный эпизод, излишне раздутый некоторыми проваряжскими летописцами и позднейшими...» и т. д., вызывает удивление явной несуразностью и нелогичностью: тридцать лет княжения в обстановке, которую никак не назвать умиротворённой, — много это или мало?



Корчага

Но всё-таки вряд ли можно

считать «призвание варягов» судьбоносным и определяющим. Днепровские пороги не могли превратиться в фиорды по мановению даже сильной руки».

То есть — ментальность народа, различные особенности, географические координаты, природные условия и многое другое не под силу перекроить любым варягам с харизматичными предводителями. Пётр Первый пытался это делать. Но, как говорится, воз и ныне там.

...Побродить среди молчащих курганов довольно просто: маршрутное такси довозит до гнёздовских сосен за двадцать минут. Раз — и ты переправился на тот берег. Правда, курганы в соснах не молчат. И не только поют птичьими голосами. В сосновом лесу есть курган под номером Л-13. Сейчас на нём установлен памятный знак. В 1949 году археологами под руководством Д. А. Авдусина в этом кургане были найдены поистине драгоценные осколки амфоры. Когда осколки сложили в амфору, то смогли прочесть процарапанную надпись: ГОРОУШНА.

Это было древнейшее письменное слово на русском языке. И оно зазвучало на разные лады: гороухща, Гороух пса (л), и первое означает нефть, ну а второе — какого-то Гороуха.

Сам Авдусин читал надпись как «гороушна», то есть горчичное семя. Человеку, знакомому с Библией, с Новым Заветом, не может не прийти на память притча как раз о горчичном зерне: «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его»¹. Любитель нумерологии сразу отметит

¹ Мф. 13:31-32



Курган Л-13

и совпадение номера кургана с номером этой главы. Правда, в десятом веке, к которому относится это погребение купца, под сенью гнёздовских сосен звучали иные притчи, звучали имена языческих богов. Но сами буквы вышли ведь из рук создателей азбуки – христианских монахов Кирилла и Мефодия. И уже близилось время, когда по Днепру, текущему мимо гнёздовских сосен, взойдёт от Киева новая вера, с её знаменитым изречением о слове: «В начале было Слово...» Первый перевод этой строки на славянский язык как раз дали Кирилл и Мефодий.

Так что первое письменное русское слово принадлежит Смоленску. Можно сказать, что его подхватили давние жители этого города, и первый писатель Смоленска Ефрем создал «Житие преподобного Авраамия», а там явились и другие писатели, возможно и писцы, накропавшие «Радзивилловскую летопись», затем историки Иосиф Шупинский и Никифор Мурзакевич, хороший писатель Фёдор фон Эттингер с его романом «Башня Веселуха», наконец, великолепный фантаст Александр Беляев, прозаик Борис Васильев, песенник и поэт Михаил Исаковский и великий Твардовский. От «Гороушны» – до «Страны Муравии» и «Тёркина».

Продолжается эта жизнь зерна, обретённого в Гнёздове, и сейчас. Вот смоленский поэт Владимир Макаренко совсем недавно написал песню, в припеве есть такие строки:

«Время – река, «гороушна» –
Голос с того бережка».

И ведь в самом деле, это слово, как шёпот, и его можно услышать в шелесте сосновых и дубовых крон.

* * *

А начинается стихотворение такими строками:

«Беспамятства капканы
Расставили века».

Пытливые люди противоречат этому – беспамятству. В Гнёздове работают археологи, бескорыстно им помогают энтузиасты.

Направо от курганов, в четырёх – пяти километрах, находится Немецкое кладбище, мемориал как раз памятности. На каменных плитах выбиты имена более четырех тысяч фашистских солдат и офицеров, погибших при боях за Смоленск и в других сражениях. Центральная аллея к каменному кресту на каменном постаменте выложена плиткой. Среди елей и сосен по три каменных креста: большой и два поменьше. Подразумевают ли эти символы звания или что-то другое? Невольно возникает ассоциация с детьми. Но здесь, в этих местах, гибли советские, а совсем не немецкие дети. Может быть, имеются в виду дети в далёкой Германии? Дети, не дождавшиеся своих отцов, да и не выжившие под союзническими бомбёжками.



Внучка археолога Авдусина – Светлана и её помощники



Кресты Немецкого кладбища



Немецкое кладбище



Монумент на Немецком кладбище

Не знаю, каково было немецким детям в войну, а вот о том, как жили в оккупацию смоленские дети, мои родители рассказывали. Коротко говоря, мама до сих пор сводит брови, услышав что-нибудь о немцах, а отец в своё время завалил экзамен по немецкому, хотя способности к языку у него были хорошие; другого иностранного языка в то время у них в школе не преподавали, а этот он не мог терпеть, не забывая немецких солдат, «гостивших» в его с матерью хате, — а отец, мой дед Пётр, в это время сражался с ними на фронте. В Каспле немцы расстреляли подружку моей матери, девятилетнюю девочку.

Власти, уступившие на стойчивости немцев и отдавшие им эту территорию под мемориал, поступили, наверное, мудро... Смогли, так сказать, абстрагироваться и взглянуть на это место «бережка» так же, как и на гнёздовский участок. Не всем это под силу...

Но что толку воевать с мертвецами? Они заплатили сполна своими жизнями. Хотя стоит ли жизнь какого-нибудь ефрейтора Ханса жизни девочки-касплянки? Жизнь этой девочки много дороже.

И немцы понимают, что они в неоплатном долгу перед всем миром. Призрак фашизма в Германии подсуден.

Немецкое кладбище оставляет впечатление строгости, крепости и сумрачности. Оно стоит в Красном бору, будто некий тевтонский замок, населённый мертвецами в ржавых крестах, продырявленных касках, с оторванными кистями или разбитой грудной клеткой, безносыми рыцарями с отверстыми в вечном крике ртами. И этот крик не во славу фюрера. Хотя и среди них были идейные и бесноватые фашисты, фашисты, так сказать, до безмозглости костей. Фашизм заразителен. Говорят, сюда и приезжают подышать вовсе не реальным сосновым воздухом, а метафорическими миазмами современные почитатели фюрера и всех его идей, почитатели-потомки как раз тех, кого фашистская доктрина числила полулюдьми, рабами и так далее. И это поистине фантастический Kunststück¹ истории. Kunststück Адольфа Гитлера.

Но при внимательном рассмотрении кунштюк не столь уж и фантастический. Фашистскую идею, упрощая, можно выразить следующим постулатом: государство — всё, человек — ничто.

Теоретики всё время подчёркивают, что смешивать фашизм и коммунизм смешно и недопустимо. Но вот идеолог итальянского фашизма Юлиус Эвола в «Ориентациях» пишет, что в доктрине фашизма Идея и Государство превыше всего. «Объединяет не земля или язык, но общая идея». Национальную идею он считает сентиментальной и примитивной. Религия Эволы — этатизм. Государство он считает явлением сверхмира.

Эвола отрешивается от большевиков: «Большевицкие главари безжалостно следовали своим идеям. Им были безразличны те следствия, те невиданные бедствия, к которым ведёт практическое применение абстрактных принципов. Человека для них не существовало».

Читая Эволу, можно войти в ступор. Это пишет фашист, вдохновитель Муссолини (по крайней мере, один его труд дуче хвалил), философ, сочувствовавший Гитлеру и находивший в опыте национал-социализма много положительного. Большевицкие главари истребляли ради идеи толпы, а фашисты — нет? На замёрзшем дне Коцита есть две зоны, два концлагеря: сталинский и фашистский. *Практическое применение абстрактных принципов* что фашизма, что коммунизма одинаково бесчеловечно, и какая разница, против кого в первую очередь эти принципы применялись: против ли евреев и цыган или против отпрысков княжеских фамилий, священников, свободомыслящих философов. Результат один: кости, замороженные в лёд, черепа с глазницами, забитыми инеем идей.

Явление сверхмира? Может быть, но скорее это мир преисподней.

А вообще, другой философ — Ренан — говорил о плане природы, в котором во внимание принимается вид, а индивид приносится в жертву. Но люди

¹ Кунштюк (нем.) — ловкий приём, фокус, уловка.



«Бункер Гитлера»

уже научились противостоять этому плану. И что же это за явление сверхмира — государство, — следующее на самом деле законам природы? Явление, пожирающее своих подданных зачастую беспричинно, в слепой ярости?

Муссолини в своей «Доктрине фашизма» определяет фашизм, как «организованную, централизованную и авторитарную демократию».

Что-то это напоминает, что-то до боли знакомое?..

В общем, если поставить знак равенства между фашизмом и этатизмом, тогда можно как-то понять русских фашистов.

Но... за всем этим дьявольская ухмылка Гитлера, отводившего славянам роль слуг, ухмылка *проигравшего*...

Чуть в стороне от Немецкого кладбища мрачно каменеет огромный куб — так называемый «бункер Гитлера».

«Беренхалле» — «Медвежью берлогу», подземный комплекс — стали возводить немцы в 1941 году. Предполагалось здесь разместить ставку Гитлера, штаб группы армий «Центр». Сюда приезжали фашистские военачальники и якобы Адольф Гитлер.

Слухов об этих сооружениях ходило много, воображение будоражили предположения о спрятанных документах, наворованных сокровищах, среди которых могла оказаться и смоленская святыня — древняя Одигитрия, пропавшая как раз во время войны из Успенского собора. Энтузиасты аквалангисты погружались в воду затопленных коммуникаций «Медвежьей берлоги» и потом рассказывали дух захватывающие истории о глубоких шахтах, о конференц-зале на 250 мест, о подземельях, ведущих к Днепру, к тайному аэродрому и т. п. и т. д. Целый город мёртвых!

Наконец губернатор Маслов в 2003 году распорядился провести изыскательскую экспедицию в Красном бору. Изыскания длились почти полгода. Поисковики обнаружили затопленные коммуникации, заваренные люки, водопровод. Тем временем из немецкого архива пришёл ответ на смоленский запрос о «Беренхалле», из которого следовало, что ставку Гитлера здесь передумали открывать и сооружения были переданы «Центру». И на этом всё завершилось.

Но «Беренхалле» продолжает волновать воображение краеведов, поисковиков, журналистов. Они утверждают, что в 1996 году сюда приезжал адъютант Гитлера, — спрашивается, зачем? Резонный ответ: затем, чтобы почтить память павших на расположенном рядом Немецком кладбище, их не устраивает. Как и вообще размещение этого кладбища именно здесь: мол, на немецкой карте фашистских захоронений в Смоленске Красный бор не был указан. Почему они выбрали это место для скорбного комплекса?

Ну потому, что место удобное, красивое.

Э-э, нет, отвечает изыскатель, тут что-то не так...

* * *

Дальше на запад — за уходящим солнцем — Катынский лес.

Когда я рассказал другу о нашей поездке в Катынский лес, он тут же вспомнил одно знакомство с местным парнем, успевшим послужить в свои двадцать пять лет в органах госбезопасности, подравшимся на танцах в смоленской «Молодости» с дружинниками и милиционерами, — что и стало причиной увольнения. Так вот: он ещё в начале восьмидесятых без тени сомнения говорил другу Евгению, что поляков в этом лесу постреляли энкаведешники, для местных это давно не секрет, и каждый год поляки приезжают сюда на поминовение: кладут на могилу меч и читают молитвы. Что за меч, уже не уточнишь. Но важно не это в сообщении моего друга, а то, что «капкан забвения», который с таким усердием устанавливали и настораживали — да не кто-нибудь, а целое мощное государство СССР, — капкан этот не действовал. Местные — знали правду. Можно, конечно, объяснить осведомлённость того парня родом его недолгой службы, но нет сомнения, что этим знанием он делился с другими. Да тут важно то, что он родился именно на этом берегу, который мы условились называть берегом мёртвых. Местные, повторим, правду знали и без открытых в 1992 и в 2010 годах совершенно секретных документов по Катынскому расстрелу.

А сколько сил государство большевиков потратило на сокрытие этого деяния!

Впервые во всеуслышание о Катынском расстреле заявили фашисты. Это случилось в 1943 году, немцы обнаружили и раскопали массовые захо-



Иконка в Катынском лесу

ронения польских офицеров, о судьбе которых давно беспокоились их соотечественники. Это были люди, пленённые войсками СССР, вошедшими в Польшу в 1939 году. Челюсти обеих госмашин — фашистской и большевистской — сомкнулись на Польше. Начиная с восемнадцатого века Россия делила Польшу с «тевтонцами». И это произошло в очередной раз. 250 тысяч польских военнослужащих оказались в советском плену. Среди офицерского состава были призванные в армию учителя, инженеры, врачи, студенты, профессора. Маялись они по сталинским лагерям: в Козельске, в Осташкове, в Старобельске и в других местах бескрайней России. По воспоминаниям очевидцев, держались польские военнопленные независимо и гордо¹. И пленными себя, добавляет другой очевидец, как будто не считали². Среди них циркулировали устойчивые слухи о скором освобождении, о передаче англичанам и т. д. Узники могли отправлять и получать письма, открытки. С родины им писали: «Дорогой папа, наверно война скоро кончится. Мы очень скучаем по тебе и страшно тебя целуем. Ирка подстригла себе волосы, и мама очень сердилась. Мама хотела послать тебе тёплые перчатки, но... В апреле поедem к дяде Адаму, и я тогда напишу тебе, как там...»³

Ну а тем временем Лавренти Павлез дзе Берия, как звучит по-грузински имя российского революционера, государственного и политического деятеля СССР, наркома внутренних дел, написал записку, начинавшуюся так:

¹ В. Абаринoв. Катынский лабиринт. М. новости, 1991, с. 38, 47.

² Там же.

³ Юзеф Мацкевич. Катынь. Издательство «Заря», Лондон, Канада, 1988, перевод с польского С. Крыжицкого.



Польское кладбище

«В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции и разведывательных органов, членов польских националистических к[онтр]р[еволюционных] партий, участников вскрытых к[онтр]р[еволюционных] повстанческих организаций, перебежчиков и др. Все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю.

Военнопленные офицеры и полицейские, находясь в лагерях, пытаются продолжать к[онтр]р[еволюционную] работу, ведут антисоветскую агитацию. Каждый из них только и ждёт освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти».

Что же следует с ними делать? Революционная логика проста: «Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым:

1. Предложить НКВД СССР:

1) дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков,

2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек членов различных к[онтр]р[еволюционных] шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков —



«Столыпинский вагон», в котором перевозили заключённых

— рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела.

II. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения...»

На этой записке появляются державные подписи И. Сталина, К. Ворошилова, А. Микояна, В. Молотова: за. На полях буквами мелкими стоят фамилии Калинина и Кагановича: за, за.

Судьба этих тысяч человек была решена.

Из лагерей в Козельске, Старобельске, Осташкове тронулись «столыпинь», вагоны в решётках. Колёса стучали пленникам — надежду? Скорее всего так.

Один из чудом спасшихся пленных писал: «Выйдя из вагона, я почувствовал острые запахи весны с полей и перелесков, где местами лежал снег. Было чудное утро, высоко в небе заливался жаворонок. Чуть в стороне от нашей стоянки была станция, но я не увидел на ней ни души. Локомотив наш уже отцепили, и он уехал. С другой стороны состава доносились какие-то звуки, но что там происходит, я не видел. Полковник спросил меня, не хочу ли я попить чайку...»¹

Это было 30 апреля 1940 года, станция Гнёздово. Фамилия пленного — Свяневич. Тех, с кем он ехал из лагеря, увозили куда-то дальше, в сторону леса, профессор наблюдал за этим сквозь вентиляционную щель вагона.

¹ В. Абаринов. Катинский лабиринт. М. новости, 1991, с. 35.



Польский военный, расстрелянный в Катинском лесу

А самого Свяневича вскоре отправили в Смоленск, оттуда — на Лубянку.. Профессор заглянул в ледяные очи Коцита-Катыни через вентиляционную щель. Зачем его забрали? Внезапно стало известно, что Станислав Станиславович Свяневич профессор Виленского университета, крупный специалист по экономике, имеющий связи с германскими университетскими кругами. На Лубянке профессор писал труд о германской методике расходов на вооружение.¹

Другому автору записок о плене, майору Адаму Сольскому, как и остальным обречённым, не повезло: «С 12 часов стоим в Смоленске на запасном пути. 9 апреля подъём в тюремных вагонах и подготовка на выход. Нас куда-то перевозят в машинах. Что дальше? С рассвета день начинается как-то странно. Перевозка в боксах «ворона» (страшно). Нас привезли куда-то в лес, похоже на дачное место. Тщательный обыск. Интересовались моим обручальным кольцом, забрали рубли, ремень, перочинный ножик, часы, которые показывали 6.30...»

Больше майор уже ничего не напишет. Наркомом и остальными членами кремлёвской заоблачной твердыни он был обручён со смертью. В лесу ему обожгло затылок, и лес тут же лопнул кровью и чернотой. Раз за разом раздавались выстрелы, вскрики, хрипы и стоны. И даже вороны здесь не летали. Только урчали «воронки». Катинский лес захлёбывался польской кровью — и не захлебнулся, нет..

А как будто кровь выкрасила стволы этих сосен. Редкие посетители в этот первый сентябрьский день, как и мы, молча глядели на сосны, кресты,

¹ Там же, с. 37.



Катынский лес

плиты с фамилиями, датами, именами.

Кровь в соснах не только польская. Здесь НКВД расправлялся с нашими соотечественниками. Мемориал «Катынь» располагает списком 2988 советских граждан из архива УФСБ по Смоленской области, которые были расстреляны в Смоленске и – предположительно – захоронены в Катынском лесу. Вот некоторые имена из этого

списка: Анощенко Фёдор Георгиевич, 1902 г. р., русский, слесарь; Антипов Семён Данилович, 1868 г. р., русский, сторож; Арайс Артур Мартынович, 1907 г.р., латыш, актер; Ардаматский Андрей Степанович, 1879 г.р., русский, учитель; Балабкин Тихон Евдокимович, 1893 г.р., белорус, бухгалтер-экономист; Бирич Карп Захарович, 1889 г.р., белорус, машинист; Васильев Алексей Васильевич, 1899 г.р., русский, мастер заготовительного участка; Ветров Иван Григорьевич, 1888 г.р., русский, крестьянин-единоличник; Винников Лейба Абрамович, 1878 г.р., еврей, служащий; Виммер Отто Матвеевич, 1883 г.р., немец, судебный химик; Комашевская Анна Иосифовна, 1883 г.р., русская, домохозяйка; Войчук Антон Андреевич, 1897 г.р., поляк, конюх; Дельвер Эльза Петровна, 1911 г.р., латышка, учительница; Демидова Анастасия Михайловна, 1887 г.р., русская, домохозяйка; Доронин Егор Исаевич, 1904 г.р., русский, курсант; Егоркин Андрей Филиппович, 1884 г.р., русский, кузнец; Ермаков Пётр Никифорович, 1901 г.р., русский, председатель колхоза... Вздрогнул, увидев эту фамилию. Моего деда тоже звали Петром, но в 41 он был на фронте.

Слесарь, учитель, крестьянин-единоличник, машинист, актёр, домохозяйка, латыш, русский, еврей, белорус... Домохозяйка, конечно, представляла большую угрозу государству. И другая домохозяйка. И учительница. И конюх...

Те, кто молится на Сталина и всю эту кровавую камарилью, может, в будущем обречены читать эти списки? И сами вершители судеб, и рядовые палачи обречены вчитываться в списки, бродить по лабиринтам, как этот, Катынский, с ржавыми железными плитами и вслух повторять имена – сотни, тысячи, миллионы имен? Ни на секунду не прерываясь?

Правда, приведённые имена – лишь на бумаге и на сайте мемориала «Катынь». А польские, как и немецкие на Немецком кладбище, – на плитах.

Что ж, надо и об этом поговорить.

Мемориальный комплекс производит странное впечатление. Польский участок захоронений здесь отделён оградой от захоронений советских. Зачем? Неужели и на том свете будут подобные разделения между жертвами? Впрочем, да, всё это ещё по сю сторону.. Но устроители мемориала могли бы взять более



Могилы в «Долине мёртвых»

высокий ракурс, более высокую точку зрения. Не смогли или не захотели. Или захотели откреститься от нашего беспамятства? Узрели тот самый капкан беспамятства? А ведь и впрямь, вот вам наглядное представление: польский участок и наш, там имена и даты, здесь — кресты и насыпи или даже вовсе разрытые и затянутые травой и мхом могилы. Вне ограды мемориального комплекса есть так называемая Долина смерти, там эти разрытые могилы и могилы с деревянными крестами. Представление о чём? О памяти и беспамятности? О разнице национальных характеров? В конце концов, о Западе и Востоке?

Правда, в Долине смерти высится большой камень с надписью о том, что здесь расстреляны советские граждане. Но — снова безымянный.

Такие же безымянные кладбища есть и в самой Польше. Кто начинает разузнавать подробности о Катынском расстреле, неизбежно «оказывается» там, где в 1919 — 1921 годах были лагеря для пленных красноармейцев, в Тухоли, в Стшалкове. В эти годы шла советско-польская война. Военнопленных, по разным оценкам, было от 60 000 до 130 000. Не только в этих, но и в других лагерях, выстроенных в Первую мировую войну. Пленные содержались в жутких условиях: голодные, оборванные, больные, на досках и земле, под навесами, в землянках, в бараках, завшивленные, а раненные — в червях. Польские историки дружно нажимают на всеобщие трудности после Первой мировой войны, нехватку средств, на эпидемии холеры, тифа, испанки — разновидности гриппа. Нам, из другого века, приходит мысль о простом решении всех этих трудностей: отпустить пленных, а не мучить их голодом и холодом. Но отпустить их не могли. Пленные — это «товар обмена» на таких же пленных или какие-то уступки. Такова природа любого государства: система насилия и всеобщего договора зиждется на крови. Иного, к сожалению, не дано. Возможно, пока.



Польский крест

От голода, болезней, расстрелов, жестокостей лагерного начальства в Польше погибло более двадцати тысяч военнопленных, наших соотечественников. И это факт, который признают и польские историки, правда, уменьшая число погибших на две-три тысячи. «Торг» между государствами продолжается...

На месте бывших лагерей Тухоли и Стшалкова

есть кладбища, в Тухоли, как пишут, в жалком состоянии, посреди свалки строительного мусора и сточных канав, в Стшалкове в более приемлемом виде, с каменным крестом на постаменте, поставленным ещё немецким комендантом лагеря в 1914 году, но тоже заросшее, неухоженное и без имён. Почему?

...Не даёт ответа...

И Катинский лес молчит по-русски и всё-таки говорит по-польски.

По-русски споры о нём кипят в других местах, на форумах, в газетах. Сталинисты доказывают, что записка Берии о расстреле — фальшивка, что вообще Сталина подставляли Ежов, Берия и т. д. Любопытно, что все эти сообщения попались на каком-то сайте с ясно прописанной триадой вместо слогана: Православие, Самодержавность, Народность. По логике этих «товарищей-господ», Сталин и есть православный самодержец?.. Ну да, он же в семинарии учился в молодые лета... Православный вот такой атеист. Хотя ведь и Грозный был православным, но жил-то вовсе не по-христиански. Видимо, тут срабатывает логика по аналогии у православных народников: что Грозный, что Сталин.

И что такое для них жизнь и судьба какого-нибудь польского студента, застреленного в Катинском лесу, или кузнеца Егоркина Андрея Филипповича?

Их жизни стали деревьями. Это и есть — Катинский лес.

...И ходить по его мшистым тропинкам тяжело. Да тут ещё и беспокойные охранники в чёрных комбинезонах вопросительно выглядывают, идут по стопам. Один из них к нам подошёл и поинтересовался, что мы тут делаем. Мол, они давно за нами наблюдают, здесь же камеры всюду. Странный вопрос. Это же мемориал, вход свободный, хотя мы и вошли со стороны леса, а не дороги. Ну да, отвечал охранник, но вы вот снимаете, а потом да-



Крест в «Долине мёртвых»

дите такую какую-нибудь передачу обо всём тут... Мы заверили его, что у нас не камера, а фотоаппарат, просто он на треноге, и всё. И фотографируем для себя. Охранник немного успокоился и ушёл. Но позже появился другой, шёл за нами по пятам даже вне оград мемориала, выглядывал из кустов.

Да что же такое ещё можно здесь увидеть?! О чём можно подумать и рассказать, если — вот рассказы на плитах и соснах, вот польское кладбище с именами и колоколом, а вот наше, с голыми крестами. Вот Долина смерти с провалами — в земле и памяти. Почитатели «православного атеиста» хотели бы и вовсе всё обрушить в один провал и на его месте возвести новый СССР, полный соглядатаев за каждым углом и стволом, с капканами беспамятства. Но это — непрочное основание. И вчерашний день. Не повернуть реку времени вспять.

На берегу мёртвых сошлись Восток и Запад. К центральной части этого берега — к Гнёздовским курганам — мы уже относимся философски. Днепр, как река времени, здесь достаточно охладился. А в Катинском лесу — нет. Быть в нём тяжело физически.

...И когда мы оставили позади этот лес и зашагали по трассе в сторону Гнёздова, потому что упустили автобус, почувствовали какое-то освобождение. По незначительному поводу рассмеялись — и уже не могли остановиться, смеялись на грани нервного срыва.

Да это нервный срыв и был, мгновенный, как вспышка.

И возвращаться туда уже не хочется. Но побывать там каждому — необходимо. Это что-то вроде болезненной прививки.

* * *



Галина Павловна Быстрова

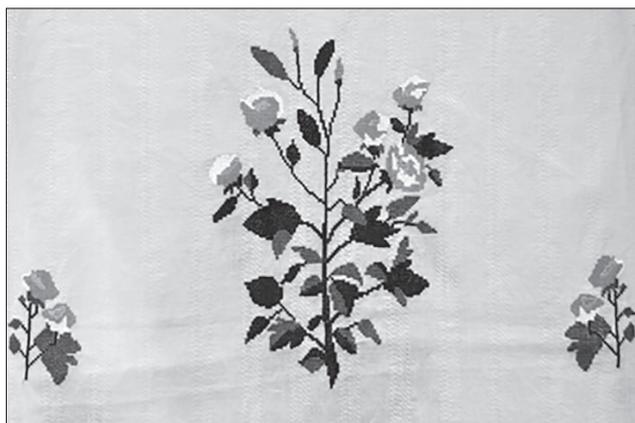
в тамошнем кружке, попробовала — и пристрастилась. Да, именно так, в ней вдруг вспыхнула настоящая страсть к краскам и орнаментам, древним фигурам и знакам. И погрузилась она в этот запредельно условный мир с головой.

Ведь её вышивки как картины, никто не носит этих вещей, никто не утирается расшитыми полотенцами.

И мало кто уже понимает язык символов древних славян. А в ней словно источник пробился, только выплёвывает он не воду, а нить, как один персонаж уже далёкой и чужой мифологии — выплёвывавший шёлковые нити.

И всё-таки берег мёртвых — метафора. Ведь там жили и живут люди. В Гнёздове проходят реконструкции ремёсел и средневековых боёв, интересные фестивали. На одном таком мы познакомились с удивительной женщиной, мастерицей-вышивальщицей Галиной Павловной Быстровой.

Работала она вахтёром в Доме культуры в Гнёздове, увидела, как женщины и девочки сидят, вышивают



Вышивка Г.П. Быстровой



Гнёздовский археологический комплекс

А в стихотворении уже упоминавшегося поэта Макаренкова эта нить ни-спадает с чудесного веретена, прибитого вместо флюгера на крыше дома, что стоит «Между Азией и Европой, / Между идолом и крестом». Это стихотворение так и называется – «Нить». По странному совпадению, прочитал я его впервые, заканчивая этот очерк, буквально в самую последнюю минуту, Макаренков только что прислал этот стих. Там есть такие строфы:

Приходили купцы с товаром.
Били оземь послы челом.
– Я отдал бы вам нить задаром!
Да рассыплется отчий дом.

Что с того, что давно клубится
На растущем веретене!
Эта нить из земли струится
И лучится в каждом бревне.

А наша Галина Павловна и тянет эту древнюю нить самозабвенно и совершенно бескорыстно, вплетает её в рушники и полотна, расцветающие яркими узорами и фигурками...

Смотришь в её синие днепровские дремотные глаза и думаешь – сейчас запоёт колыбельную... А какую же ещё? В её пальцах словно рождается заново древнее время. И, сплетаясь с нашим временем, вспыхивает узором жизни.

Берег мёртвых – берег живых. И в этих берегах течёт Россия – к неведомому морю.



Сергей Петрович Жбанков – поэт, прозаик, сатирик, юморист. Родился в 1955 году. Публиковался в большом количестве российских центральных газет и журналов, коллективных сборниках, альманахах, изданиях Болгарии, Израиля, Канады. Автор трёх книг сатиры и юмора. Детский писатель. Автор более 30 сценариев телевизионного сатирического журнала «Фитиль». Лауреат премии «Золотой телёнок» клуба «Двенадцать стульев» «ЛГ», и многих других...

ШУБА

Дорогая, зачем мы зашли в этот магазин?! Здесь же витает преступный запах опустошения фауны! Я буквально слышу оружейную пальбу, писк выхухоли, лай енотовидной собаки, скрежет зубами бобра... Что ты забыла на этом кладбище хорьков, куниц и баранов?!

Я понимаю, что те, кто хотят впарить нам эти останки животных, называют их шубами! Но мы-то с тобой знаем, Варя, что под словом «шуба» скрываются безжалостные глаза охотника-браконьера, непрофессионализм скорняка, изворотливость портного и алчность продавца!..

Что значит «просто посмотреть»?! Сначала ты просто посмотришь, потом ради интереса просто примеришь, а потом уже серьёзно начнёшь трепать мне все нервы! Я и так из шкуры вон лезу, чтобы в нашем доме была хотя бы видимость достатка! И налоговая с меня три шкуры дерёт, а тут ты со своим странным гуманным отношением к шубам!

У тебя же есть отличная цигейковая шуба – ей же износу нет!.. Да, протёрлась, чуть поистрепалась. Но зато через эти дыры и потёртости видно настоящее дореволюционное качество! На ней даже товарный знак «Меховая мануфактура братьев Козюлиных, 1902 год» сохранился!.. Её ещё наша дочь с успехом носить будет!..

И не смотри на мех – мех, как и машину, подделать легко! Видишь, блестит! Это они специальным лачком побрызгали. Чтобы краска раньше времени не сошла... Фёдора жена тоже в такой вот шубе под мокрый снег попала... Что? Ты не знаешь, что случилось с шубой?! Ворс отвалился, воротник отпал, швы разошлись, бока расползлись, а рукава съёжились до подмышек...

Запомни, Варя: главное в шубе – подкладка! Вот, смотри: сверху норка, а подкладка – типа бумаги какой-то. Два-три раза надел – нет подкладки. Значит, что? Конец шубе!.. Потому что норка – это синоним дырки...

Кто нищенка?! Ты — нищенка?! Ну, знаешь ли... Неделю назад в магазине «Рабочая одежда» ты нашла мне выходной костюм. Я вчера случайно заметил, что в таких выходных костюмах откачивают воду из канализационных люков. Но разве я назвал себя оборванцем?! Я только подумал об этом... Разве я не понимаю, что на мне ты сэкономила тысячи три, чтобы купить себе туфельки. Кстати, я видел в этом магазине замечательный ватник. Нежно-голубого цвета, хорошо простёганный, с отличной плотной подкладкой. А внутри много-много ваты! Практично и тепло!..

Да не намекаю я, Варя, не намекаю! Что шуба, Варя?! Хороводы вокруг тебя грабителей, давка в трамвае с постоянными тревожными мыслями «Порвут не порвут», безжалостные атаки разъярённой моли... А твоя старая цигейковая шуба! Грабители от неё шарахаются, в трамвае ты лезешь направо, а моль от твоей шубы просто тошнит! Так зачем же по новой проходить все эти круги ада, Варя?!.

Видишь ценник: тридцать тысяч! Этадох... Прости Господи, дох — и тридцать тысяч?! Подол у тебя на уровне трусиков кончается, всего одна пуговица, шерстинки по пальцам сосчитать можно. Их, наверно, с затылка пересаживали — уж больно редкие какие-то... А тридцать тысяч — это безоговорочно ватник, валенки, оренбургский пуховый платок, авоська с хорошими ручками и жратва на всю зиму! А?!.

Вот так и надо, Варя! Не дай себя обмануть, а дай себе просохнуть!.. Вытри скорее слёзы и бежим в магазин «Рабочая одежда». А то ватник твой модный какие-нибудь стилиги, типа нас, раньше прикупят!

АППЕНДИЦИТ

Сегодня, мои уважаемые студенты-медики, у нас, я бы сказал, знаковый день! Перед вами гостеприимно распахнёт свои двери святая святых хирургического отделения — операционная!.. Поднимите, пожалуйста, с пола двух ваших особо чувствительных товарищей, дайте им понюхать нашатыря и приведите в чувство...

Итак... Мы не просто заходим сейчас в операционную, друзья мои!.. Кучнее, кучнее!.. Мы попробуем с вами активно поучаствовать в ходе самой операции!.. Поднимите, пожалуйста, с пола пятерых ваших товарищей и больного, дайте им понюхать нашатыря и приведите в чувство...

Буквально через несколько минут, дорогие мои студенты, мы сообщаем проведём удаление аппендикулярного отростка! Надеюсь, нет нужды напоминать вам, студентам-медикам, что такое аппендикулярный отросток. Впрочем, повторенье — мать... Чего — мать?.. Поднимите, пожалуйста, с пола нянечку и санитару, дайте им нашатыря и приведите в чувство...

А мы всё же уточним, что такое аппендикулярный отросток. Пусть за меня сделает это... Вот хотя бы вы, молодой человек! Напомните нам, что такое аппендикулярный отросток?.. Юноши, поднимите, пожалуйста, с пола девушек и операционную сестру, дайте им нашатыря и приведите в чувство...

Если, молодой человек, следовать вашей логике, то аппендикулярный отросток есть только у мужчины. Но ведь и у женщин, как это ни звучит парадоксально, бывает аппендицит. Что же тогда удаляют у женщин, если не аппендикулярный отросток? А, молодой человек?.. Стесняетесь говорить вслух? Тогда шепните это слово на ухо моему ассистенту Розе Венедиктовне. Она — доктор опытный и за свою врачебную практику и не такого наслушалась... Поднимите, пожалуйста, с пола Розу Венедиктовну, дайте ей нашатыря и приведите в чувство...

Однако все ко мне!.. Кучнее, кучнее!.. Перед вами, уважаемые коллеги, больной с воспалённым аппендиксом. Именно его нам и предстоит сегодня удалить... Уточняя специально для вас, молодой человек: не больного, а его аппендикс!.. И смею заметить: это совсем не то, что вы назвали ранее, обрекая тем самым пациента на невозможность иметь детей и познать радость секса...

Но вначале, друзья мои, нам предстоит сделать местное обезболивание. Кто из вас, начинающих хирургов, готов добровольно провести местное обезболивание?.. Как, совершенно нет желающих?! Почему?.. Потому что все вы не местные?!.. Поднимите, пожалуйста, с пола анестезиолога, дайте ему нашатыря и приведите в чувство...

Ну ладно, хорошо... Роза Венедиктовна, сделайте, пожалуйста, местное обезболивание... А сейчас мы проведём с вами разрез кожных тканей, подкожно-жировой клетчатки... Эй, больной, куда вы?!.. Держите больного! Все держите больного! Нашатыря ему не давать, в чувство не приводить, с пола, если упадёт, не поднимать...

Да куда вы все так ломанулись?! Необработанными ногами да по стерильности!.. Осторожнее!.. Ну вот... Опрокинули операционный стол, раздавили очки анестезиологу, увели мой скальпель... Роза Венедиктовна, голубушка! Поднимите меня, пожалуйста, с пола, дайте мне нашатыря и приведите в чувство...

ДВЕ ПОЛОВИНКИ

— Виктор, я обнаружила за ванной свёрток с деньгами! — трясая перед носом побелевшего лицом Питюка четырьмя помятыми купюрами по пятьдесят рублей, заявила разгневанная жена. — Как же так, Виктор?! Мы ведь — одна семья, две половинки...

— Да какие там половинки?! — вскочил из кресла Питюк и в прыжке совершил неудачную попытку выхватить деньги из кулака супруги. — Ты их мерила, эти половинки?

— Раз мы — семья, две половинки, — продолжила гнуть свою линию супруга, — значит, всё у нас должно быть общим! Без всяких тайн и сокрытий!

— Хорошо, — вспыхнул Питюк, — давай мерить! Вот трёхстворчатый шкаф. Открываем его! — Виктор распахнул створки и провёл рукой по плотно утыканной в нём одежде. — Это твоя половинка! А где моя?

— Так вот же, — воскликнула жена. — Майка, футболка, трусы...

— В них, к твоему сведению, я шёл под венец с тобой, — заметил Питюк. — И это всё в этом мебельном монстре!

Супруг затворил скрипящие створки шкафа и зашёл в ванную.

— Где здесь мои принадлежности, кроме зубной щётки и хозяйственного мыла? — грозно спросил он. — Среди этих ста сорока шампуней и кремов ничего моего нет! Ах, извини, забыл — бритвенный станок. Но он явно не тянет на половину всего этого предгорья Кавказа!.. — Питюк взял в руки небольшую баночку и язвительно прочитал: — «Молочко для век!»! Век бы этого не видать!..

С силой захлопнув дверь в ванную, Виктор решительно направился к холодильнику.

— Полка с диетическими продуктами! — прокричал он и пригрозил кулаком обезжиренному творогу и однопроцентному кефиру. — Полка с бадами, улучшающими процессы обмена! У меня эти процессы идут сами собой, а у тебя, видимо, постоянные сбои! Обрати внимание: в холодильнике лишь те овощи и фрукты, которые вызывают у меня аллергию, зуд и понос... Вот она, утка... Я купил её к Новому году... Шесть лет назад... Что ещё здесь относящегося к моей половинке? Хурма — твоя! Лимон — твой! Болонская колбаса... И название соответствующее — мордателла... Под свою внешность подбирала... А вот это моё: половинка буханки чёрного хлеба в холодильнике, чтобы не плесневел... И это вся моя половинка!..

Питюк утёр рот, громко глотнул и заявил: — Давай теперь пересчитаем отложенные деньги и прикинем, на какие две половинки они пойдут...

Решительно подойдя к комоду, он порывлся в стопку чистого постельного белья и вытащил файл с деньгами. — Так... А где сорок тысяч? — пересчитав деньги, грозно спросил он.

— Так... На лекарства... — без прежней уверенности ответила супруга. — Активированный уголь, аспирин... Сам вчера аспирина выпил...

— Активированный уголь у нас теперь стоит по десять тысяч за упаковку?! Совсем шахтёры перестали работать!.. Ладно... Вот эти деньги — твоя шуба...

— Да, — улынулась супруга, — моя шуба... Ты обещал норку...

— Вот это — твои новые зубы, — откинув в сторону стопку тысячных, скривился в усмешке Питюк. — Вот это — на вставные челюсти для твоей

мамы... Это — тебе ведь надо полечить в санатории нервы... Это — юбилей твоей подруги Зинаиды... А куда же пойдут эти шестьсот оставшихся рубликов? Неужели на мою мощную семейную половинку?!

Супруга Питюка растерянно почесала щёку, на всякий случай сделала два шага назад и, ещё раз пересчитав изъятые за ванной сбережения мужа, с неохотой вернула ему пару скомканных полтинников...

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Сегодня, друзья, мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь мою жену Клаву.

Тридцать лет назад она, простая деревенская девчонка, конопатая и курносая, в дырявых чулках и заштопанных валенках приехала на дровнях из деревни в город в поисках лучшей доли.

Провожая в последний путь мою жену Клаву, хочу сказать, что ты, Клава, обрела эту лучшую долю в моём лице. А позже стала претендовать и на долю в моей квартире, и на мой автомобиль.

Пылким юношей с искрой божьей — таким был я, когда на моём жизненном пути встретилась ты, Клава, симпатичная, но примитивная, по сути, женщина. Ни образования, ни денег, ни связей, кроме нескольких случайных половых — тёлочка, оторванная от материнской титьки, репейник среди благоухающих роз, дворняжка в стае чистокровных борзых, десять копеек в портмоне с долларами...

Провожая в последний путь свою жену Клаву, хочу сказать, потому что теперь это можно: да, Клава, я пустил тебя в свою душу и в свою жизнь. Тридцать лет вместе, из них двадцать — в скандалах и ругани — мы жили душа в душу, причем твоя душа, в конце концов, задушила мою. Но теперь это уже не имеет никакого значения!

Провожая в последний путь мою жену Клаву, подчеркну, что она родила мне трёх великолепных сыновей, два из которых негры, а один — представитель монголоидной расы. И все три, со слов Клавы, были похожи на меня, как две капли из носа...

И вот теперь, провожая в последний путь свою жену Клаву, я говорю: нам, Клава, вот сюда, в этот кабинет! Здесь нас сейчас разведут. И этот путь до кабинета — твой последний путь, Клава!.. В качестве моей жены!

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА

– Простите, мужчина! Секундочку!.. Вы случайно не Шляпин?

– Шляпин, и что из этого?

– Фёдор Шляпин!.. Да разуй глаза, Федька! Не узнаёшь?

– Простите, абсолютно не узнаю.

– Да это ж я, Володька Пиявкин! Мы же с тобой в одной группе струны дёргать начинали! Помнишь, ансамбль «Снежный пурген»? Ты – бас, я – соло. Наша общая песня «Ай лав Кокчетав»?.. Ну?

– Я – бас?.. Володька, ты, что ли?!

– Ну, наконец-таки! Здорово, бродяга!.. Ничего-ничего... Подтянут, небрежно выбрит, слегка помят... Небось весь в шоу-бизнесе, а? Своя группа, свой репертуар, свои поклонницы... А у меня уже пятая группа на плаву. Одних распускаю, других собираю. Я – художественный руководитель, а заодно и продюсер. «Куриная слепота», слышал про такую?

– Болезнь, что ли?

– Сам ты – болезнь! Моя новая группа так называется! Ну а у тебя как, бренькаешь?

– Да не без этого. Бренькаю под настроение...

– А слышал моих ребят из группы «Папа Монте-Карло»? Пять классных парней! Шесть дисков выпустили. На моей звукозаписывающей студии. В гараже. Один – мне и по одному – им на память... Но это только начало!.. Ну а у тебя-то группа есть?

– Да есть, как без этого...

– Иди ты!.. Молодец! Всё правильно: классный музыкант не может существовать вне творчества! И какая по счёту?

– От тебя отстаю. Пока третья.

– И, разумеется, раскрученная... Постой, сейчас угадаю... Группа «Сексуальные промокашки»?

– Не...

– Слушай... Неужели «Майки из склепа»? Это, Федя, круто...

– Да не...

– Ну, братан, тогда сдаюсь. Колись!

– Третья группа. Инвалидности...

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ОДИНАКОВЫЕ

- Ты согласен, что все женщины одинаковые?
- Ну ты и дал! У моей жены, например, рост сто семьдесят шесть, а у твоей – сто сорок семь!
- Да это мелочь...
- Мелочь – это твоя жена!
- Я про другое. Все женщины одинаковые...
- Не скажи. Моя весит пятьдесят шесть, твоя – сто тридцать пять...
- Опять ты не о том!
- Не о том?! У моей размер обуви тридцать шестой. У твоей – сорок четвёртый. На два размера больше, чем у тебя...
- На три... размера... Я про другое...
- Про другое? У моей жены ноги от ушей, а у твоей уши до ног...
- Я другое хочу сказать...
- Другое? Можно и другое. Моя руководит фирмой, а твоя на базаре семечками торгует...
- Глубже бери, Вася, глубже...
- Глубже? Моя практически здорова, а у твоей язвы на рентгене язва желудка...
- Да не в этом смысле, глубже!.. Как же тебе объяснить, что все женщины одинаковые... Возьмём, например, выходные...
- Ну и что... У моей выходные – суббота и воскресенье, а у твоей выходные – когда она последний клубень картофеля на даче выкопает.
- Ай, да опять ты не то...
- Моя по субботам в сауну ходит, а твоя просто не просыхает.
- Я про другие вещи...
- Про другие? Можно и про другие. У моей мамаша... тёща моя... отличная женщина – я её только два раза видел. Один раз на свадьбе, другой – во сне... А твоя тёща... Она у тебя в подсознании, она у тебя в печёнках, она у тебя в кошельке, она у тебя... в соседней комнате...
- Уже не в соседней комнате!
- А я и не знал... Сплавил?
- Сама сплавилась. Теперь она в нашей комнате...
- А говоришь, все женщины одинаковые!
- Короче... Ты лежишь на диване, пьёшь пиво с воблочкой и смотришь футбол... Ну, ЦСКА – Zenit, например...
- Так...
- А твоя в это время становится между тобою и телевизором...
- И говорит: «Всё бездельничаешь? А квартира пылью заросла...»
- Или: «Когда унитаз почистишь?..»

- Точно! И будет стоять до тех пор, пока не поднимет...
- И не подведёт к унитазу..
- Или не всунет тебе в руки пылесос...
- И телевизор выключит! А там ЦСКА – Зенит..
- Блин! Ну, до чего же все женщины одинаковые!
- Вот и я об этом! Все женщины – одинаковые!

ГРАБЁЖ

В дверь к Екатерине Пивоваровой позвонили. Это были два рослых верзилы с поношенными бейсбольными битами. На головах у обоих красовалось по чёрному капроновому чулку. Грабители позвонили ещё раз и затаились. Раздался голос: «Ну, кого там нелёгкая принесла? Подождите, сейчас открою...»

Щелкнул замок, дверь открылась. Перед непрошеными гостями предстала хозяйка, женщина исполинских форм с веником в руках.

– Это ограбление! – рявкнул грабитель в длинном клетчатом пальто с надорванными карманами. – Деньги, ценности, водка, «Боярышник» – всё на бочку!

– Ты что, не поняла?! – не давая опомниться хозяйке, проорал второй, поигрывая битой. – А ну в сторону, корова, дай войти!..

Хозяйка посторонилась. Грабители влетели в квартиру. Дверь захлопнулась. Через секунду-другую раздалось крики ужаса, вопли, глухой звук ударов, поросячьи повизгивания...

Спустя пять минут дверь открылась вновь. В коридор на четвереньках выползли побитые грабители без бит и без капроновых чулок на головах. Их подгоняла ногами в капроновых чулках хозяйка.

– А вот за чулки, парни, огромное вам человеческое спасибо! – довольно сказала Екатерина. – И главное – угадали с размером!.. Мой размер – большая редкость!.. Три месяца купить не могла. А тут такая удача... Сколько я вам за них должна?

И Пивоварова полезла за кошельком.

Грабители разом вскрикнули и на четвереньках поскакали вниз по лестнице...



Вера Андреевна Звездаева (1921–2010.) – прозаик, публицист. Родилась в Смоленске, школьницей печаталась в «Большевицкой молодёжи», а с первых дней войны стала штатным сотрудником газеты. В довоенное время – два курса пединститута, в военное – спецшкола, и Веру Козловскую забрасывают в тыл врага. Два года она воевала в партизанском соединении под командованием Героя Советского Союза С.В. Гришина. Истории особого партизанского соединения «Тринадцать» посвящён документальный очерк В.А. Звездаевой «Гришинцы», написанный в соавторстве с М.К. Киряевым и изданный Смоленским книжным издательством в 1958 году. Там же вышла первая её книга «Грачи прилетели» (1954). Заочно окончила Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. Повести и рассказы В.А. Звездаевой печатались в Смоленске, Москве, Минске, других городах СССР, она автор книг: «Грачи прилетели» (Смоленск, 1954); «Главная профессия» (Смоленск, 1956, 1957); «Человек для людей» (Смоленск, 1960, 1970); «Услышь меня, хорошая» (Смоленск, 1961); «Трудно умирать весной» (Смоленск, 1963, 1966); «Николай Рыленков» (М., 1987); «Человек – для людей» (роман – М.: Моск. рабочий, 1970); «Смоленская книга» (Смоленск: Смядынь, 2000). С 1956 года – член Союза советских писателей, с 1991 года – член Союза российских писателей. Весомый вклад внесла В.А. Звездаева и в смоленскую журналистику. Закончив курсы журналистов при «Комсомольской правде», с 1945 по 1951 год работала в областной газете «Рабочий путь», затем в комсомольской газете «Смена». С 1952 по 1965 год была редактором Смоленского книжного издательства. В.А. Звездаева лучшим своим произведением считала «Смоленскую книгу». К сожалению, Смоленскому отделению Союза российских писателей не удалось добиться присвоения В. А. Звездаевой звания Почётного гражданина города-героя Смоленска. Звездаева – лауреат литературных премий им. М.В. Исаковского, им. А.Т. Твардовского. Похоронена на Братском кладбище в г. Смоленске.

ПОЧЕМУ САД В ЦЕНТРЕ СМОЛЕНСКА НАЗЫВАЕТСЯ БЛОНЬЕ?

Я коренная смолянка, и было бы естественным поинтересоваться, откуда это название – Блонье?

Но вот что удивительно, до войны подобные вопросы даже в голову не приходили. Это и другие смоленские названия были как имена твоих отца и матери, как твоё собственное имя, такие близкие, привычные...

В войну всё, касающееся родного дома, стало во сто крат дороже. Ибо от твоего дома ничего не осталось, ни малого пустычка, а от города хорошо хоть остовы домов.

Если встречал во вражеском тылу человека, который позже тебя покинул Смоленск, так ревниво расспрашивал почему-то в первую очередь — цел ли театр, построенный незадолго до войны. Тогда остро почувствовалось то, что с лёгкой руки Твардовского стало называться «малой родиной».

Как-то прошло незамеченным и повальное переименование улиц. Точно после октябрьского переворота 1917 года старались начисто стереть саму историю. В Смоленске не стало Покровской, Пятницкой, Никольской, Петропавловской, Костельной и других улиц. Пошла страшная нивелировка, под один копыл во всех концах страны, больших и малых городах появились «советские» улицы, у нас аж Большая Советская... А уж фамилию Урицкого, кто запятнал себя уничтожением петроградской интеллигенции, получили не только сотни, десятки сотен улиц, но даже и колхозы удостоились этой сомнительной чести.

Тогда же в нашем сухопутном Смоленске появилась Краснофлотская улица. И совсем кощунственным было переименование Резницкой, в названии которой запечатлена сама история, в улицу (с какого глuzu?) Парижской Коммуны.

В Смоленске не стало садов — Соснового, Лопатинского, Кутузовского. Про Сосновский не знаю, а Лопатинский сад был назван в честь его основателя, губернатора Лопатина. Имя Кутузова, а надо помнить, что он ещё и Смоленский, сад получил после того, как был водружён там бюст фельдмаршала.

И недаром же, чтобы дать «смоленскую краску», знаменитый в своё время Л. Андреев пишет в одном из своих произведений, что свидание героини происходит в Лопатинском саду.

Но вместо Лопатинского сада появилось безликое, растиражированное и, если подумать, нелепое сочетание — парк культуры и отдыха. Или нерусское — сквер. Сквер героев, сквер пионеров... Что до этого последнего, то сроду там никаких пионеров не было, никаких пионерских сборов не проводилось.

Переименовательский зуд коснулся и нашего Блонья. Вдруг оно получило ни к селу ни к городу имя Серафимовича. Правда, это официально, а так было, есть и будет — Блоньем.

Да в наше время желание крушить привычное, укоренившееся проявил очередной временщик, некий Власенко, повелевший вырубить древние липы в Вонлярове, один из владельцев которого был дружен с Лермонтовым.

...Война в корне всё изменила. Побудило меня не только к поискам относительно всё-таки необычного названия — Блонье — также длительное общение с Н. И. Рыленковым. Вот уж кто знал как историю родного края, так и язык. Чувствовал его во всех оттенках, как говорится, на вкус, цвет и запах.

Сперва, милое дело, кинулась листать словари. Ушаков ничего не дал. Как всегда, ответ получила у Даля. «Блонье — болонье — ближайшая окруж-

ность города, предместья, слобода, околица». Уже тепло. Ещё один ответ нашла в «Словаре смоленских говоров». Тут прямо написано: «Блонье – 1. Заливной луг, неизменное место у реки; 2. Равнина, поле. 3. Название городского сада для гулянья». Ещё теплее.

Но истинной находкой были для меня изыскания по этому поводу доцента кафедры русского языка и литературы, чьими трудами были опубликованы несколько выпусков «Словаря смоленских говоров», Анастасии Ильичны Ивановой.

Вот что она писала:

«Слово «болонье» – исконно русское. Несомненно, что в прошлом оно имело в русском языке более широкое употребление, о чём свидетельствуют, в частности, данные топонимики... Так, например, в Смоленской области насчитывается 20 сёл и деревень, в названии которых отражено интересующее нас слово или производные образования. Только в бывшем Духовщинском уезде есть девять деревень с названием Аболонье... Такая же деревня значится и в бывшем Поречском уезде... В Сычёвском уезде известна деревня Заболонье... В числе древних смоленских городов упоминается Оболенск... Материалы письменных памятников и живых современных говоров свидетельствуют о том, что слово «болонье» имеет несколько значений... 1. Сырой луг, низменное, заросшее травой и заливаемое водой место. 2. Открытое пространство, ровная площадка на местности – совсем горячо! – в предместье, окраина города, села... В «Военном словаре» Тучкова указывается, что слово «болонье» – старинное российское слово значит открытое место перед крепостью или городом для удобнейшей стрельбы с валов или стен».

Вот как раз перед укреплениями Смоленска... простиралось незаселённое пространство, подходящее к самым стенам города, называемое оболонье... С расширением границ Смоленска болонье вошло в его черту, было застроено. В конце XVII – начале XVIII веков это место очищается от обывательских домов и как место ровное и удобное превращается в плац-парадную площадь... В 1830 году для ученья и развода войск было отведено другое место, а старое было «дозволено» обратить в городской сад – «Болонье» (Блонье).

Итак, во-первых, Блонье, как мы убедились, исконно русское слово типа – варенье, питьё, пусть оно и стало по воле судьбы именем собственным. Но это, во-вторых, имя существительное среднего рода, которое склоняется – блонье, блонья, блонью, блоньем (не путать с французскими несклоняемыми – пальто, манто). И, следовательно, писать и говорить «иду по Блонье» так же безграмотно, не по-смоленски, как сказать: «прицениваюсь к ожерелье».

НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА

1

Хочешь, я буду писать тебе?

Хотя смешно, правда, писать человеку, которого видишь несколько раз на неделе и которому можешь позвонить в любую минуту?

Нет, по телефону я не умею с тобой говорить: ведь мы оба с тобой знаем то, что не знают люди, и, что бы я ни говорила, ты поймёшь: я не о том...

Вчера, когда ты проводил меня из школы и ушёл, даже не оглянувшись ни разу, я чуть не смалодушничала, чуть не позвала тебя... Я вовремя вспомнила о твоей семье: ты и так задержался из-за меня. Нет, твоя жена и дочурка не должны ждать тебя: ведь никто не виноват, что твоя семья не наша с тобой семья!

Я сижу сейчас и проверяю тетради, а в кувшине передо мной сосновая ветка. Ты сломал её, чтобы отряхнуть с меня снег, и бросил. Я подобрала её, когда ты ушёл.

Она стоит передо мной, снег оттаивает, и она вся точно в слезах. И по всей комнате пахнет сосной.

А плачу я.

И всё-таки я рада, что работаю недалеко от тебя, что могу видеть тебя, говорить с тобой.

Помнишь:

Пощади моё сердце

И волю мою

Укрепи,

Потому что

Мне снятся костры

В запорожской весенней степи.

Впрочем, зачем я спрашиваю — помнишь ли? Я знаю: ты помнишь и эти, и другие стихи. Мы много их читали в ту осень — нашу осень.

Ты сказал, что теперь не читаешь стихов. Да, тебе некогда, и потом я знаю: твоя жена не любит стихов.

Она сказала мне, что семейная жизнь — это сплошные будни.

У нас с тобой не было бы будней.

Только сейчас я поняла, какое великое счастье я потеряла — жить, работать, думать, мечтать вместе с тобой!

2

...Сегодня проводила свою первую беседу с колхозниками. Тебе, наверное, уже сказали — всё хорошо прошло. И Иван Степанович, бригадир, меня похвалил, и твоя жена.

Но я-то знаю: не моя в том заслуга. Просто я очень хорошо помню твои письма: ты ведь так подробно писал мне о том, с чего начал, чем живут люди колхоза, что даже забывал в конце написать — целую.

Твоя жена сказала, что моя беседа была построена методически правильно, но это не совсем на тему. Я с ней не согласна, но за меня ответил Иван Степанович.

— Вот чаще так-то оглядываться надо, сравнивать: что мы вчера были, а что сегодня.

От лица всей бригады, как он выразился, Иван Степанович попросил меня рассказать, какими будут наши Каролищевичи через семь лет. Это ведь интересно, правда?

3

...Как ты умеешь зажечь людей! Ни одного из нас не оставил ты равнодушным! Действительно, от нас, сельской интеллигенции, зависит очень многое. Потому что за эту сямигодку (видишь, я уже знаю белорусские слова!) люди станут более сознательными. Ты хорошо сказал: «Люди в нашем колхозе работают так, что должны уже сегодня смотреть на звёзды. От вас, сельской интеллигенции, зависит — дать этим людям все сокровища науки и искусства».

Эти слова растрогали твою жену. Она сказала мне (ох, как тяжела мне её откровенность!): «Я всё прощаю своему мужу за то, что он столько сердца вкладывает в работу. Вероятно, поэтому у него так мало остаётся для дома, для семьи». И ещё она спросила у меня: «Не правда ли, трудно поверить, что дома — он чёрствый человек?»

Это ты-то — чёрствый человек!

4

Ты так заразительно смеялся, когда выступали мои ребята! Они чувствовали себя очень польщёнными, что сам старшыня калгаса так доволен их игрой!

А потом ты посмотрел на меня, — прости, что мои глаза не были весёлыми. Я в то время думала: «Да не во сне ли мне приснилось всё, что было...» Я хотела, чтобы ты встал и подошёл ко мне, как на наших студенческих вече-

рах. Ведь я всегда ждала, когда ты напляшешься и вспомнишь обо мне. Ты вспоминал всегда вовремя и уводил меня.

Ты и сейчас встал, но не подошёл ко мне. Ты ушёл совсем.

И мои ребята играли после твоего ухода без прежнего воодушевления.

5

Вчера так захотелось хоть голос твой услышать. В школе телефон почему-то не работал. И я пошла в сельсовет.

Какой великолепный здесь лес! Какая великая в нём тишина. Ты всегда говорил, что если человеку худо, он должен побыть наедине с природой. Да, ты прав, всё мелкое тогда уходит от тебя.

Но ведь большое, настоящее — остаётся!

Ты замечал, что летом, когда всё зелено, не бросается в глаза разница между различными породами деревьев. Зато сейчас каждое дерево стоит отдельно. Ели такие хмурые, величественные берёзы голы и беззащитны. А у маленьких ёлочек (это насажено уже тобой!), опушённых снегом, смиренно-лукавый вид, и они похожи на девочек-школьниц в форменных платьицах, белых воротничках и передничках. А дубки, даже самые небольшие, стоят так, словно ничего нет вокруг них. И листья на них не опадают даже зимой — наверное, из гордости.

Этого я не увидела бы без тебя. Спасибо тебе, что ты на многое раскрыл мне глаза.

Ты, наверное, удивишься, что в сельсовет я пошла более дальней дорогой. Но ведь это — дорога к тебе. А вдруг ты пойдёшь ко мне, и мы разминемся? Поэтому я и хожу всегда кружным путём — нельзя, чтобы мы разминулись.

Я так и не дозвонилась до тебя: конечно, ты был в это время уже дома.

Говорят, незнакомая дорога всегда кажется более длинной. Нет, длинным мне показался обратный путь. И как темно, неприятно стало в лесу, и ёлочки уже не были похожи на лукаво-смиранных девочек.

Помнишь, бородинское: «Тёмный лес шумел, тёмный лес гудел»?

6

Прощай, я не могу так больше. Прощай. Ещё никто не знает, что я уезжаю не на каникулы, а навсегда. Ты не удивишься, — я знаю, ты огорчишься.

Твоя жена (она очень хорошая женщина, ты просто не видишь этого!) спросила меня сегодня, почему я не замужем. Я ей сказала: «Потому что люблю женатого человека». Она удивилась: «Будь я на месте этого женатого человека, я бы ни за что вас не упустила». Она так и сказала: «Не упустила».

И тогда я, прости меня за это, — спросила: «А вы счастливы в замужестве?» И она ответила: «Нет, несчастлива».

Ты никогда мне об этом не говорил. Впрочем, ты слишком самолюбив, чтобы признаться в таком. Ведь из-за этого твоего самолюбия не стал ты тогда настаивать, чтобы я бросила институт и поехала с тобой!

Ты обещал приехать ко мне в этот последний мой вечер. Я ждала долго-долго. Я ходила на шоссе, думала, встречу тебя. Когда вернулась, у дома стояла «Победа». Я не сразу сообразила, что это не твоя машина, хотя сама говорила колхозникам: «Давно ли у правления была «Победа», а сейчас, после сельскохозяйственной выставки, «Волгу» заслужили». Но об этом я не подумала и, как сумасшедшая, влетела в хату. Теперь я тебе могу признаться: я ждала, что ты придёшь ко мне навсегда и мы будем втроём — ты, твоя дочурка и я.

7

Пишу уже дома. Вчера заходил Иван Степанович. В числе прочих новостей он сказал, что в день моего отъезда ты так спешил куда-то, что заporол и бросил среди дороги свою «Волгу» и на первой попавшейся машине — то был бензозаправщик — помчался дальше... Ты не успел к поезду всего на несколько минут.

Значит, ты всё-таки ехал ко мне. Спасибо, что ты и в этом не обманул меня. Может, так и лучше, что ты не успел к поезду.

Спасибо тебе за всё, что ты дал мне. В этой школе, где мне предстоит начать новую жизнь, много белорусских ребят, и я всерьёз стану теперь изучать белорусский язык. Ты научил меня чувствовать его музыку — это главное! Помнишь, как ты говорил: «Ни в одном языке, кроме белорусского, нет такого чудесного слова — варьят. Это не просто сумасшедший, это — сумасшедший от любви».

Впрочем, ты, белорус, научил меня слышать по-настоящему и мой родной русский язык. Как ты нас агитировал, когда мы ездили на уборку: «Слушайте, как говорят в деревне. Только там вы услышите настоящее, меткое, русское слово».

Ты немножко преувеличивал, как всегда, когда тебя что-то увлекало. Но твои увлечения никогда не проходили бесследно ни для тебя, ни для дела. Ведь именно в то время написал ты ту свою статью, которая получила столько откликов.

Ты многому научил меня, и я тебя тоже постараюсь ни в чём не обмануть.

Конечно, у меня нет ни твоего ума, ни твоей воли, я не смогла бы так легко бросить аспирантуру, научную работу, которой ты готовился посвятить всю свою жизнь, отказаться от той блестящей будущности, которую тебе прочили.

Да и твоя будущность — в твоих руках. За три года ты сделал колхоз первым в области, скоро он станет первым в республике. Я-то знаю, как велик твой авторитет среди колхозников!

Ты даже стихи не боишься им читать, и им не кажется это смешным в их старшине.

Не читай их только дома. Ладно?

Я ничего не обещаю, но я уже заранее люблю школу, в которую еду, ребят, — а в деревне ребята особенно смышлённые и любознательные.

Со мной остаются книги — и те, что мы читали вместе, и те, что ты прочтёшь уже без меня. И твои песни матросские со мной останутся, и люди, и работа, и природа — понимать и принимать которую ты научил меня со всей полнотой своей щедрой души.

Мне некого винить, что тогда я не поехала за тобой. Зато теперь и без тебя поеду куда угодно, лишь бы была там во мне надобность. Теперь я уже не боюсь, что меня, городского человека, не поймут. Нет, любой человек поймёт любого человека, если их объединяет дело, общее дело.

Я не выполню уже своего обещания: не расскажу в твоём колхозе о том, какими станут Каролищевичи. Но с тобой колхозники и сами увидят свои Каролищевичи и богатыми, и красивыми.

Спасибо тебе. И прощай!

В ВЯЗЬМЕ, В СОРОК ПЕРВОМ (из недописанной книги)

Несколько лет назад я приняла, как скоро стало ясно, совершенно авантюрное решение — писать продолжение «Смоленской книги». А авантюрное потому, что для этого надо иметь, во-первых, хоть минимум покоя, который нам даже не снится. Во-вторых, хотя бы относительную свободу от быта, а он, чем становимся старше, даётся всё тяжелее. В-третьих, мало-мальски сносное здоровье. Ничего этого у меня нет.

Но ведь можно по возможности записывать отдельные эпизоды, сюжеты, главки, наконец. К этому меня подвели мои «Мимолётные записи», их рождению я всецело обязана Леониду Ивановичу Козырю, его настойчивости, с которой он побуждал меня искать свою нишу в газете.

Отсчёт поведу от 22 июня 1941 года. К этому подтолкнуло выступление драматурга Володина по телевидению 9 мая 1998 года. Он говорил, что все его друзья в тот день ЛИКОВАЛИ: ну и дадим же мы фашистам! Допускаю, что и так могла быть встречена страшная весть. Но, может, в силу своего характера, несколько угнетённого, мнительности, мне свойственной в высшей степени, всяческих комплексов для меня 22 июня — только обвал, ужас, жизнь сразу

резко разделилась на «до» и «после». Хотя, как и у всех, теплилась надежда, по крайней мере, на быстрое окончание войны. Мы же были воспитаны на том, что непобедимы, чужой земли не хотим, но и своей ни пяди не отдадим...

По инерции я ещё готовлюсь к последним экзаменам за второй курс пединститута. В зачётной книжке записи: 23-го я сдавала русскую литературу XVIII века, 25-го — старославянский язык. Кто принимал литературу, не помню, фамилии не разберу, а узнать уже не у кого. А язык — Успенский. Всего сданы 6 экзаменов.

Сперва нас, студентов, посылают дежурить на вокзал, куда уже хлынула целая лавина беженцев, тогда говорили — эвакуированных, совсем новое слово в нашем лексиконе. Мы мало могли им помочь — принести воды, посторожить вещи, у кого они были, посидеть с детьми... Затем весь институт отправляют на рытьё противотанковых рвов в Краснинский район. Рвы эти, к сожалению, не задержали ни одного вражеского танка.

Уезжать, бежать наша семья почему-то не помышляла. Скорее всего потому, что мать была секретарём довольно крупной парторганизации на фабрике-кухне и её обязали остаться и кормить проходящие воинские части. Когда немцы были уже в верхней части города, на отчаянный звонок матери в горком партии был получен всё тот же ответ — оставаться, не ПАНИКОВАТЬ. Это была грозная формула. А сам секретарь горкома Мозин помчался на восток. Были брошены все документы, все архивы, после войны оказавшиеся аж в Америке и широко потом публикуемые.

Для меня истинным благом явилось решение обкома комсомола о зачислении меня в штат молодёжной газеты, в которой до этого я была внештатным членом редколлегии. Ведь редакционных мужчин почти всех призвали в армию.

И сразу же всех перевели на так называемое казарменное положение. Я оказалась здесь — в верхней части города, в Доме печати, мать, отец, сестрёнка — в Заднепровье, на той самой фабрике-кухне.

Не помню, не знаю, пришлось ли ещё побывать дома. Как не знаю. когда именно при очередной бомбёжке, а она началась уже 24 июня, на второй день войны, он сгорел. Минимум вещей, главным образом зимней одежды, родители унесли с собой. Но в очередной налёт какой-то нелюдь их украл.

Бегу в Заднепровье — узнать о своих, телефон уже не работает, сказать, что, вероятно, придётся уезжать. Именно бегу, потому что улица Советская после бомбёжки с 28-го на 29-е июня превращена в огненный коридор, чуть волосы не загораются. Сидим в садике возле швейной фабрики, вещи ещё не украли, но я рассчитываю через несколько дней, как станет известно, где будем выпускать газету, вернуться за ними. Мы уславливаемся, на всякий случай, что будем писать брату в Ногинск, чтоб узнать друг о друге.

Я не увижу своих родных, свой город до лета 1944 года.

Когда были уже в Вязьме, меня всю осыпало фурункулами, несколько дней пришлось даже полежать на подобии ложа из досок в крохотной комнатке вблизи от редакции. У противоположной стены – Пикаревич, редактор нашей комсомольской газеты, тоже занедуживший. Не он ли и приносит мне письмо из Ногинска? Нет, о наших брат ничего не знает.

Вот когда от чувства страшного одиночества, я ведь была очень домашним человеком, начинает возникать эта мысль – я должна быть на фронте, раз мои родители не сумели выбраться из Смоленска. Ещё не было этого слова – в оккупации.

Ещё одно обстоятельство до Вязьмы подспудно толкало меня к решению попасть на фронт. Редакция газеты, уместившаяся среди рулонов бумаги в полуторке, выехала из Смоленска искать себе пристанище. Сперва мы очутились в Спас-Деменске. Здесь из лживой, как оказалось, сводки узнали, что Смоленск сдан тогда-то и тогда-то. Хотя от тех, кто успел ещё уйти из города, стало известно – он пал 15 июля.

В Спас-Деменске мы ещё успеваем выпустить несколько номеров газеты. Здесь в пыли, на улице я нахожу том Блока, кем-то утерянный или брошенный. О своих книгах я могла только мечтать. Эта брошенная книга меня потрясает сильнее, чем другие, более страшные обстоятельства. Да тут всё читается по-особенному.

Россия, нищая Россия,
Мне избы бедные твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слёзы первые любви...

Школа не подружилась с поэзией. Но тут и тогда сердце открылось ей.

И Блок, как это может показаться странным на первый взгляд, подтолкнёт к ещё неясным мыслям, что должна быть с теми, кто воюет.

За Спас-Деменском последует Козельск, с берёзовой рощей на подъезде, точно сошедшей с куинджевского полотна, затем Тёмкино. Сюда из обкома комсомола Е. И. Сапожков привезёт весть: газета прекращает своё существование. В Тёмкине нас поведут на сырзавод, чтобы мы брали, что хотим и сколько хотим – масло, творог, молоко, сыры, сметану.. Что до сметаны, вряд ли я её пробовала до тех пор, впрочем, как и сыр.

И вот этот бросок по области, совершенно мне незнакомой, так как из Смоленска я выезжала только в бабушкину Катюнь да на станцию Духовская к приятелю отца и ещё в Рудню – к тётке, выдворенной из Днепропетровска после ареста мужа и не имевшей права, как ЧС врага народа, жить в Смоленске. И то, что я узнавала в лицо свою область, тоже укрепляло меня в ещё неясном решении.

Военная страда вообще научит меня пристально вглядываться в те деревеньки, которые попадались нам на пути или в которых мы задерживались ненадолго. Что существуют ещё и города, в иные времена переставало верить. А у каждой деревни было своё лицо, свои неповторимые черты, добрые или недобрые приметы.

Ах, почему нам особенно дорого то, что мы теряем!

И вот Вязьма — пылающая, бомбёжки страшные, ежедневные, особенно сильные на станции, где скопились эшелоны с боеприпасами.

Меня берут в «Рабочий путь» просто корректором, ревизионным корректором, корреспондентом. Успеваю написать о связистах, моя заметочка подружит меня с замечательным человеком — М. А. Примычем.

Одиночество не ушло, но, как нигде раньше, чувствуешь здесь участие совсем незнакомых людей. По-матерински опекает меня редакционная машинистка Аня Назимовская. Сближает общее горе — у неё в Смоленске остались мать и сын.

В нашу комнатёшку, бывает, втискиваются приезжающие с недалекой передовой столичные корреспонденты отписаться, главное — успеть передать материал по телефону. Это Миша Зотов. Он знаком с Пикаревичем по совместной работе в Смоленске. Он представляет «Красную Звезду». После войны редактировал мемуары военачальников в «Воениздате», потом был членом редколлегии в «Знамени». Это Евгений Иосифович Габрилович, впоследствии известный сценарист. Василий Коротеев — тоже из «Красной Звезды». Известинец Евгений Генрихович Кригер, чьи очерки пользовались большим успехом у читателей. Помню, что Габрилович почему-то был очень удивлён, что я читала «Алые паруса» Грина.

Габрилович и Кригер — завязтые остряки. Самый дружный смех вызывает то обстоятельство, что жена Габриловича якобы так ревнива, что заставляет звонить ей по многу раз на дню.

О бомбёжках надеюсь ещё написать особо. Страшно, жутко, сколько раз прощаешься с жизнью. Но жизнь тем не менее идёт своим чередом. В промежутках между налётами бегом-бегом устремляемся в столовую по усыпанной осколками площади. Кормят там по-царски, чтобы продукты не достались немцам. А тут ещё беда: заставляют нас рыть щели, и — раз — платье на спине совсем расползлось. Другого нет. Купить материал ещё возможно, но сшить?! Хозяйка квартиры, хоть и портниха, наотрез отказывается. Всем миром, слава богу, сыграло роль мужское обаяние, уговорили. Я — в платье.

В один из дней корплю над корректурой. Между полосами огромный промежуток времени, Кригер соблазняет сходить в кино. Да, ещё и кино крутят. А если налёт не на город, а на станцию, так никто и не шелохнётся, пока фильм не закончится. Опять через площадь. Смотрим весёлую комедию «Антон Иванович сердится».

Через много-много лет, встретив в Доме творчества кого-то из смолян, Кригер спросит, не знает ли тот девушку Веру из Вязьмы? Что «девушке Вере» под сорок, не возьмёт в толк и надпишет свою книгу «Небо в алмазах»: «Вере Андреевне Звездаевой — на память о Вязьме 1941 года и «Антоне Ивановиче», который сердится».

Потом я встречу самых разных людей — и участливых, и равнодушных, но здесь, в Вязьме, было столько деятельного сочувствия, отзывчивости, желания чем-то помочь... То столкнусь с родителями кого-нибудь из своих одноклассников — такая обоюдная радость. То просто человека, что попался тебе ежедневно по пути в институт. Значит, жив, успел уйти из Смоленска. Вот, выполняя чью-то поспешную просьбу, отрываю от студенческой зачётной книжки свою фотографию, дарю... Этот человек, как и все мы, не знает, что с ним будет завтра, и цепляется за мирное — фото на память.

И наступает последняя ночь в Вязьме. Фронт дышит в затылок. Спешно погружаемся на безотказную полуторку. Всё имущество редакции брошено. Скорей, скорей. Меня из полуторки выхватывает В. Коротеев — у них в легковушке есть место. На каком-то участке простреливаемого шоссе, а всё небо в трассах огня, настигаем полуторку. Как! — Аня Назимовская, Пик, рабочепутейцы — там. А я?! Пересаживаюсь к своим. Кто-то суёт в руки солдатское одеяло. Во благо ли это было, теперь уже не имеет значения.

Сперва мы оказываемся в Гжатске. Ни о какой работе нет уже и речи. Ночуем в школе, утром обнаруживаем совсем рядом огромную воронку на месте, где был ещё вчера детсад... И отсюда — быстрее, быстрее... В Можайске нас всех рассчитывают. Мы больше не редакция. И свершилось — не только Смоленск, но и вся область занята немцами.

На открытой платформе, а уже холодно — октябрь, мы едем в белый свет, как в копеечку.



Вера Анатольевна Иванова (1935–2014) – поэт. Родилась в г. Харовске Вологодской области. Стихи и проза публиковались в журналах «Студенческий меридиан», «Молодая гвардия», «Русская провинция», «Знамя» и др., еженедельнике «Литературная Россия», альманахе «Башня» (Оренбург). С 1995 по 2004 – председатель Смоленского регионального отделения Союза российских писателей. Участница коллективных сборников. Лауреат литературной премии журнала «Студенческий меридиан», премии им. М.В. Исаковского. Автор поэтических книг «Неделя сирени» (1991), «Времена жизни» (1993), «Распевы ветра» (2000), книги прозы «Гори, гори ясно» (2007). Похоронена в Смоленске на Окопном кладбище.

* * *

Суровая арифметика –
Счёт пролетевшим годам,
Но женщины возраст, заметьте-ка,
Подвластен не календарям.
Житейской мудрости золото
Добыто нами с трудом:
Пока нас любят – мы молоды,
Пока мы любим – живём!
Гадали Мужчины веками
О странностях женской души:
Зачем страдания Анны,
Джюльетты наивной мечты?
Им подсказать нам надо бы, –
Неясно им как ни крутись! –
Что женщины проще, чем азбука,
Но посложнее, чем жизнь!
Весна есть, и лето, и осень
У каждой женской судьбы,
Как женщины, мы рождаемся
В апреле, в начале весны.
Апрельские чистые слёзы
На девичьих нежных щеках,
Шальные майские грозы
В разгаданных робких снах,
Потом июньские полночи,
Июльские жаркие дни,
И щедрого августа полные

Суть и вершина любви...
Путь этот Вами пройден,
Но жизни летит корабль!
Мы Вас провожаем сегодня
В задумчивый тихий сентябрь.

* * *

На небе чисто,
Чисто и в душе.
С своей тропы
Ничуть не сосупая,
Несбыточного не хочу уже.
Чужого?
Нет, чужого не желаю.

* * *

Есть в сокровенной жизни острова,
Необитаемые суши,
Иначе там живут слова
В чистейшей сути.
Там и добром никто не обделён,
Всё по заслугам.
А может, это просто сон?
Недуг от перепугу?

* * *

Сизиф катил свой камень в гору,
Что называлась — коммунизм,
И на пути своём нескором
Передохнуть присел в социализм.
Но было там темно и неудобно.
Сидел недолго он, он снова покатил,
Вот так катил, катил, катил,
Пока он в яму
с названьем
перестройка
угодил.

ВЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ

Особой красотой красивы
Шагнувшие безудержно вперёд,
Как будто замершие на краю обрыва
Порыва уходящего во взлёт.
Особая крылатость в их движениях,
Особенные всполохи в глазах,
И длится, остановлено движение
В отпущенных историей часах.
Не каждому дано стоять на гребне
Взвихрённой временем стремительной волны.
Как хочешь назови – удел, судьба ли, жребий –
Их время выбрало, они ему верны.
В глаза врагов глядит Сусанин смело,
И – шапку наголо! – Чапаев в бой ведёт,
Не сложит крылья никогда Гастелло,
Отважный Че Гевара не умрёт!
Какой улыбкой светлой, несравненной
Гагарин улыбается векам,
Он щедро наградил свою Вселенную
Неповторимым росчерком витка!

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА

А всё же есть волшебные слова.
Но сила волшебства их такова,
Что мы её до времени не знаем,
В неведеньи упорно повторяем
Их порознь второпях. Права
И справедлива жизнь, научит
Подставленный подножкой случай,
Придёт пора, подскажет нам,
Прозреньё, как лавина с кручи, истину умножит,
Нас подтолкнёт к созревшим тем словам,
В предназначеньи нам
Среди произнесённых зряшно,
Хоть сказанных сегодня, но вчерашних,
И вычтет лишнее, и истину умножит
И те слова, любых других дороже,
Возникнут из немого забытья
Три вечных слова: «Я люблю тебя...»

МОРЕ

Новое слово в тот день появилось
В наших обычных словах —
море! И слово так славно искрилось,
враз обновилось,
всласть говорилось,
пелось легко на губах.

Море встречало нас радостным гулом,
шелестом ласковых волн,
морем был полон кривой переулок,
весь для прогулок,
узок и гулок,
мой переулок и твой.

Были мы морем вконец избалованы,
нету отказа ни в чём!
Что ещё нужно для счастья полного?
Ветром милованы, солнцем целованы,
море и мы вдвоём!

Море на нас с любопытством глядело:
Что с вами будет потом?
Так обо всём позабыть, разве дело?
Море роптало,
напоминало —
счастье взаимы берём.

* * *

Птица строит гнездо.
Прутик клювом подбросит,
искоса поглядит,
Глаз агатом сверкнёт,
И на небо взглянув,
Там совета попросит.
И услышав решит:
В самый раз подойдёт.
Птица строит гнездо,

Вдохновенно и честно,
Прутик ляжет венцом
В основание жизни...
Ветер взвояет иль дождь
Неприкаянный брызнет,
А гнездо устоит и семейство спасёт...

* * *

Всё, что было, всё уплыло
В синю даль.
Дорогим, что раньше было,
то не жаль.
И стоят на той дороге надолбы:
Все упрёки, все намёки — надо бы.
И споткнёшься ненароком
на обиды, на упрёки,
Остановишься, стоишь
и на прошлое глядишь.
То что было, то прошло
и быльём всё заросло.

* * *

Как тихо уходят люди...
Вчера говорили... И вот
Такого больше не будет,
Не встретит, не подойдёт.

Кто-нибудь скажет: а память,
Разве она ничто?
Да, память останется с нами,
Но это всё же не то...

Часов остановлен маятник,
Кончился их завод.
Перебираем в памяти
Чётки долгов и забот.

Тихо уходят люди...
Как тихо...

* * *

Умаялась,
Присела,
Отдохнула...
И вновь пошли заботы и дела.
Легко задумалась и тяжело вздохнула,
Привычно всё в порядок привела.
И так всю жизнь: работала, любила,
Стирала, стряпала, ждала,
Проголодались? – накормила,
От хворей настигающих лечила,
От бед подстерегавших берегла.
Вот так вся жизнь, как ниточка, тянулась? –
Умаялась,
Присела,
Отдохнула...



Вячеслав Александрович Иванов — поэт, публицист. Родился в 1982 году в городе Смоленске. Автор поэтических сборников «Нас на земле двое», «Крылья». Публиковался в литературных альманахах и центральных журналах. Победитель литературной премии политической партии «Справедливая Россия» «В поисках правды и справедливости» в номинации «Молодая поэзия России». Отмечен губернаторской стипендией «Молодые таланты» (2013 г.). Финалист литературной премии «Северная земля» (2014, 2015). Член Союза российских писателей. Живёт в Смоленске.

* * *

Нежностью первого снега
Я покорён.
Ни одного человека
Под фонарём.

Только потоки снежинок
В светлом пятне.
Сколько исправить ошибок
Хочется мне.

Если бы ты понимала,
Если... Хотя
Утром какой-нибудь малый,
Здесь проходя,

Грязной кирзою натопчет...
Варвар! Ты знал,
Сколько мне стоила ночи
Той белизна?

* * *

Чуть отдалившись от вокзала,
Я не узнал в окошке местность,
Но проводница мне сказала,
Что поезд мчится в неизвестность.

И ни полей, и ни избёнок:
Всё, будто в утреннем тумане.
И я, как брошенный ребёнок,
Хочу обратно в детство, к маме.

Мне было пять, когда под вечер
Пришёл домой отец не в духе
И рассказал, что мать «далече...»
Что, мол, «глаза её потухли»,

Что «стало ей приютом небо
Заместо нашего барака».
И, протянув краюху хлеба,
Обнял меня и долго плакал...

А поезд мчится всё быстрее,
Звенит стакан о подстаканник.
Но разве чай меня согреет?
И я, закрыв лицо руками,

Входя с вагоном вместе в штопор,
Вдруг вижу белую палату
И слышу тихий мамин шёпот,
Как будто в чём-то виноватый.

И поезд – свод больницы ветхой,
Где проводница – врач-безбожник.
И ускользящее эхо:
«Сынок, увидимся, но позже...».

* * *

Когда Серёга умер от запоя,
За ним прислали ржавую Газель.
Тем утром на дорогах Уренгоя
Заснеженный свирепствовал апрель.

Машина, у подъезда сев на брюхо,
Не в силах скорбный свой продолжить путь,
Беспомощно завывла, как старуха,
Пришедшая соседа помянуть.

И кто-то говорил: «Серга шутит!
С ним вечно приключается курьёз!».
И было что-то страшное до жути
В бессмысленном вращении колёс...

* * *

Люди спросят у порога:
– Что за пазухой твоей?
– Прячу внутреннего Бога
От соборов и церквей.

Он не любит позолоту
На крестах и образах.
И в душе моей свободу
Поселяет, а не страх.

– Где ж ты взял его?– Не важно,
Если вера глубока.
Я нашёл его однажды
На снегу у кабака.

Был февраль, и он дрожал весь,
В ледяную глядя тьму.
И казалось мне, что жалость
Проявляю я к нему,

Но когда его я поднял,
Озарилось всё вокруг!
За мгновение я понял:
Он мне самый близкий друг!

– Веришь в Бога?
– Верю слепо!
И с того, не важно, дня:
Я несу его по свету,
Или он ведёт меня.

* * *

Мы с ней не говорили о вещах,
Что куплены не нами или нами
В Италии, Китае и Вьетнаме,
А может, на каких-то островах,

О ценах на билеты и на газ,
Об уровне зарплат в районной школе,
О клубах, сигаретах, алкоголе.
Всё это миновало, к счастью, нас.

Мы с нею говорили о душе,
О ценностях Серебряного века,
О Бродском и о смысле человека,
О пагубности штампов и клише,

О музыке Миньони и Кюи,
О странностях в картинах Сальвадора
И живописи классиков, в которой
Так много нерастраченной любви,

О сущности религии, о снах,
О хрупкости и целостности мира.
Она не говорила о вещах,
Но выскочила замуж за банкира.

* * *

В мой дом постучали. Сказал я: «Войдите».
Старик на пороге — в лохмотья одетый.
— Ты кто? — говорю.
— Я твой ангел-хранитель.
Я слыхивал много про все твои беды.

— Проваливай к чёрту! Плевать, что ты босый!
Я не подаю ни на хлеб, ни на воду!
А он мне в ответ: «Да вернётся, не бойся,
Сама прибежит, не пройдёт и полгода».

Я замер, кольнуло у левого бока:
«Откуда ты знаешь об этом, убогий?»
А он подмигнул мне: «Убогий – от Бога!
А Богу известны все наши дороги.
Ты матери чаще звонил бы, а то ведь
Она до весны не дотянет двух суток.
И надо бы как-то отца подготовить
К тому, чтобы он не лишился рассудка».

Впервые в коленях почувствовал дрожь я,
Схватил старика за грудки, обезумев.
«Нельзя изменить, есть на всё воля Божья», –
Хрипел он чуть слышно сквозь чёрные зубы.

Я сел у камина, налил ему выпить
И хлеб покромсал и кусок буженины.
Он ел, не спеша, а потом руки вытер
О чёрные с блеском от грязи штанины.

И вышел за дверь, но я вслед ему крикнул:
«Я думал, что ангелов делают белых!
И если ты ангел, то где твои крылья?»
Старик усмехнулся: «Я отдал тебе их».

* * *

...А ночами к Ивановым от Иванниковых
К таракану приходила тараканиха.

Пахла мёдом и корицей, расфуфырена.
То халвы кусок притащит, то зефирины.

Вот сидят, жуют часами втихомолочку.
Что останется – запасливо на полочку.

Предлагал у Ивановых он остаться ей, –
Уходила – провожал до вентиляции.

Долго думал, шевеля усами рыжими,
А потом в кладовке прятался за лыжами

Возле банок с огурцами и капустою,
Всем хитином одиночество предчувствуя.

* * *

Что же с ними делать? Сам реши,
Юный, но отъявленный разбойник.
В этих милых куклах нет души.
Хоть спали в печи, а им не больно.

А когда ты вырастешь большой,
Тихо я шепну тебе на ушко:
«Кукла с человеческой душой —
Это очень страшная игрушка».

* * *

Этой женщине я обязан
Всем своим измождённым прошлым,
Ишемией, мигренью, язвой,
Но считаю её хорошей.

Я любил её до потери
Ощущения твёрдой почвы.
Этой женщине я не верил,
Но хотелось поверить очень.

Я бросал её, словно камень
В голубую прозрачность моря.
И своими спасал руками
Ту, что мне приносила горе.

Этой женщине я поведал
Тайны самой святой молитвы.
Одержать над собой победу
Ей позволил без всякой битвы.

Я простил ей грехов немало,
Мнил себя то Христом, то Буддой,
Потому что она сказала,
Что светлее меня — не будет.

* * *

Лес нагой, как девки в бане.
Пахнет вялым листом.
Дядя Шура на баяне
Нам играет «Вальс-Бостон».

Тетя Валя у барака
Сушит серое бельё,
А соседская собака
Клянчит яблоко моё.

Мяч гоняют Мишка с Лёшкой
В подворотне по грязи.
В детство хочется немножко,
Множко — боже упаси!

* * *

- Вам платят за стихи?
- Не платят.
- Зачем же пишете, коль нет за них грошей?
- Вот Вы, зачем купили это платье?
- Оно к лицу.
- А мне стихи к душе.



Раиса Александровна Ипатова (1946–2015) — поэт, прозаик, журналист. Родилась в Смоленске. Окончила Московский энергетический институт и Литературный институт имени А.М. Горького (заочно, 1981). Автор поэтических книг: «Однажды» (1982), «На фоне судьбы» (1987), «Азбука» (1992), «Избранное» (2000), «Ткань бытия» (2015), книги прозы и стихов «Пятнашки» (2011), книги стихов для детей «Четыре солнца, три луны» (2013). Печаталась в коллективных сборниках, российских и региональных журналах и альманахах, еженедельнике «Литературная Россия», газетах: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», в смоленской периодике. Детские стихи публиковались в московских журналах «Жили-были» и «Кукумбер», смоленском «Сказочном мире», звучали в программах «Радио России». Лауреат премии комсомола Смоленщины имени Ю.А. Гагарина в области литературы (1981) и премии имени М.В. Исаковского (1981). Победитель международного конкурса поэзии «Золотое перо–2010». С 2013 года Раиса Ипатова — член жюри международных литературных конкурсов «Мыслящий тростник» и им. М. Ю. Лермонтова. Похоронена на Селифоновском кладбище (д. Селифоново Смоленского района Смоленской области).

* * *

Письма идут так медленно...
Письма надень на провод
И подтолкни их пальцем —
И письма пойдут прямёхонько,
Прямо пойдут по адресу.
Я повзрослела чуточку,
Больше не верю сказкам,
А писем всё нет и нет.
Может быть, ты от счастья
Став внезапно ребёнком,
Письма надел на провод
И подтолкнул их пальцем?
А письма застряли где-то,
Застряли на полпути,
И некому подтолкнуть их,
И некому мне принести...

ЖИЗНЬ

А жизнь — это вечный экзамен,
Да жаль, расписания нет.
В жизни мы часто тянем
Невыученный билет.
И вспоминаем старательно,
Задумчиво в пол глядим.
Но некому подсказать нам:
Мы с жизнью один на один.
А жизнь становится жёстче,
Нам смотрит прямо в глаза.
И попросить попроще
Задачку у жизни нельзя.
И не спасут заклинания
И чей-то мудрый совет..
В жизни мы часто тянем
Невыученный билет.

* * *

Умрёшь. Читая завещанье,
Притихнут недруги-друзья.
Потом расправятся с вещами,
Чуть пережившими тебя.
И станут говорить пространно
О том, что жить, как ты, нельзя.
И извлекут из-под дивана
С отбитой головой ферзя.
И пыль сотрут с твоих тетрадок,
И вытряхнут из строчек пыл,
И наведут везде порядок.
А ты его так не любил...

* * *

Знать наперёд, что в доме пусто,
Но всё же трижды позвонить.
И, отогнав волну предчувствий,
Привычно дверь ключом открыть.

И усмехнуться мыслям тайным,
Споткнувшись вдруг о тишину.
Но из буфета машинально
Две чашки взять, а не одну.

* * *

Век цепей и раскованности —
Удивительный век.
По наклонной по плоскости
Лезет вверх человек.
Вслед кричат: «Несмышлёныш,
Ты играешь с огнём.
Неужели не помнишь,
Что бывает потом?
Не удержишься, скатишься,
Будет злоба и месть.
Ну а жизнь-то останется
Всё такой же, как есть:
Благородные подлости,
Черепаший бег».
По наклонной по плоскости
Лезет вверх человек.

* * *

В.С. Баевскому

Пусть пыль постепенно покроет
Стихов моих странную грусть,
Я знаю: на свете есть трое,
Запомнивших всё наизусть.
Не станут разжёвывать кашей,
Что в строчке и что за строкой,
А просто возьмут и расскажут
Всё то, что когда-то рукой
Написано было моею.
И станут стихи мои в ряд.
Сначала кого-то согреют,
А после меня воскресят.

* * *

Нас погубило сходство душ,
Как иногда несходство губит,
Когда один застолье любит,
Ну а другого тянет в глушь.

Моя любимая строка
Внутри тебя жила и пела,
И разрушать я не хотела
Того, что не было пока.

Как страшно: думать об одном,
Но быть всегда поодиночке.
А ночью в поисках той строчки
Переворачивать весь дом.

И снова — та же в горле сушь,
Внутри — слова, что не сказали.
И счастье. Мы ещё не знали,
Что нас погубит сходство душ.

* * *

Быть сильным — сложное искусство.
Оно не каждому под стать.
У сильных локоть весь искусан,
Который слабым не достать.
Нам будни подрезали крылья,
И, над собой теряя власть,
Свои заботы мы грузили
На плечи сильные смеясь.
Что трудности для них? Забава!
Они идут себе вперёд,
Пока то влево нас, то вправо
Поток изменчивый несёт.
На всё дана им Божья милость,
Но из веков идёт молва,
Что только с сильных плеч катилась
К ногам бессильных голова.

* * *

Напрасно трамваи сигналили нам,
Поддавшись испугу.
Мы шли и глазели по сторонам.
В такую-то вьюгу!

Нам весело было. Нам было тепло.
Ступали всё тише.
Исчез переулок. Его замело
По самые крыши.

Мы были подобны двум снежным шарам,
Что льнули друг к другу.
Цепочка следов оставалась, как шрам,
В такую-то вьюгу!

* * *

Как хорошо, что есть на свете дом,
К которому дорогу знают ноги,
Где нас всегда встречают на пороге,
Будь на щите мы или со щитом.

Как хорошо, что в мире есть слова,
Которые для нас так много значат,
Не потому, что похвалой дурачат,
А потому, что сомневаются сперва.

Как хорошо, что нам дана
И высота, и глубина,
И горечь, и победа.
Как хорошо, что нам сполна
Всё это выпало изведать.
И плохо то, что жизнь одна...

* * *

Рассвет. И мама – окна нараспашку,
Чтоб солнце разбудило близнецов.
Мне дарят платье, Юрику – рубашку
И на двоих коробку леденцов.

Как хорошо, что нет занятий в школе!
Собрав ватагу дружную свою,
Мы день рожденья празднуем на воле,
Переменяя смехом болтовню.

Потом футбол, и я стою в воротах,
А Юрка делает искусно виражи.
Но вот его уже обводит кто-то,
И мне орут истошное: «Держи!»

И я держу. Мальчишеская хватка!
А мама горько скажет: «Ну и вид...»
Но ничего, что новая заплатка
Рисунок платья завтра исказит.

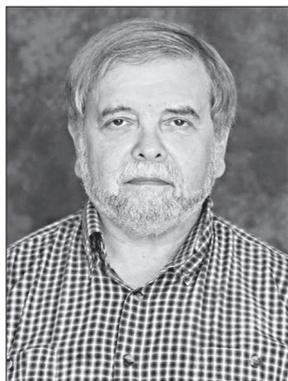
Но ничего, что будет мне несладко
И что в глазах слезинки зарябят.
Всё впереди, и мир ещё загадка,
И сами мы – загадка для себя.

* * *

«Ребята, хлеба нет ни крошки!»
Уходим с братом налегке,
И дореформенная трёшка
В моём потеет кулаке.

Путь специально выбран длинный.
Мы обсуждаем всё подряд,
И обдают автомашины
Нас грязью с головы до пят.

Вернувшись шумно, как с гулянки,
Калиткой стукнув в темноте.
Несём в руках по полбуханки,
По полбуханки в животе.



Зеан Самуилович Каган — драматург, поэт. Родился в 1953 году в г. Бузулуке Оренбургской обл. Окончил Смоленский государственный медицинский институт, практикующий врач. Автор книги «Прощение о помиловании. Пьесы, стихотворения» (М.; 2008). Публиковался в журналах «Театр», «День и Ночь», еженедельниках «Московские новости», «Культура», «Новое русское слово — Weekend» (Нью-Йорк), литературных периодических изданиях Смоленска, Оренбурга, Курска. Живёт в Смоленске.

ПРОСТО СЛОВА

* * *

Снег выпал только в январе...

Мы уходим из дома
Этой ночью желанной.
Снег летит невесомо,
Как небесная манна.

На асфальт обнажённый
Он бальзамом ложится.
Город спит, утомлённый.
Что теперь ему снится?

Эта ночь одаряет
И простых, и великих:
Над домами витают
Сонмы снов разноликих.

В голом сквере деревья
Распрямились устало.
И как благословенье —
Снег идёт запоздалый.

1970-е

ДЕВУШКА ОСЕНЬ

На мотив Г. Аполлинера

Девушка Осень
в коротеньком выцветшем платье
плечи твои загорелые
не целовать мне

Женщина Осень
зачем своё дивное тело
в сей златотканый наряд
ты убрать захотела

Бедная Осень старушка
ну что ж теперь плакать
мощи казать из лохмотьев
размазывать слякоть

Скоро на хладном одре
под ветра и льдинок челесту
будешь лежать в белоснежном
уборе невесты

КОМНАТА СМЕХА

Ты не ищешь знаков тайных
В отражениях зеркальных.
Окружённный зеркалами,
Ты испытываешь страх.
Разновидные химеры —
Горбуны и кавалеры —
Мельтешат перед глазами,
Быстро множась в зеркалах.

Их дурное окруженье
Будто злое наважденье.
Как извечное проклятье,
Не отпустит ни на миг.
И не выбраться из круга —
Слава, нежная подруга
И друзей рукопожатья
Не спасут тебя от них.

Дом, семья, святая вера —
Всё не больше, чем химера.
И химера — вдохновенье:
Стоит гнаться ли за ней?
Прочь бесплодные стремленья.
Дожидайся затемнения —
С ним приходит избавление
От безумных миражей.

Но меж тварей этих вздорных
Спасу нет от мысли чёрной:
Людоеды и паяцы
Тризну справят над тобой...
Не сбежать. И не прорваться.
Остаётся лишь смеяться.
Хохотать и издеваться —
Над самим собой.

РАСПОРЯДОК

Встретив рассвет subtilный
в сон провалиться глухо
мордорот-будильник
поднимает ударом в ухо

быстро занять парашу
прочие наготове
не поперхнуться кашей
не захлебнуться кофе

веки не размыкая
заходясь от зевоты
на воронке-трамвае
следовать к эшафоту

вновь заслужить отсрочку
известного приговора
и сизой звенящей ночью
вымарывая глаголы

и целые предложения
чрезмерно унылые
писать стихи как прошение
о помиловании

НАСТАВЛЕНИЕ

Надо подбрасывать в топку дрова,
спирт и лампадное масло,
строки и строфы, просто слова —
чтобы она не погасла.

Надо умело машиной рулить.
Рифмы не жечь без причины.
Притормозить, дать машине остыть —
чтоб не заглохла машина.

Но если с гранаты срываешь чеку,
будь осторожен, держись начеку —
чтоб от какой-нибудь строчки
не разнесло на кусочки.

РОМАНС

Женщине, которая
ни о чём не спросит.
Не устанет-канет
в лето ли, в осень.
Сердца не погасит,
страсти не остудит.
До конца не знаешь,
любит ли, губит...

Женщине, которая
не клянёт удела.
Душу не отравит
словом ли, телом.
И глядеть не станет
жадно на дорогу,
шёпотом моляся
чёрту ли, богу.

Женщине, которая
со слезами сладит.
Просто сядет рядом,
по плечу погладит:
ну что, мол, с тобою?
И ты ей ответишь...
Женщине, которую
никогда не встретишь.

СТАНСЫ'52

Я. В.

Нам швыряет кости — за датой дату —
тот, который... тот бородатый...
В общем, Тот, что — какого там ради слова? —
не жалел и сына родного.

Как ты их ни лови, пролетают мимо.
Бородатый, выкатив зенки,
нам выводит жирные две взаимо-
исключающие оценки.

И, выходит, шанс — что заменят плаху
на особый режим свободы.
Что успеем приплыть на свою Итаку
и уйти вместе с ней под воду.

ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ НОКТЮРН

Л. К.

За стеклом — почившая окрестность.
Плянешь (ночью тешиться иным бы!) —
свет от фонаря утратит резкость
и луна обзаведётся нимбом...

Этот мир оплакать ты не вправе.
Сам себя — не больше в том резона.
Там, в конце пути, на переправе
закурить попросишь у Харона.

Предоставив искре кануть в Лету,
он печать поставит в подорожной —
в списке неисполненных обетов,
тяжб напрасных и страстей ничтожных.

И ступив в ладью его гнилую —
ни слезы, ни страха, ни томленья, —
будешь плыть, не каясь, не взыскаю.
Будешь плыть — во сне... или в прозренье?

И очнувшись, в бденье до рассвета
мыслью не утетишься нимало,
что порой исчерпанность сюжета
вовсе не равняется финалу..

ALL THAT JAZZ

Дмитрию Монахову

Потерявши скрипку, по конским каким-то там волосам
не плачь. Не ищи спасенья в оркестре.
Не пеняй дирижёру. Взоры не устремляй к небесам —
не найти своё имя в запутанном том реестре.

Даже когда захлопает тебе зал
сиденьями — не спеши, не сбегай с подмостков.
Не говори: занеможилось. Не говори: устал
от всей этой музыки... Просто

выдохни. Оправь, коли есть, пластрон.
И, над мелодией скорчившись знаком вопроса,
чтобы проезжий какой-нибудь корнет-а-пистон
не сбондил глупую вот так, из-под носа,

веди её. Неважно, имеешь в виду
Аве, Мария ли, Бесаме мучо, —
пари над миром, гори в аду,
её, единственную, лаская и муча.

И когда она вырвется из губ твоих и из рук
и, презрев пространство, заменит время собою,
и не будет музыки, только звук,
и чистотой этот звук сравнивается с тишиною, —

вот тогда, перед тем, как взорвётся газ
или в бок перо или тромбом подавится ретивое,
ты поймёшь, для чего был весь этот джаз.
Суета вся эта. Всякое, в общем, такое.

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Ян Твардовский

ЖАЛЬ

Жаль что не головой в омут
что думалось осторожно
что не сразу как громом
что потом уже поздно

пусть бы теперь кругами
в передней бы шаркая
сердце будто чужое
телефоны обшаривая
ища больше чем слова

пусть от обиды больно
улыбаясь неловко
точно лев в мышеловке

остеречь бы и только
что погода идёт неважная
закат больно уж багровый
и соль стала влажной

пусть бы губы посмели
лишь подуть еле-еле
супом не дать ожечься

скудная милость
пусть бы слезами излилось
жалкое человечье

Тадеуш Ружевич

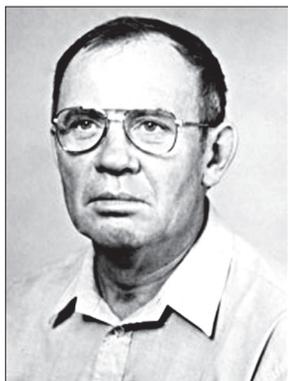
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК

день короче
солнечные часы
стоят
в этот безвременный дождь
санаторий показался из хмари
лайнера океанским
лунный проблеск
очертил колонны деревьев
омываемые потоком
плывёт санаторий
в ноябрьском тумане
колеблясь
окна гася одно за другим
во тьму погружается
в сон
только внизу
в подземелье
вовсю зажигает бес
не пугайтесь
«Адик» всего-то

ночная кафешка
что им спасенье что вечные муки
седой обладатель ребра
вылизывает жизни донышко
багровея лицом
бред горячечный здесь хороводит
смертельный танец
«um die dunklen Stellen der Frau»¹
корабль-призрак
нашёл свою мель

Перевод с польского

¹ «...в потаённых местах женщины» (нем.) – строка из стихотворения Г. Бенна «Бар».



Сергей Иванович Капитанов (1945–2014) – поэт, эссеист. Родился в г. Вологде, жил в городах Брянске и Смоленске. Автор поэтических книг «Сорок провинциальных стихотворений застойных лет» (1994), «Время перемен» (2007), «Мгновенный дар» (2010). Публиковался в центральных и региональных газетах, журналах, литературно-художественных альманахах и коллективных сборниках. Похоронен в Смоленске на кладбище возле ТЭЦ-2.

* * *

«О подвигах, о доблести, о славе»
не размышляй.
Живи, как все живут
в задёрганной реформами державе.
Кому он нужен вдохновенный труд!

Ты по возможности старайся тоже
словчить без лишних действий и словес.
Не хочешь?
Или, может быть, не можешь?
Ну что же – существуй,
Как человек.

КАНУН

Вечер жизни. Ещё не закат,
но, конечно, канун заката.
Парят землю давно те ребята,
что со мною ходили в детсад.
Не пошло у них бытие.
Вдруг не стало смысла и цели,
и они от водки сгорели,
прямо ль, косвенно ль, но от неё.
В жизни благостен каждый миг,
даже если закат уже скоро.
Мне их жалко.
Тех, для которых
безвозвратно закрыт этот мир.

ДОЖДИ

Люблю дожди я той порой,
когда они в зените лета
на яркий мир тепла и света
несут прохладу и покой.
И не в погоде суть,
а в том,
что всё живое в буйном росте.
Не зря крестьяне Бога просят
поля благословить дождём.
Дождь жизнь даёт.
Дождь кормит год
и благодать к земле низводит.
Хоть по науке он —
всего
круговорот воды в природе.

СУСАНИН

В чащобы костромского леса
они нагрянули не зря.
Прознали всё же паны-ляхи,
где русского искать царя.

И без предсмертных тоски,
под саблю подставляя выю,
сказал крестьянин
— Вам Россию
не взять, —
дороги... дураки...

* * *

Семидесятые годы.
Стройки.
Сварок огни,
как зенитки в ночи.
Строки не стали слагаться
в строфы,
как в стены здания кирпичи.

Не до рыбалок,
не до охоты,
не до гулянок,
не до поэм.
Столько было заботы-работы,
Что ночами не спи совсем.

По гостиницам
на постое,
на сон грядущий,
закончив день,
читал Астафьева,
Олдингтона,
а от Высоцкого не балдел.

Теперь та жизнь ирреальной кажется.
Как-то усталость пришла.
Полысел.
И не заметил,
что молодость канула
в небытие.
Навсегда.
Насовсем.

ЭПИТАФИЯ

Будь милосерд!
Не оскверни мой прах.
Когда-нибудь и сам ведь станешь прахом.
Живи,
пока живёшь.
Живи с размахом,
ни дня,
ни часа попусту не трать.
Здесь —
тишина, покой и пустота.
Душа витает там,
В эфирном мире,
где нет ни чувств,
ни бытия,

ни мысли,
где ирреальны дело и мечта.
Живи!
С охотой не спеши сюда:
стать вечностью всегда необратимо.
А перспектива Божьего суда —
она и здесь всего лишь перспектива.

О ЗВЕЗДЕ

Приходит род,
и исчезает род.
И неизбежность эта повторится
ещё не раз.
И Солнце излучится
и, сжавшись,
станет чёрною дырой
когда-то.
Для меня она горит,
моя Звезда —
и мне светла дорога.
И пусть моя Звезда словами Бога
с другой Звездой о вечном говорит.

БАЛЛАДА О КОМИССАРАХ, ВОЖДЕ И БОГЕ

Что в тридцатые с вами стало,
комиссары гражданской войны ?
Ни могил от вас не осталось,
Ни кладбищенской тишины.

Благо тем,
кто от пули белой
или шашки полечь успел.
Миновали их беды-победы
славных лет и не славных дел,
чей зиждитель — товарищ Сталин —
вождь великий
и иже с ним.

Что в тридцатые с вами стало?
Ясно что.
Вас в живых не стало,
комиссаров гражданской войны.

Вождь был мудр весьма и циничен.
В откровеньях, среди прочих тем,
он обмолвился как-то публично:
— Нет людей, значит, нет и проблем.

Так судить только тот сумеет,
кто, как коршун,
вспарил над людьми.
Ну а Бог ?
Бог, конечно, мудрее.
Он его наказал — детьми.

ВЕРА

В ночь пасхальную верят люди,
что воскрес мессия Иисус.
И за веру их не осудят
даже те,
в ком неверья искус.

Человечество в воскресение
свято верило тысячи лет,
что души не коснётся тление,
только тело нисходит в тлен.

Что даёт человеку вера?
Этой жизни и смысл, и цель.
Отними человечью веру —
кто он?
Атомов брэнная цепь,
как всё сущее...



Леонид Иванович Козырь (1930–1995) — поэт, журналист. Родился в городе Нежине (Черниговская область Украины). Автор ряда сборников стихов, очерков, сценариев для передач о Смоленщине по телевидению и радио. Среди наиболее известных его книг: «Ваш однополчанин» (1963), «Ливни и радуги» (1966), «Листок на асфальте» (1969), «Ярь» (1972), «Земляне» (1980), «Цвет папоротника» (1980), «Весть» (1985), «Синедоль» (1986), «Зовы» (1995). Длительное время работал в газете «Рабочий путь», прошёл путь от литературного сотрудника до заместителя ответственного секретаря. В 1980–1988 годах Козырь руководил Смоленской областной организацией Союза писателей СССР. С 1992 г. по 1995 г. являлся председателем Смоленского отделения Союза российских писателей. Похоронен в Смоленске на Братском кладбище.

ЧЕЙ-ТО ДОМ

Почерневший дощатый забор. А за ним
появляются, глаз веселя,
чей-то беленький дом,
чей-то синенький дым,
чьи-то пряменькие тополя.

Чья-то стёжка бежит от ворот до крыльца,
чуть подернутая инейком,
чуть намеченный профиль чьего-то лица
промелькнул за оконным стеклом.

Кто ты, мил человек, появись, появись,
кликни в дом, где затоплена печь,
слишком, слишком мала, коротка наша жизнь,
чтобы встречей простой пренебречь.

Появись, помаши мне рукой, а потом
и про жизнь потолкуем с тобой,
и про этот забор, и про беленький дом,
и про синенький дым над трубой.

* * *

Какие выпуклые лбы —
в них что-то есть! Вот лоб Сократа,
который вспучился горбато
от дум, встающих на дыбы.

Непостижимая борьба
немыслимых противоречий,
не чуждых сути человечесьей,
под крупной выпуклостью лба...

Планеты вспучена кора,
и кажется, планета тоже —
на лоб сократовский похожа —
о чём-то думает, мудра...

И степь в районе Барабы,
и океан, лишь с виду праздный, —
всё выпукло, шарообразно,
как человеческие лбы.

* * *

Живые от живых отцов родятся,
живых живые матери родят,
но до сих пор мне снятся, снятся, снятся
глаза убитых женщин и солдат...

А неродившимся, откуда знать им,
что и они родиться бы могли,
когда бы не бронированные рати,
что по земле не призрачно прошли...

Мне видятся растерянные лица
потомков, обнаруживших, что нет
того, кто должен был на свет родиться...
Державин? Ломоносов? Архимед?

МГНОВЕНИЕ

Мильоны лет мы не встречались —
мы были снегом у зимы,
у лета мы травой качались,
не ведая, что это — мы...

Но нам с тобою выпал жребий
людьми родиться, наконец,
узнать, что есть земля и небо
и единение сердец.

И счастливы, чьим судьбам, лицам
слиянью полное дано.
Но, к сожаленью, это длится
всего мгновение одно.

А после — никакой надежды
на встречу: бездна лет — без дна.
Не помнит снег,
кем был он прежде,
не знает, кто она.

ЭТЮД

Что стоило раскрыть мольберт
и тронуть кистью лист картона,
чтоб этот несказанный свет
сияющего небосклона
навек остался на стволах,
и на листве берёз весенних,
и на далёких куполах
неведомых сооружений,
что возникали наяву
за рощами и за полями
и устремлялись в синеву
космическими кораблями?..
Что ни рисуй, что ни пиши —
не воссоздашь и приближённо
то состояние души,

земли, берёз и небосклона...
Куда бы сердце ни рвалось,
с тех пор мечтаешь как о чуде —
о светлом, солнечном насквозь,
ненарисованном этюде.

* * *

Я сентябрьский. И осень люблю я за то,
что в лесах, перелесках и парках — желто,
что в лесах, перелесках и парках — рыжо,
краснолисто, пятнисто, сквозисто, свежо.
Обагрется быстрыми всплесками зорь
этот вербный, берёзовый, вязий простор,
одевает сенной, мёдом пахнувший дух,
от которого пьяным становишься вдруг.
Оттого ли брожу и как есть на духу
я в любви признаюсь и былинке, и мху,
и тропинке, рябинке — и той признаюсь.
Сентябри, сентябри мои! Весь сентябрьсь.

* * *

Ещё не приходилось
мне за себя трястись,
хоть в дни такие вырос —
не баловала жизнь.
А вот теперь, бывает,
на том себя ловлю,
что страх обурекает
за всё, что так люблю.
Боюсь за человека,
что бок о бок со мной,
боюсь за наши реки,
боюсь за шар земной.
Боюсь за это Солнце,
боюсь за ту звезду,
к которой нам неметя
наметить борозду.

ЯЗЫК ЛЮБВИ

Пишу на языке земли, небес —
на языке,
которым объясняются и лес
в любви к реке,
и быстрая прозрачная река —
в любви к ветле,
и медленные в небе облака —
в любви к земле,
и робкие апрельские цветы —
в любви к весне,
и ты, одна-единственная ты —
в любви ко мне...
На языке любви щемит душа —
и потому
так счастлив объясняться не спеша
в любви к нему.

* * *

Звёзды, которые в нас загораются,
в тысячу раз сильней
тех, что по небу передвигаются
капельками огней.

Вёсны, которые в нас просыпаются,
в тысячу раз дружней
тех, что ручьями перекликаются
в сини апрельских дней.

Грозы, которые в нас разражаются,
в тысячу раз сильней
тех, что в природе сопровождаются
шорохами дождей...

Знойные засухи, снежные заметы,
листьев осенний пляс
правдоподобней, явственней, памятной,
ежели это — в нас.

* * *

В брусничнике бруснику собираю,
горстями в рот кидаю и жую,
в криниченьке водицы набираю,
сложив ладони лодочкой, и пью.
Устраиваюсь где-нибудь на взгорке,
где ветерок потрёпывает чуб,
газету рву, беру щепоть махорки,
цигарку стародавнюю кручу.
А покурю — лежу, раскинув руки,
вдыхаю знойный запах медуниц,
ловя на слух, разгадываю звуки
порхающих и прыгающих птиц.
Как хорошо, сторонка дорогая,
вот так уйти, куда глаза глядят..
И только жаль, что мать не заругает,
как это было много лет назад.

* * *

Стихи читаете. А где-то
на кладбище могила есть
и скромный памятник поэту —
звезда или старинный крест.

Звучат ликующие строфы,
а в них — смеющийся поэт..
Так звёзды гибнут в катастрофах —
их свет летит мильоны лет.



Александр Геннадьевич Кокшаров – поэт. Родился в 1964 г. в г. Смоленске. Стихи писать начал очень рано, а осознанно – лет с двадцати. Первая публикация – в коллективном сборнике молодых смоленских поэтов «Смоленская крепость» (1996, автор и участник проекта). Публиковался в альманахах «Под часами», «Блонье», в московских сборниках поэтов хайку. Автор стихотворных книг «Виноватость фраз» (Смоленск, Шеремет, 2001), «Пепел времени» (Смоленск, Свиток, Библиотечка «Под часами», 2015). Живёт в Смоленске.

* * *

Старушечка-лягушечка –
Колдунья-чернокнижница,
Седая закавыжница –
Молодушка-квакушечка.

Гуляет в чистом полюшке,
Постукивает палочкой...
На гусельках сударушка
Гудит о бабьей долюшке...

Зелёньенкою лапкою
Корябает зазнобисто!..
В сосоннике убористом
Свистает камышинкою!..

Шныряет робкой мышкою,
Совой ширяет сизою...
То глянет бедной Лизою,
То рывкнет бурым мишкою!..

Старушечка-лягушечка –
Колдунья-чернокнижница,
Седая закавыжница –
Молодушка-квакушечка.

* * *

Я слышал Моцарта — он плакал!
Я слышал Моцарта — он пел!..
А век — мой век, гремел и звякал,
Кичился, тужился и ел.

* * *

Вечер тает словно птица,
Ветер в поле колосится...
В васильках гуляет дева,
Вся из лунного напева...
Смотрит дева в небеса —
Там безмерность и краса.

Коростель скрипит во ржи,
Ходит стражем у межи...
Зыбкий волк сидит в тумане,
Ждёт полуночных созданий,
Чтобы спеть им песню боли —
О сермяжной волчьей доле...

Смотрит дева на огонь...
Исчезает в волке боль.
Глянул он в седой костёр —
В глотке закипел простор!
Вскинул морду и... взлетел,
Покидая свой удел!

Ветер спит, исчезла птица...
Дева в ночь не наглядится.

* * *

Этот куст белых роз
У кирпичного дома напротив...
Сквозь решётку глядит он
В чужое, как вьюга, окно.

А за окнами споры...
Кто «за» в этих спорах, кто «против»,
Кто-то любит, а кто-то
Уже ненавидит давно.

Кто-то крепко уснул.
Ну а кто-то поёт в одиночку
Или вслух сам с собой
Разрешает конфликт затяжной,

Кто-то мучает близких,
а кто-то сгорает над строчкой,
Над холстом или нотой,
Стараясь остаться собой.

Только куст белых роз
В этот солнечный вечер июня
Равнодушен к страданиям,
Конфликтам и спорам людским.

Хочет в мутном стекле
Он увидеть тепло поцелуя
Отражённого солнца,
Чтоб дальше цвести над мирским.

* * *

— Бедный мой лапа-растяпа! —
повторяла она снова и снова.
— Бедный мой лапа-растяпа!

Д. Селинджер. Лапа-растяпа

Как убежать от одиночества, мой друг?
Как не заплакать над надежды пепелищем?
Растяпа-лапа, где твой милый круг
Друзей беспечных? Их, увы, не сыщешь...

Ни днём с огнём, ни ночью с патрулём —
Исчезли все, как чудное мгновенье...
А время мчится бешеным конём,
И холодит его прикосновенье.

Растяпа-лапа плачет в темноте...
Воспоминанья жгут, с ресниц стекая,
И птицей бьётся сердце в пустоте...
Растяпа-лапа — бедная такая.

* * *

Как сладок запах книги старой —
Такой надмирной, и усталой
От хода бесконечных лет,
От их слепого постоянства,
От беспощадного коварства,
От бреда лет, которых нет...
Листаем мы страницы бед,
Любовий, счастлих запоздалых...
Как сладок запах книги старой!

* * *

Присыпана глазурью снега грязь —
Припудрена изнанка межсезонья...
Иду по грязи, плача и смеясь,
И думая со снегом: — Кто я? Кто я?!

* * *

Искусство существует — и всё.

Уистлер

Вёрткая прядь золотистых волос
Кружит медвяной рекой...

Я замолкаю, заметивши
Вас, тихо теряю покой.

Розою алой то лето цвело —
У пустыря — в лопухах,

Пахло соломой, пылью золотой
Лето рассыпалось в прах,

Где через шпалы и кремня дурман,
Мы поспешали к реке,

И возвращались домой под закат,
Солнце разнежив в руке...

* * *

Пепел времени — горечь полыни...
Вечер осени тёмно-синий.
На кровавой калине — иней...
Свет далёких глаз, отпусти меня!..

Ветер брeмени, словно птица,
Рвётся в душу и бьёт крылами!
А вокруг чьи-то лица, лица...
Но с души не спадает камень.

Я, как уличная дворняга,
В пепле времени засыпаю...
Тают лица, как хлопья снега,
Свет далёких глаз отпускает.

* * *

Сверкал этот вечер осенний,
Как-будто промыли стекло...
Пестрядевой канителью
Мерцало и грело оно.

Я шёл, вспоминая, как в детстве
Из школы — в конце декабря
Я плёлся... и вдруг, поражённый,
Застыл — от причуды огня!..

Вся в лампочках, может, в три цвета,
А может, в четыре — не суть,
Но ёлка простецкая эта
Открыла мне праздника суть.

Не сиюминутного, что вы,
А праздника жизни, как есть.
В сверкании гирлянды еловой
Открылась мне тайная весть.

В аккорде искрящейся вьюги
И в гамме трёх скромных цветов
Струилась симфония звуков —
Волшебно поющих миров!..

Я понял всю истину чуда:
Его недосказанность — бог,
Рождающий из ниоткуда
Основу прекрасных дорог —

Иллюзии и вдохновенья,
И детского взгляда на мир...
С тех пор вести той мановенья —
Благой мой хранитель-кумир.

* * *

Сидят на завалинке деды...
Я внук их, и в оба смотрю.
А деды, в день майской Победы,
Беседу неспешно ведут...

Плеснув в два гранёных стакана
По-чуть, «Ну, давай, — говорят, —
Помянем Серёню с Захаром
И весь боевой наш отряд!»

«Последние мы с тобой, Мишка!»
«Да, Ванька, остались вдвоих!
Ти есть у тебя папироска? –
Махорки осталось на чих».

Плотнули из мутных стаканов,
Не чокаясь, и закурив,
Молчали, и плыл над бурьяном
Дымок, а они, опустив

Вниз головы, как дым седые,
Вдруг тихо запели вдвоём...
А я, пацанёнок, впервые
Заплакал незнамо о чём.

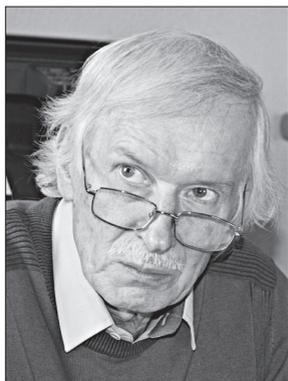
Сидят на завалинке деды...
Я внук их, и в оба смотрю.
А деды, в день майской Победы,
О чём-то так горько поют...

НА СМОЛЕНСКОМ Ж/Д ВОКЗАЛЕ

Но в тонких ветках рельс, растущих к горизонту,
Но в мареве мазутном ржавых шпал,
В густой тоске карминного заката
Ты вдруг почувствуешь, как долго-долго спал...

И синие огни в разъездах стрелок,
Платформ, путей, вокзальной маеты –
Всё это ты, от пустоты подделок
Бегущий за созвездием мечты.

Под шелестящий перестук металла
Летят дорог бродяжные огни,
И ветер странствий рвётся за началом,
Сметая засыпающие дни...



Виктор Васильевич Кудрявцев — поэт, журналист. Родился в 1958 году в д. Капустино Руднянского района Смоленской области. Автор книги стихов «Тварь беззащитная» (2001; 2004; 2007; 2016). Составитель антологий: «Невод» (русская поэтическая миниатюра; в 2-х томах), «Круговая чаша» (в 5 томах), «Белая лира», «Дальние берега», «Кипарисовый ларец», а также поэтической библиофильской серии «Серебряный пепел» (в 30 томах). Печатался в журналах «Новый мир», «Арион», «Юность», антологии «Лучшие стихи 2013 года». Лауреат литературных премий им. М. В. Исаковского, А. Т. Твардовского. Руководитель литературного объединения «Современник» (г. Рудня) с 1996 г. . Живёт в городе Рудне Смоленской области.

* * *

Опять Победа. Но без мамы,
Ее кургузого плаща,
Косынки, вянущих тюльпанов...
(«Умаялась, пока дошла!»)

Опять нестройный залп салюта.
Шульженко. *Витька с Моховой.*
И бесконечная минута
Над непокрытой головой.

...Мерцают на могилах свечи:
Андрей, Настёна, дед Иван...
И расправляет мёртвым плечи,
Как в 41-м, Левитан.

* * *

Синицы пропали. И люди пропали.
И белые груди к окошку припали.
И в комнате стало темно и уютно.
Я помню тот день за минутой минутой.
.....

Синицы пропали. И люди пропали.
Тонули в сугробах молочные дали.
И мальчик в худом, затрапезном пальтишке
Прижался к олешине зябкою мышкой.

Синицы пропали. И люди пропали.
И к вечеру буря утихнет едва ли.
И мальчик бежит, под горою помешкав,
На зыбкую точку – по вешкам, по вешкам.

Синицы пропали. И люди пропали.
Сначала, прижавшись друг к другу, молчали,
Потом – растирали ладони до хруста,
Смеялись. И пахло волнительно-вкусным...

.....
Синицы пропали. И люди пропали.
Как холодно маме в её одеяле.
Укрой же, Господь, сиротливость ночлега
Спасительным, чистым Рождественским снегом.

* * *

«Без меня вам трудно будет, детки», –
Повторяла перед смертью мама.
...Уходил во двор, стыдясь соседки, –
Сколько можно, – как с ребёнком прямо!
Обойдусь без причитаний длинных
(Позади, считай, полжизни с гаком).

...Липла к сапогам слепая глина.
Выла за бугром, в селе, собака.

Прожит день, пустой и неуютный,
Мается вдовцом холодный вечер.
Мать встаёт из гроба на минутку:
Мальчику накинуть плед на плечи.

* * *

Якушкино. Минькина гора.
Гладкино и Шестаково поле.

Детства беззаботная пора.
Жаркая лапта на косогоре.
Песни баб тягучие, как мёд,
Аромат антоновки и мяты,
Ласточек неудержимый лёт
Над стрехою материнской хаты.
Тёплая полуденная пыль
Разомлевших безымянных улиц,
Дяди Коли стоптанный костыль —
Пьяная гроза соседских куриц.

.....
Было. Сплыло. Ни людей, ни хат.
Время образцовой обезлички.
Горькою усмешкою звучат
На руинах свежие таблички:
Школьная, Садовая, Труда,
Зерновая, Выгонная, Счастья...
Кланяется в пояс лебеда,
Следом иван-чай кивает: «здрасьте!..»
У плетня — консилиум старух:
«Всё ль разворовали, оглоеды?».

...Накрывает лёгкий смертный пух,
Как простынкой, *улицу Победы.*

* * *

Импровизированный рынок.
Старухи. Мухи. Требуха.
От снedyю пухнувших корзинок —
Густые запахи греха.

Сожжённое закатом небо.
В углу — знакомый силуэт.
Несёт ломоть ржаного хлеба
К губам, как в юности кларнет.

Узнала или не узнала?
«Мужчина, ливерку берём?!»
Как в этой... той осталось мало,
А всё же бьётся в горле ком.

Стою. Гляжу на руки в саже:
След от кольца, в морщинах грязь
(Я, помню, целовал их даже).

И у неё не удалась...

* * *

Ночь без тепла. Весна без снега.
На небе — половодье звёзд, —
Как в зябком поиске ночлега
Слепое шевеленье гнёзд.
Древнее кораблей Гомера
Вся их бесчисленная рать.
Но что мне Вега иль Венера,
Коль и во сне их не обнять.
Смотрю на палевую точку:
Костёр в ночи? Или луна
Льняную девичью сорочку
Полощет в проруби окна?

* * *

*Меня хранили женщины и ливни,
Пройдя, не оставлявшие имен.*

В. Ерёменко

Лежу и думаю о разном,
Хотя, наверно, об одном:
Смогу ли быть таким же праздным,
Когда предстану пред Судом,
Когда язык присохнет к глотке
И станет липкою спина?
Ведь будет разговор коротким
Пред тем, как получить сполна

За лень, за стыд, за любострастье,
Сомнений тяжкие грехи...
Ну что ж, — мы все в Господней власти.
Но я зато писал стихи
И проживал чужие жизни,
Всю боль беспмятных времён,
Молясь в поруганной отчизне
За неоставивших имён.

* * *

Четвертый раз проходит
Под окнами старик:
Сутулый. Трезвый, вроде.
Индюшечий кадык.

Обветренные скулы.
Сухой пергамент щёк.
Что я привстал со стула,
Ему и невдомёк.

Он шаркает ногами,
Он загребает снег.
Не усидел в бедламе?
Иль потерял ночлег?

С какой-то тихой думой
Скрываясь за углом,
Старик молчит угрюмо,
Ему общаться влом.

...Снежинок бойких улей.
Вечерних улиц медь.
А мне уже на стуле,
Боюсь, не усидеть.

Появится ль? во сколько?
Старик из-за угла.
(Не раздавить бы только
Холодного стекла.)

...И, шаркая сторожко,
Торя свою межу,
Под тёмное окошко
Опять я выхожу.

* * *

Не надо просыпаться по утрам,
Чтоб было стыдно за вчерашний вечер,
Уродливые бройлерные плечи
Случайно подвернувшейся мадам.

Не надо просыпаться по утрам
С наивной верой в модную «Импазу»,
Когда ни два, ни полтора, ни разу..
А интеллектом не искупишь срам.

Не надо просыпаться по утрам,
Давиться вновь китайским «Блендамедом»
И подносить хлеб-соль всё тем же бедам
В облезлой майке с надписью Ван Дамм.

Не надо просыпаться по утрам.
И по ночам. И вообще – не надо,
Когда ведут доверчивое стадо
На скотобазу, словно в Божий храм.

Не надо просыпаться по утрам...

* * *

А вечно только зло.
Ну, может быть, разлука.
Опять белым-бело.
На кладбище – ни звука.
На кладбище – покой
(С картины Левитана).
И хлебушек ржаной
Над полыньёй стакана.



Леонид Алексеевич Кузьмин — поэт, переводчик. Родился в 1947 году в Москве. Автор поэтических книг: «Я к жизни прикоснулся нежно» (1997), «Ускользящее время» (1999), «Транзит судьбы» (2002), «Дорога» (2004), «Мой мёд последний» (2005), «Такая осень» (2006), «Избранное» (2007), «Всё ещё впереди» (2007), «Колодцы» (2011), «Звенья» (2017). М. Фейнсон «Смоленск под властью Советов (1995) — перевод с английского. Участник коллективных сборников. Его стихи помимо Смоленска издавались в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, а также за рубежом: в Болгарии и Польше.

* * *

Был счастлив я очень.
Любил. Был любим.
Но тихую ночью
Рыдал, чуя дым
Далёких пожарищ.
Грядущей войны,
Где жизнью заплатишь
За миг тишины.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Ещё не прибрано в душе,
Хоть мне в укор прозрачны дали,
И осень, генерал-аншеф,
Наводит лоск на эполеты и медали.
Грозит с инспекцией прийти,
В своих штабах изрядно наскучавшись,
Чтобы налить нам щедро по пути
Дождей намоленные чаши.
Ну а пока, подсолнух перезрелый,
Светило наше сеет щедро
Свои тяжёлые лучи, —
Поэт, твоё настало дело:
Пиши, до времени молчи,
Пока стихов не взбухнут недра!

* * *

Жёлтыми утками на воде —
Усталые листья каштанов.
Об осени, как об общей беде,
Думаю я непрестанно.
Ах, Лира, Денеб, Альтаир,
Ваш треугольник — как клин журавлиный,
И Пушкин осенний зачитан до дыр
Меж клёнов горящих и свечек-осинок.
Но зиму пока ещё рано встречать
И рифмы рядить её камуфляжем.
С листьями я отправляюсь гулять
По паркам пустым и по пляжам.

ВРЕМЯ

Делится время:
«До», «Сейчас» и «Потом».
Делится время:
Три волны за бортом. —
«До» убегает, «Сейчас» набегаёт.—
Ну, а «Потом»? — Вон, та высота. —
Надо заняться починкой борта!

НАД ПОСЛЕДНЕЙ КНИГОЙ РАИСЫ ИПАТОВОЙ

1

Я листаю, листаю, листаю...
Я летаю, летаю, летаю:
С высоты видней — ты жива,
Так свежи, так прекрасны слова!

Что ж, живи. Ничего не итожь.
Дверь открыта, и сердце тож.—
Потому всегда заходи.
У тебя теперь всё впереди!

— Здравствуй, Чудо!
Ты откуда?
Ты откуда и куда,
Слов прозрачная вода?
— Я бегу с горы высокой.
Смотрит там небесно око,

Как живут-текут слова,
Вот бегу, дыша едва.
Может, кто-то и прочтёт,
Иль ручей мой перейдёт...

ОКНА

Стоят дома. И окна смотрят
На нас, несущихся — мельком.
Зимы белила, осени ли охра,
Или весны и лета зелень с ветерком...
Но знаю, что на свете нет печальней,
Внимательнее этих мудрых глаз. —
Так матери глядели изначально
На только что родившихся — на нас;
На нас, добившихся успеха,
Поднявшихся до самых до небес.
Высматривали тех, кто не приехал,
Кого уж нет, кого попутал бес...
Рыдали окна от войны и от пожаров,
От свадеб неудачных и от похорон,
От голода, когда земля лишь боль рожала.
Вы для меня — подобие икон
В киотах пыли и дождей ненастных,
В наличниках, как женщины в платках.
В любой ночи на свет ваш ясный
Идём, летим — кто по земле, кто в облаках.

ИВА

Игриво ива извивала ветвь,
ведя к воде свои извивы,
нацелившись в зеркале разглядеть
беду девичью: да, красива,
да, столько соткано стихов,
да, в зорях отзвенело столько песен!
Но вот итог у нас каков? —
Ты, ива, счастлива? — Ах, если б!

* * *

Я — старый ветер, знающий в лицо
Младые облака, летящие беспечно.
Я — поздний путник, восходящий на крыльцо.
Я — звук неясный из забытой речи.
И жизнь давно уж обрела свой смысл,
Который мне и добрым людям ведом. —
И он не в том, что след свой проторили мы,
А в том, чтоб кто-нибудь пошёл по следу.

* * *

Стало трудно ходить — летай.
Стало трудно летать — плыви.
А приплыл — не спеши умирать,
Подожди, подыши, поживи!

ГОРОД

Твой город там, где ты не одинок —
Совсем не там, где башни или стены.
Твой город там, где каждый уголок
Теплом друзей свою измерил цену.
Твой город там, где памяти твоей
Есть где бродить и где остановиться...
Понять, что город создан из людей —
Не из камней, стекла и черепицы!

КЕМ РОДИТЬСЯ, ИЛИ О ЕДИНСТВЕ ВСЕГО СУЩЕГО

Бог решал, кем мне родиться:
Журавлём или синицей;
Негритёнком, китайчонком,
Мальчуганом иль девчонкой;
Змейкой, рыбой или крабом;
Лопухом иль баобабом;
Мухой, тигром, скарабеем;
Стингом, Кассиусом Клэем;
Злым уродцем, доброй девой,
Иль английской королевой!

БУКВЫ И ПОЧЕРКИ

Исчезли почерки, забыты буковки,
Которым нас детсад и первый класс
Учили к праздникам, учили буднями,
И по которым, как в лицо, все знали нас.
Теперь печатаем... Стрекочут клавиши.
Повсюду электронное кольцо.
Утерян навсегда наш навык давешний:
Все электроны — на одно лицо!

ДОМ

Как скучен дом без скрипа половиц,
Без хлопанья дверей и крыльев птиц,
Без муравьёв и без мышей,
Без визга резвых малышей,
Без стёкол вдрызг и без кривой трубы,
Ну а ремонту — если б, да кабы...
Я у друзей гостил, бежал потом:
Я видел чистый, мёртвый дом!

* * *

Мои давние, дымные, дружные,
Час-другой на сон — поезда.
Чаще восточные, реже — южные.
И все живы мы были тогда.
Молочком пахли дали вечерние,
И стелился дымок голубой.
Каждый третий был виночерпием,
А «домой» означало «домой».
Но веселью Россия не верила,
Как игрушкам порой детвора.
Поездами все дали измерила:
Вот: сегодня — завтра — вчера...

* * *

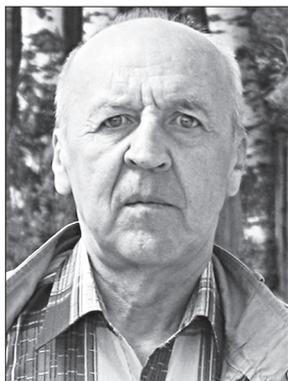
Нет ничего страшней погасших звёзд.
Черней нет дыр на месте их сиянья.
(И лишь комет павлиний хвост
Чуть оживляет бездну мирозданья).

КОЛОДЕЦ

В тот кладезь слов, что нам достался от великих,
Я с боязливым обожанием смотрю:
Не замутишь бы влаги чистой блики,
Не разменять бы бриллианты по рублю!

* * *

Пишут, пишут о поэте
И пугают нас порой
Знаньем о его рассвете
И о том, где был герой.
Но поэт о том не знает,
Не читает — вновь рассвет!
Лист, как чёлн, в волнах мелькает
И, как парус, замыкает
За собою зыбкий след...



Владимир Владимирович Лавров — поэт. (1951–2014). Автор поэтических книг: «Смутное время» (1995), «Чёрная вишенка кровь...» (1997), «Песни с той стороны» (2005). Поэтические переводы в кн.: «Поэты Варшавского восстания» («Полония», Гатчина, 1996). Публиковался в журналах: «Аврора», «Нева», «Арион», «Москва», «Крешатик» (Германия — Россия), «Настоящее время» (Лондон), еженедельнике «Новое русское слово Леекепс!» (Нью-Йорк) и др. Участник коллективных сборников. Похоронен в Гатчине на кладбище в дер. Старосиверской Гатчинского района Ленинградской области.

ПОЗДНО

Мне бы снова уехать в горы...
Там ведь небо поближе и звёзды.
Только ком застревает в горле —
Поздно...

Эта липкость из грязи и снега
Уцепилась, впивается в ногу.
Тонет в ней мечта о побеге
К Богу.

А побегу невзрачных растений
Ждут весеннего клича, команды
Возродить под листьями тени
Веранду,

На которой приятно грезить
О прошедшем счастье, в котором
Не осталось меня ни Крезом,
Ни вором.

И с упором взирает небо
На меня, как врастаю в слякоть.
И так хочется взять и нелепо
Заплакать...

НОВЫЙ СЕЗОН

Над городом дождь, скоро мой день рожденья,
Но кажется – смерти. И в этом резон,
Естественно, есть, ибо тянет на сон,
И так непонятно: и кто я, и где я...
И обувь сносилась в мой новый сезон.

Какой ты, сезон сизокрылого неба?
Где пахнет могилой цветущий жасмин,
И дует в кларнет темнокожий джазмен
Из прошлого века, согнувшись нелепо
Во весь монитор, и погашен камин...

Сезон за сезоном, но в те промежутки,
Что выпали мне для спокойного сна,
Врывалась бессонница злобно и жутко,
Вливала мне в глотку до боли в желудке
Горячую смесь из тоски и вина...

Я умер в тот день, когда вскрикнул в роддоме,
Но тело моё удержали врачи.
Младенец-душа до сих пор ещё в коме,
Но снова запой у Петра, и ключи
Потеряны им в беспробудной ночи...

А новый сезон без просвета – безбожье,
А бес-искуситель, бес-сонницы брат,
Сидит под иконой и строит мне рожи,
А небо провисло сырою рогожей,
А город опять сиротлив и горбат.

И чужд, как портянка из прошлого века –
Влезает в сапог по команде: «Подъём!»
Всё те же река и фонарь, и аптека,
И жирная муха садится на веко
Горячего трупа, почти человека,
Который не может уснуть даже днём...

ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЁТА

Разговоры ветра с полем,
С перелеском на пригорке...
Я неизлечимо болен
Запахом сирени горьким,
Пеньем птиц и облаками,
Что зовут в глубокий омут
Поднебесья — взмах руками
И взлетел! Они ведь помнят,
Как в прошедшем, невозможном
Были крыльями, и ветер
Наполнял их сладкой дрожью.
Нет прекраснее на свете
Ощущения полёта
Над затерянным пригорком.
Дым сирени сладко-горький,
Шёпот ветра, птичий клёкот...

РУБИКОН

Свою жизнь пережил — Рубикон
Перешёл, нет пути назад.
И печальны глаза икон,
И суха винограда лоза.

И бреду босым по камням,
Истираю плоть свою в тень,
И не греют костры меня,
И не знаю, где ночь, где день.

Шелестят ещё губы, но
Их не слышит уже земля.
На её ладони лишь тля —
Ей такой быть от Бога дано...

ЕДИН

Имя тебе – Един
В море тоски бескрайнем.
Очи свои прогляди,
Но не увидишь рая.

Сумрачны эти дома,
Изображая город.
Можно сойти с ума,
Вдохом попробовав морок,

Марево, гарь и смог –
Сможешь ли выжить после?
Маленький серый ослик
Чешет о столбик бок.

Сверху взирает Бог...

ОХОТНИК

Самого себя загоняя в угол,
привыкаешь к азарту. Охотника рог,
возбуждаясь, поёт и впивается в губы,
словно не кровь на них, а грог.
Успеваешь крикнуть: ату-ату его!
рассыпаясь телом на свору собак,
отчаянно лающую в этот латуневый
полурассвет-полумрак.

Зайчишка души умирает от ужаса
настигающей тяжести, но не умрёт
ещё долго, петляет и кружится,
а потом затихает в углу и ждёт,
сжимаясь в крошечное сердечко,
задыхаясь в удушье тягучей тоски,
перед тем как зеркальный злой человечек
расстреляет его не целясь, навскид.

Если жизнь — это грех, как сказал мне Гофайзен,
почему же тогда ожиданье конца
не приносит радости и так безобразен
чёрный ход в пустоту, где сидит у крыльца
маленький злой человечек-охотник,
и так долго целится в собственный лоб,
что собаки устали и спят в подворотне,
а чёрный заяц забился в сугроб...

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ»

* * *

Опять дождю стучать под вечер,
собаке — лаять...
И мне заняться больше нечем,
как слушать память...

* * *

Так неохотно болеет зимой
город, который уже не мой.
Я онемел в нём и мёрзну.
Поздно — свернул не туда трамвай,
и умерла под снегом трава.
Поздно...
Поздно теперь будет всегда,
разве что вспомнится иногда
лето.
В сказки не верю: жизнь — это ложь,
и ничего с неё не возьмёшь,
только слышится летний дождь
где-то...

* * *

Я слышу музыку Творца.
Она зависла над проспектом,
А воздух изменяет спектры,
Густея возле стен дворца.
Я уезжаю — мне привычно
Уйти в свой тёмный беспредел,
Но этот северный столичный
Аккорд кариатидных тел
Мне будет долго-долго сниться,
Больную душу бередить.

Жаль — не дописана страница,
В которой я пытался жить...

БОЛЬНИЦА

Больница — боль, а Ницца только снится.
Здесь не гостиница «5 звёздочек», а так —
Ночлежка для бомжей, бедлам-барак,
Где обитают экспонаты-лица,
Хранящие следы боёв и драк.

Бинты и гипс, зелёнка и короста,
И синяки, и стоны по ночам.
И скука без зрачков в глазах врача,
И новый пациент двойного роста,
И медсестричка-ангел у плеча.

Страна моя! Твои сыны в загоне!
Я жив-здоров, опять лежу в больнице.
Когда я сплю, мне снится город Ницца,
Морской прибой и шарик на ладони,
В котором лучик солнечный искрится,
Но снова кто-то за спиною стонет,
И белым ангелом летит к нему сестрица...

ВТОМ ГОРОДЕ

Я въезжаю в твой город, в роман с продолжением —
Сколько лет я пишу тривиальный сюжет..
Здесь развязки не будет, а только скольжение
Неприятной души вдоль построек Баженова,
Где когда-то стрелялся поручик Кижее...

В этом парке ветрами колышутся тени,
Патрули не пытаются их задержать.
Если тихо вдруг станет, услышишь ты феню,
Ворожбу воробьёв и тревожное пенье
В темной церкви, где ждёт благодать.

Только что мне отдать этим улицам и переулкам?
Свою горечь тоски по обычной жизни земной?
А душа закричала — ещё неумело, но гулко,
Испытав на себе вождения гибельный зной.
А трамвай зазвенел за спиной.



Александр Сергеевич Лучин – поэт. Родился в 1959 году. Стихи публиковались в коллективных сборниках: «Портрет времени», «Смоляне – Пушкину», «Смоленская лира – антология XX век», «Годовые кольца», в журналах «Годы», «Вдохновение», «Природа и человек XXI» (Москва), «Книжное обозрение» (Москва), в альманахе «Под часами» и в других периодических изданиях. Александр Лучин – автор поэтических сборников «Витогож», «Краснотал», «Страна колокольной капели». Лауреат литературной премии им. М.В. Исаковского 2017 г.

ЗАСТАВА

Возвожу из стихов Заставу,
Тёмным силам я ставлю Заслон.
Чтобы строки, согласно Уставу,
Как солдаты сражались со злом.
Против подлости, зависти, скверны
Ощетинились рифмы-штыки.
За Любовь, За Надежду, За Веру
Бились насмерть Святые Полки.
А когда ударяет тревогу
Безошибочный Сердце-Набат,
Обращаюсь за помощью к Богу,
Чтоб прислал мне Небесных Солдат.

* * *

Кто ты, жизнь моя креативная?
Песня, танец или триптих.
Фильм, избитый ненужными титрами,
Или кровью написанный стих?

Говорят: жизнь на зебру похожа,
Но тигрице подобна моя.
Изрубцована нежная кожа
Разноцветным кнутом бытия.

Мне писать бы поэмы верлибром,
Но пишу я, рифмуя, эссе.
И корёжатся буквы, как фибры
На измызганном жизнью листе.

Надрываются строки, как нервы,
Запятые подобны когтям,
Рифмы-зубы, куда до них зебре —
Я порой не справляюсь и сам.

Жизнь-тигрица свирепая, рыжая,
Не пойдёт, словно конь в поводу.
Всё равно в схватке с хищницей выживу,
Если даже к ней в пасть попаду.

* * *

— Колдунья!
Ведьма!
Сатана! —
Толпа озлобленно кричала. —
Виновна в бедах всех она!
Ей даже смерти будет мало!

Но вдруг
Раздался детский плач.
Толпа отпрянула неволью.
И передёрнулся палач,
И поднебесью стало больно!

Худой, голодный и босой
Ребёнок шёл по снегу к ведьме.
И карамелью ледяной
Кормил его холодный ветер.

Она стояла чуть дыша,
Толпе в глаза смотрела прямо.
Вот к ней малютка подошла,
С улыбкой вымолвила:
— Мама.

Пронёсся шёпот над толпой.
Колдунья, взяв дитя на руки,
К себе прижала:
— Милый мой,
Ты не увидишь больше муки!

И с ним взошла на эшафот:
— За что? —
Она людей спросила.
А из толпы кричал урод:
— За то,
Что ты лицом красива!

* * *

Правда,
Как бездомная собака,
В поисках приюта
Сбилась с ног.
Все её жалеют
Но, однако,
Многие
Не пустят на порог.

* * *

Праведную русскую равнину,
Светлую украинскую степь
С пущей Беловежской воедино
Навсегда связал священный Днепр.

Черёмухи белая кипень
Цветёт над Купелью-Днепром
Москва, Белоруссия, Киев —
Славян православный дом.
Славян триединый дом.

Много раз крушить тебя пытались,
Истребить, стереть с лица земли.
Неделима Троица Святая—
И семью славян не разделить.

Черёмухи белая кипень
Цветёт над Купелью-Днепром
Москва, Белоруссия, Киев –
Славян православный дом.
Славян триединый дом.

Для врагов твои закрыты двери.
Для друзей ты трижды побратим.
На Днепре, на монолите веры –
Дом славян, Господь, благослови.

* * *

На Славянской дубраве дожди –
Бьют бездушные струи упрямо.
Не размыть им святого пути
К всенародно заветному храму.
Киев, Полоцк, Смядынь и Соров,
Альта, Радонеж, Днепр и Крещатик.
Душу русскую лечит любовь,
Исцеляет от бед и несчастий.

Не вырубить вовек Славянской рощи,
Не выкорчевать святости берёз,
Покарастают корни в берег отчий,
А на ветвях – селенья птичьих гнёзд.

А над Русской дубравой ветра
Буреломами стелют лежнёвку.
Не смолкает там стук топора,
Непрерывно стреляет винтовка ...
Ржев, Даманский, Назрань, Кандагар.
Боль Дубровки и слёзы Беслана.
За смертельным ударом – удар
За кровавою ранюю – рана.

Не вырубить вовеки Русской рощи,
Не выкорчевать святости берёз,
Покарастают корни в берег отчий,

А на ветвях — селенья птичьих гнёзд.
Над Российской дубравой собор,
Перезвон тишины не нарушит,
Точит недруг жестокий топор —
Не срубить, словно дереву душу.

Вера, Доблесть, Отвага и Честь,
Благородство и Дух героизма...
Над Россией священная песнь
Раздаётся во Славу Единства.

Не вырубить вовек Российской роши,
Не выкорчевать святости берёз,
Пока вырастают корни в берег отчий,
А на ветвях — селенья птичьих гнёзд.

* * *

Среди
 глубокой
 полночи,
Забыв
 о сладком
 сне,
Вдруг
 взмолится
 о помощи
И придёт
 ко мне,
Как солнышко
 осеннее,
Как радостная
 новь,
Предзимняя,
 последняя,
И всё-таки —
 любовь!

* * *

Лебеди летели в дальние края,
Улетела с ними милая моя.
Унеслась, как птица, в розовую даль,
Промелькнула в поле голубая шаль.

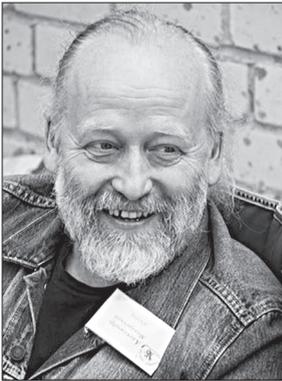
Я за нею следом улетел бы тоже,
Но к чему былое попусту тревожить?
Отцвели, созрели, облетели вишни.
В лебединой стае я для милой лишний.

Кто утрату ведал, тот о ней не спросит,
Ведь всегда за летом наступает осень.
Но до снегопада время ещё будет.
И меня, быть может, кто-нибудь полюбит.

Но по песне прежней я тоскую всё же,
Я уже не стану на весну моложе.
Иволгой над речкой прошлое поёт ...
Что когда-то было, больше не придёт.

* * *

Радостью в ночи сияют лица.
Жёлто-фиолетовая тьма
Расплескала лунную палитру
По объятням, нас сведя с ума.
Постелила гамму звёздных красок,
Для любви взаимной и большой.
Как в цветах, ты утопаешь в ласках,
Мной любима и хранима мной.
Льётся нежный поцелуйный ливень.
Небеса поют влюблённым гимн.
Охмелев от слов моих счастливых,
Шепчешь ты, как я тобой любим.



Александр Олегович Макаренков – поэт, бард, прозаик, художник, журналист. Родился в 1962 г. в г. Сафонове Смоленской области. Автор книг «Монологи межсезонья»(1993), «Лабиринт “М”» (1996), «Когда умирает снег» (1997), «Двенадцать писем к Еве» (2000), «Утренний свет» (2002), «Путешествие» (2003), «Праздничная женщина» (2007), «Дюжина» (2009), «Накануне Рождества» (2011), «Путешествие с пером и кистью» (2012), «Срезы времени» (2014), «Пятак» (2016). Печатался в смоленских СМИ, центральных журналах и альманахах Казахстана, Украины, России, Сербии. С 2005 года живёт в г. Раменское Московской области.

ЛЮК

Арчи. Так его назвали родители. Уж очень им хотелось, чтобы ребёнок имел необыкновенное и звучное имя. Тем более, оно весьма неплохо сочеталось с родительскими Луником и Даздрапермой. Если с маминым именем всё понятно и прозрачно, оно трактуется как – Да здравствует Первое мая, то с папиным вышло несколько сложнее. Расшифрованная аббревиатура гласит: Ленин умер, но идеи крепнут. Так и получился Арчибальд. Не расшифровывается никак, но зато – звучно, красиво, мужественно и слегка отдаёт заграницей. Родители, правда, не шибко думали о взрослом наречении отпрыска: Арчибальд Луникович – поди – выговори. Язык сломаешь. Равно, что, к примеру: Домна Евстафьевна. Так и просится на вариант Дом Гестаповны. Потому, видимо, к нему с малых ногтей прилипло короткое, ёмкое и понятное сразу – Арчи. Вроде – кличка. А если подумать – самое настоящее имя...

Он слонялся по ночному городу. Вокруг всё реже пролетали авто с больными и подвыпившими седоками. Осень подошла к финишу, редкие кучки палых листьев встречались всё меньше. Днём их сгребали в мешки, увозили за самые дальние дома города – на полигон. Пока эти нечастые холмики привлекали внутренним теплом, предлагали ночлег таким бездомным, как Арчи. Именно в лёгком шорохе разноцветных трупиков можно скоротать тёмное время суток и не замёрзнуть. В них Арчи провёл несколько последних ночей.

Настоящая беда, когда зима вступает в свои права. Холод ползёт по воздуху, по земле, вдоль стен и заборов. Он напоминает неотвратимое зло. От него сложно укрыться или спрятаться. Его можно только пережить. Но каждый раз приходится пускаться на всевозможные и невозможные уловки: то прижиматься к теплотрассе в неприметном уголке, то находить заброшенные дома, проникать в предбанники котельных, подвалы... А, по много-

численным слухам и предположениям, нынешняя зима предстояла суровой и затяжной. Требовалось думать и искать новые варианты для выживания. Один из выходов — им пользовался один из добрых приятелей Арчи — забраться в бакалейную лавку — наестся до отвала, а там можно и в кутузку. Зима пройдёт на казённых харчах, в тёплом местечке. Разве этого мало?! Но так поступить ему не позволяла совесть. Откуда-то в крови существовало это странное понятие, определение или чувство. Или — всё вместе взятое?

С детства Арчи понимал, что самые дорогие в жизни штуковины: жизнь, любовь и свобода. И все они стоят невероятно дорого! Первое даётся неожиданно, порой случайно даже и отнимется в одночасье, врасплох, бесповоротно. Второе сладостно кружит голову, радует, болит, мучает, доставляет мириады разнообразных ощущений, приходит ошеломляюще. Проходит время, и любовь странным образом у кого-то теряется в складках пальто или вместе с кольцами, запонками. Но кому-то до самого последнего вздоха позволяет дышать ароматами счастья и нежности. Эти два счастливилика потратили массу сил, смогли сохранить самое важное чувство — прошли по жизни рука об руку и даже последний выдох сделали вместе. Третье — невероятно мощная и привлекательная категория. И нет ещё на свете таких денег, за которые покупаются или продаются эти три вещи. За любовь и свободу многие отдали самое драгоценное — жизнь. Хотя... кому-то шелестящие купюры и звон монет важнее и нужнее. Но они, как царь Кощей, над золотом чахнут... Арчи ценил всё. Только вот сейчас искал возможность перегнуть зиму. Банально — выжить, чтобы уловить первые запахи весны. Они будут прятаться под снегом, но в воздухе уже появится волшебный запах...

Когда-то неизвестный старик рассказал им, дворовым малышам, сказку про тёплый люк. Да-да, простой металлический люк с логотипом завода, что произвёл на свет эту фантастическую штуковину, спас старику жизнь. В тот миг, когда холода сковали оконные проёмы своими узорами, реки укрылись толстым слоем льда, а улицы городов завалило снегом, старик — тогда ещё вполне себе привлекательная личность — готовился к смерти. Спрятаться от непогоды оказалось некуда. Он тащился по продрогшей мостовой, клацал зубами, прижимался к стене подворотни и — вдруг уловил запах тепла. Оно поднималось несколькими струйками из круглой темноты. Старик подошёл, пригляделся. Он понял, что это — шанс выжить. Единственный. Последний. Он свернулся калачиком, лёг и согрелся. Силы постепенно вернулись к нему. Днём он мотался по помойкам и дворам в поисках еды, а к вечеру возвращался к люку. Так он не просто дождался тепла. Выжил!

Арчи вспомнил эту историю, когда сил таскаться по городу не осталось. Он собрался духом, заставил тело двигаться в поисках спасения. В голове коротко пульсировало одно слово: «Люк-люк-люк». Он должен был отыскаться хотя бы потому, что у Арчи не осталось ничего, кроме жизни и свободы. Любовь кончилась душераздирающе неожиданно. Затерялась в одном из миллионов блочных домов. Внутри Арчибальда осталась пронизывающая боль,

безумная, со слезами, которые он глотал вместо воды. С разорванным нутром — кровоточащим, незаживающим — бездомный семенил по улице.

Снег наступал не только на пятки — он устилал поля, леса, города, крыши, небо. Белые мухи обращали вчерашние живописные холсты в графические листы — скупые, чёткие, несколько дьявольские из-за правильностей горизонтали и вертикали. Но вера, что где-то непременно должен быть этот спасительный металлический круг, вела вперёд! Арчи бегал, чтобы согреться. Уставал. Переходил на шаг, переводил дыхание, снова ускорялся. Силы таяли. Они уходили, струились откуда-то из грудины вниз. Стекали в ноги и уходили в мёрзлую, мёртвую землю.

Ближе к утру, обессиленный, он забрёл в проулок возле старой бани. Здесь обычно никто не задерживался. Ни фонарей, ни рекламных огней — в темноте сломать ноги можно. Прохожие торопились, особенно зимой, поскорее миновать мглистое пространство. Но именно здесь Арчи обнаружил искомое! Люк! Он чернел посреди пространства ровно сбоку от остатков тротуара. Он источал спасительное тепло, которое, показалось, имело специфический запах жизни, надежды и даже счастья. Арчи рухнул на люк. Снизу в него стали проникать светлые нотки возвращения к жизни. Он осмотрелся вокруг. Лёгкий белый пух медленно вальсировал в грозной черноте неба. Он стремился вниз, ласково обнимал за плечи Арчибальда, укрывал, укутывал, согревал.

— Свезло не только старику, но и мне. — Арчи закрыл глаза. Дрёма накатила лёгкой пеленой. Круглый, дырчатый шар луны вынырнул из-за домов, добавил света городским фонарям. Довольно быстро он стал подниматься выше, оттого становился меньше, напор его света слабел, но протягивал пальцы даже в укромные уголки. Он выхватил в проулке возле старой бани Арчи, который сладко спал на старом канализационном люке, произведённом уже несуществующим заводом ещё в позапрошлом веке.

К утру снег окончательно укрыл землю. Зима, действительно, оказалась морозной и затяжной. Но весна пришла в нужный срок. Она растопила белила, взялась за палитру и вернула земле всю её прелесть. Впрочем, так происходит не одну тысячу лет.

Я шёл по проулку возле старой бани. Радовался свежим запахам, они порхали, словно бабочки и стрекозы в тёплый день, но были такими крохотными, что распознать их оказывалось не просто. Солнце пригрело холмы. На их макушках охрилась прошлогодняя трава, из-под которой уже вылупилась мать-и-мачеха. В свежих проталинах ручьи звенели на все лады. У самого тротуара, где в тени ещё лежали снежно-ледяные глыбы — грустные, почерневшие — на металлическом канализационном люке лежал пёс. Казалось, он только что уснул...

«Как же звали тебя, бедолага? Видать, хотел согреться и выжить, а не вышло...» — Я представил себя вот так — на люке, сглотнул слёзы, развернулся и пошёл за лопатой.

* * *

Вольный ветер балтийский гоняет в башке облака.
Принимает на грудь берег волн переменчивый бег.
Беспорядочный пляшут бакланы и чайки канкан —
То и дело срываются вниз или — падают вверх.
Мир дождей перемешан с коротким восторгом тепла.
Улыбается Кант из-за прутьев ограды своей...
И, как прежде, железную глотку свою в куполах
Время рвет, не щадя живота, и людей, и цепей —
Все меняется. Сходит на «нет». Распалает висок.
И однажды сюда я еще раз, конечно, вернусь.
Дай мне времени, боже, назначь точный день, новый срок,
Чтоб почувствовать снова балтийскую тихую грусть,
Чтобы знать, что прощаюсь с ажурной салфеткой волны,
Чтоб маяк хитрым глазом мигнул на прощанье разок —
Здесь на самом краю моей сумрачной, странной страны,
Где все титры и рифмы в себя забирает песок.

* * *

Воспаленная осень сжигает себя.
Буйство бледных дымов, крылья кленов горячих.
Бесподобно вершит ежегодный обряд.
Может, что-то бывает и ярче, и лучше?
Только осень горчит в горле легкой слезой —
Не вернуться назад, оглянуться — всего лишь.
Между сырых берез я — усталый, больной,
Впереди грустный месяц и русское поле.
Впереди снегопад обещал гидромет,
Он укроет жнивье, спрячет рану на сердце,
Он повязкой тугой спеленает мой след,
Остановит на миг, чтобы мог оглядеться,
Чтобы снова идти сквозь кварталы домов,
Я ведь — сын городской, — и, любовь согревая
В воспаленную осень попасть... и без слов,
Лишь глазами сказать: «Я с тобой, дорогая...»

* * *

Осень пахнет совсем не жасмином, а жаль...
В ней усталость смешалась с улыбкой печальной листвы,
И всё ближе к душе подбирается тихая даль...
На бумагу садятся птенцы непонятной и новой главы...
Будет мир продолжаться и после. Качнётся ковыль
Серебром в отдалённой, бессонной, бездонной степи.
Всё банально — мы — гости, мы — листья, мы — стебли травы.
И перо по бумаге нетвёрдо, слабея, скрипит и скрипит.
Струны струй октября перебором неспешным звенят,
И болит в подреберье горячая точка любви.
Сверху ветры врезаются грудью в железный гранит.
Тихо сердце прошу: «Не реви. Не реви. Не реви»...

ФОТОГРАФИРУЮ НИАГАРУ

Холодок отразился в стекле —
С неба падает звёздная пара,
И случается дикий балет,
И гопак, и канкан — Ниагара!
Сон ли? Явь? Кто подскажет ответ?
Глаз горит! Это, братцы, не старость!
Так стремительно тысячи лет
Пролетают. А сколько осталось?
Не сойтись им, увы, никогда!
Впрочем, может, поможет гитара,
Чтоб одна и другая звезда
Обнялись, став одной Ниагарой?!
На цепи старых ходиков грусть
Обнаружит вчерашнюю юность...
Слава богу, что это — мой путь
И его Ниагара коснулась.

КОЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

I

(В Мурманске)

Эта осень на Кольском
Просто сводит с ума —
Красок столько, что — скользко!
Ягод — полный карман.

Не стыкуется разум —
Пляжи белых песков —
Море Баренца с лязгом
Катит до облаков,
До снегов бесконечных
Там, за краем земли,
Где сплетается вечер
В танце с блеском зари.
Плечи скал солнце выжгло,
Плети волн иссекли,
Что бы ни было — выжил
Полуострова клин.
Рёбра старых баркасов
Сквозь гранит проросли.
Пароходики басом
Освящают залив.
И вгрызается колко
В сердце солью слеза...
Эту осень на Кольском
Не воротишь назад.

II

В сердце памяти выборка,
Окон — чёрный провал,
Грусть крестов синих выправил
Белый берег у скал.
Кости домиков брошенных
Утонули в песке.
Грузных чаек горошины —
На приливном куске
Ламинарном, не сотканном
Ни ткачом, ни судьбой.
Здесь не меряют сотками
Землю нашу с тобой.
Оборванец полощется —
Флаг — трехцветный, больной.
Заполярная рошица —
По колено, друг мой.
Рыб ловили столетьями,
Жили счастливо, но
Жизнь теперь междометьями:
Между явью и сном.

И клокочет кровавая
В сердце — жуткая выборка.
Начинается с малого
Русь... Отсюда — с Териберки.

III

(У Поклонного креста)

Вот так — на прибрежном ветру, словно лодки,
Останусь однажды и я. А точнее —
Суставы и рёбра, скелет без походки —
Пристанище путник нашёл — не болеет.
И кобальт оградки приют мой последний
Очертит на стылом морском берегу.
Быть может, приедет однажды наследник —
Отсюда, навряд ли, теперь я сбегу.
Хотя... Море тянет в своё оперенье
Бурунов и волн, в глубину, где треска...
Мне пьяный матрос подмигнёт. На мгновенье
Омоет порывистый шквал моряка.
Достанется мне этой пены солёной,
Холодной, упругой — обычный порыв.
Я буду стоять, словно крест наклонённый
На самом ветру. На макушке скалы.

IV

(Корабельное кладбище)

По глотке бьёт Териберка,
Наотмашь — по глазам!
И сердце вот-вот выпрыгнет
Из горла в небеса!
Пират рукой умелою
Разрушил всё, что смог,
А что не смог — то сделало
Безвременье, не бог.
Лишь иногда проявятся
Заблудшие киты,
И берег, словно платищем,
Крестом прикроет стыд.

Унылая, угрюмая,
Безглаза, нагишом
Стоит страна безтрюмная,
Лишь берег моря – шёлк.

V КРАЙ ЗЕМЛИ

Ветер дёргает за плечи –
Край земли, а дальше – вечность.
Белоснежно-нежный вечер
Гонит к берегу волну.
Неба серую полосу
Полосуют чайки хлёстко,
Без ответов и вопросов
Резво режут тишину.
Ребра древнего корвета
Обнимает солнце летом.
Море Баренца приветно
Строит облаков конвой.
Бугорок парит песчаный
На окраине причальной,
А кресты, предел молчанья,
За оградок синевой.
Разольют печаль по кружкам
Рыбаки – в тельняшках души,
И металлом клацнут дружно,
И запляшут кадыки...
Выпьют. Охнут. Дрогнут стулья
И скукожатся Горгульи –
Деревенский вечный улей
Загудит не от тоски!
И покатится веселье
Звонким ручейком весенним.
Только кто-то выйдет в сени –
Сердцем охватить залив.
Гармонист посее смуту...
Много надо ли? Минута!
Край земли, он здесь как будто?
Здесь... Начало у земли!



Владимир Викторович Макаренков — поэт, публицист. Родился в 1960 г. в Смоленске. В 1983 г. окончил МЭИ. Полковник внутренней службы в отставке. Автор семи поэтических книг, книги статей, очерков и интервью «Тюремные записки» (Смоленск, 2007), аудиоальбома «Я родом из шестидесятых» (Смоленск, 2015, стихи, поэма, песни). Публикуется в центральных и региональных журналах и альманахах, антологиях, коллективных сборниках и др. периодических изданиях, автор проекта и участник книги «Перо Гамаюна» (Смоленск, 2013). Лауреат литературных премий: им. А.Т. Твардовского, им. М.В. Исаковского, им. Н.И. Рыленкова (Тюнинская премия), лауреат (шорт-лист) Южно-Уральской литературной премии 2017 г. (книга стихов «Камертон»). С 2004 г. — председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, составитель альманаха «Под часами». Живёт в Смоленске.

* * *

Ни с этим, ни с тем не согласен я веком.
Сгорят блиндажи из подшивок газет.
И если дано возвращаться, то снегом
Хотел бы я вновь появиться на свет.

Довольно глядеть вам, дома, исподлобья,
Как с пренебреженьем к рекламным щитам
Бесхлопотно валяются белые хлопья
За шиворот улицам и площадям.

У снега не спросишь о паспортной визе,
Зачем и откуда, кто вызвал и ждёт.
Письмом допотопным лежит на карнизе.
И речью прямой сердце чуткое жжёт.

А за кольцевой непроглядной дорогой,
Ступив от обочины два-три шага,
Увязнешь, покажется местность берлогой,
Услышишь, по-пушкински воеет пурга.

Вот так ненароком небесной лавиной
Накроет равнины, холмы, а в горах
И летом каракулевые вершины
Величественны в облаках на парах.

Заносы, завалы, сугробы повсюду.
Куда ни пойдёшь, ни поедешь — всё снег.
Явление это тождественно чуду,
Какого с рождения ждёт человек.

Нет, если дано возвращаться, то снегом
Хотел бы я вновь появиться на свет.
И детским снежком, подгоняемым смехом,
Тебе передать свой небесный привет.

ПЕЧАЛЬ ВСЕЯ РУСИ

О чём моя кручина,
О чём моя печаль, —
Душевная лучина,
Страдания печать?

Пойду ли выйду в люди,
Замкнусь ли — всё тоска
Сжимает сердце, студит,
Колотится в висках.

Твоё я знаю имя!
Пусти меня, пусти,
Безмужняя княгиня,
Печаль всея Руси!

За что ты полюбила
Народ великий мой
И стольких погубила
Кручиною хмельной!?

Нет, нет, не твой я милый!
Ты не моя Печаль.
Обиженных и сирых,
И спившихся мне жаль!

Не выслуживших чина,
Не покоровших даль...
О том моя кручина,
О том моя печаль.

ЖЕЛЕЗНОЕ СЕМЯ

Вызрело в сердце железное семя.
Не повторится лубочное время.
Прежним, беспечно-весёлым не быть.
Так, чтобы звёзды срывать, не любить.

Семя железное не пожалеет,
И оболочка его проржавеет,
Зашевелятся в груди корешки,
И замятся во взгляде вершки.

Нет, не железные сроки пророчу.
Думаю, как плодородную почву
В сердце от семени спрятать на время.
Страшное бремя – железное семя.

БОЖЬЯ КОРОВКА

Приложишь к уху – и неловко
За детской страсти волшебство.
Шуршит пленённая коровка –
Как все мы – божье существо.

Настырно: раз-два, раз-два, раз-два...
Запрограммирована цель –
В безбрежность синего пространства
Пошире расцарапать щель.

Какую же, должно быть, муку
Там, в галактической тиши,
Несёт Творец, вот так же к уху
Коробку с миром приложив?!

* * *

Пахнет жжёным чаем и дрожжами.
Отгостив у бога в облаках,
Я лежу с закрытыми глазами
В простынях, как в белых лепестках.

Слышу, как гремит посудой мама,
Как в кладовке возится отец.
Я вчера хотел проснуться рано,
До утра в раю пропас овец.

И когда сгорел последний факел,
Я заснул под розовым кустом.
И пришёл ко мне на смену ангел,
Перенёс неслышно в отчий дом.

Кажется, всё было так недавно!
Господа с утра благодарю,
Что безгрешна мама, православна
И теперь она живёт в раю.

Масленицу праздной вместе с нами!
Будем печь блины и пироги.
Первые на стол положим маме.
С детства знаю — нет в раю муки.

* * *

Мирозданье — как сеть Интернет.
В нём живая душа виртуальна.
Лишь у Бога в нём адреса нет,
Он один существует реально.

Я в пространство кричу и стучу
Глыбой сердца, как будто по раме.
Я до Бога добраться хочу.
И увидеть весь мир на экране.

Но боюсь, что экран этот чист,
Как затёртый веками папирус,
Что вселенский компьютер завис,
Распознав человеческий вирус.

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Жить всё прискорбнее с годами,
Асфальт толкая из-под ног.
Звезда полей над городами —
Потухший русский огонёк.

Ещё в ночи заблудший странник,
Ища тропинку сквозь пырей,
Заметит в небе отблеск странный,
Отыщет след звезды полей.

Ложится нежно на берёзки,
Освобождает от оков
Угасшей жизни отголоски
И тени грешные веков.

Ещё на отмершем погосте
Напоминает о звезде,
Как мироточит, слабый отсвет
На металлическом кресте.

Ещё, когда нежданно вьюга
Помянет в голос снежный век,
Глазами радостного друга
На свет звезды искрится снег.

Остатний свет бывшего мира!
Жар-птица счастья без гнезда!
А раньше Родине светила
Как путеводная звезда.

ХРИЗАНТЕМЫ

Всё прибавлялось черноты
В печальных красках увяданья.
В окне садовые цветы
Цвели улыбкой расставанья.

Цветы хватал за лепестки
И обжигал калёный ветер.
Но разгорались их цветки
Под солнцем в огоньки соцветий.

Лишь розы льдистые в окне
Да дальних звёзд скупое тленье...
А хризантемы вьют во мне
Живой узор сопротивленья.

ЖЕРЕБЁНОК

Впервые встретив жеребёнка
На пахнувшей зерном стерне,
Я не сумел унять ребёнка,
Давно молчавшего во мне.

Одoleвало нетерпенье
К себе по имени позвать,
За шею чудное творенье
Обнять и в лоб поцеловать.

С испугу глупый недотрога
Меня свалил, лягнувши в грудь...
Перетерпел обид я много,
А эту вспомню — не вздохнуть.

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ

Копал картошку, выкопал звезду —
Обрубок проржавевшего железа,
Как будто ходовую часть протеза
Страны, которой нет уж на возу

Истории...
На памятник к доскам
Звезду прибил земляк-однопольчанин.
Я от земли обтёр её,
лучами
Незримо полоснуло по вискам.
И в сердце загудел набат святой,
Зовущий к братству, равенству, свободе...
О русском духе и больном народе
Напомнил ржавый символ золотой.

ФАРФОРОВЫЙ СТАРИК

На лавке перед магазином
Сидит фарфоровый старик.
Он дышит пылью и бензином,
Сгустив молчание в кадык.

Автомобильное движение,
Бег пешеходов, толкотня
Не трогают воображенье,
В дремоту сладкую клоня.

Куётся жизнь, но звукиковки
Ударов сердца не слышней.
Ведёт сознание раскопки
Давно окаменевших дней.

Всё чётче проступают грани
Былого: стан, овал лица...
И в сердце сложенные камни
Крошатся в красные тельца.

И память лепит, как с природы,
Любимый образ... вновь и вновь...
И жжёт фарфоровые скулы
Непреходящая любовь.

* * *

Мир чувственный материален.
Когда с дождём ударил гром,
Я вдруг испугом был придавлен,
Как переполненный паром.

Но распрямились вскоре плечи —
Я к грому с молнией привык,
Внимал простой дождливой речи
С аплодисментами листвы.

Мне виделось рукоплесканье
В траве, цветах, ветвях — во всём...
И был я центром мирозданья
Под ветром, громом и дождём.



Сергей Михайлович Машков (1928–2002) — поэт, переводчик. Первые стихи Машкова опубликованы в 1951 г. в армейской газете. Его стихи печатались в местных газетах, коллективных сборниках, центральной печати. Первая книга стихов Машкова — «Тёплый дождь» (1968 г.). В 1998 г. в журнале «Русское слово» (Литва) опубликована его автобиографическая поэма «Страх». В 1999 г. вышла вторая книга стихотворений «Нить времени». Его переводы на польский язык опубликованы в Польше. Лауреат литературной премии им. М.В. Исаковского. Член Союза российских писателей. Похоронен в Смоленске на Одинцовском кладбище.

* * *

Я помню вечер. Сгущались тени,
Светились звёзды мерцаньем зыбким.
Нас было двое. Цвели сирени,
А где-то рядом звучала скрипка.

Нас было двое. Цвели сирени,
И голос скрипки — как соль на раны —
Смычка тугого прикосновенье
Рождало в струнах пассаж сопрано.

Творили чудо душа и руки,
С поющей скрипкой нас стало трое.
И мы стояли, отдавшись звукам,
На Сарасате сердца настроив.

Промчались годы. Из отдаленья
Видна мне снова твоя улыбка...
Мы были юны. Цвели сирени,
Мерцали звёзды и пела скрипка.

КАПРИС ПАГАНИНИ

Светлыми окнами город смеётся,
Улица сквер огибает подковой.
Лето. Июль. Из динамика льётся
Музыка чище воды родниковой.

И, позабыв про мальчишек влюблённых,
Сосредоточенны и солнцелицы,
Десятиклассницы в сквере зелёном
Слушают молча концерт из столицы.

Не замечают, как пёстрою стаей
Голуби важно воркуют пред ними.
Трелью серебряной ввысь улетает
Двадцать четвёртый каприс Паганини.

Солнце сквозь ветви густые сочится,
Липы тенистый раскинули полог..
Где и когда собирал по крупнице
Музыку эту великий Никколо?!

Светятся радостью взоры подружек,
Тронуты губы счастливой улыбкой.
Чем-то большим переполнены души,
Бьются сердца, чародействует скрипка...

В жизни всегда мы прекрасное ищем.
Пусть же звучит, как звучал и доньше,
Делая нас благородней и чище
Двадцать четвёртый каприс Паганини!

КЛАНЯЮСЬ

Кланяюсь всему сущему под солнцем.

Иоанн Дамаскин (675–753 гг.)

Кланяюсь в пояс полям и лугам,
Рощам, лесам и речным берегам.
Кланяюсь светлым, как небо, прудам,
Чью красоту никому не отдам.

Кланяюсь чудо творящим рукам,
Травам в цветении и родникам,
Бьющим из недр сокровенных земли,
чтоб из них люди напиток могли.

Кланяюсь соснам, осинам, ольхам,
Кланяюсь песням и мудрым стихам,
Музыке кланяюсь, как божеству,
С нею я в дружбе великой живу!

Кланяюсь звёздам и полной луне.
Им, как язычник, в ночной тишине.
Словно среди капища встав к алтарю,
Самозабвенно поклоны творю...

Кланяюсь птицам, что звонко поют,
Рыбам, цветам и лесному зверью.
Кланяюсь жизни. Пусть будет она
Солнцем немеркнувшим озарена!..

ФЛЁНОВО

Над холмами и старыми клёнами
Вьётся утренний лёгкий дымок.
Ой ты, Флёново, дивное Флёново,
Тих и сказочен твой теремок!

Скромный крестник Сергея Малютина,
Будь то летом, зимой иль весной,
Свету полный, по-русски уютен он
И пригож, как ларец расписной.

Мужиками смоленскими срубленный,
О минувшем тая свою грусть,
Помнит он Васнецова и Врубеля,
Что в палитре прославили Русь.

Здесь я слышал предание давнее —
Когда ветры в ночи отпоют,
Над резными широкими ставнями
Запевает в ночи Гамаюн.

Услыхав его песню, под звёздами,
О кольчуги щитами звеня,
Выезжают три витязя грозные
На гривастых могучих конях.

Ловят слухом полночные шорохи,
Настороженно смотрят втроём –
Не ведут ли поганые вороги
Басурманское войско своё?..

Но спокойно окрест. В отдалении
Лунный свет на деревьях дрожит,
Мирно спят землепашцы в селениях,
В небесах вороньё не кружит.

Только там, у леска, за долиною,
Где рedeющий тает туман,
Угловатый, с бородкой козлиною,
Ходит-бродит таинственный Пан.

Над крутою песчаной излучиной,
Припечатав копытца к тропе,
Со свирелью своей неразлучною
Он садится у речки на пень,

И губами свирели касается,
И глядит, улыбаясь хитро,
Как в весёлую пляску пускаются
Молодые дубки под горой.

Сняв платки, от росы побелевшие,
На веселье осинки спешат.
Лишь одни водяные да лешие
Мелкой дрожью, как в стужу, дрожат.

Страх терзает и души нечистые,
Боль бесовская в столах слышна.
Что за чудо свирель голосистая,
И какая ей сила дана!..

Никнут травы в лугах за туманами,
Что-то шепчут, проснувшись, леса,
И над миром от музыки Пановой
Звёзды ярче блестя в небесах!

Но лишь утро, лучами рассветными,
Разгораясь, коснётся земли,
Исчезают три витязя светлые,
Лёгким облачком тая вдали...

Пан уносит свирель свою звучную,
Что пугала нечистых в ночи,
И, чернея над тихой излучиной,
Только пень одинокий торчит.

Над полями, лесами и плавнями
Новый день начинается поход.
Молкнет вещая птица над ставнями,
Полыхает в полнеба восход.

Ветерок пробегает над клёнами,
В травах искрятся блёстки росы,
Сказка русская, дивное Флёново,
Уголок стародавней Руси.

НЕБО

О небо, небо, облаков сугробы,
Синь высоты, пронизанная светом.
На солнечных, тугих, незримых стропях
Несёт оно родную нам планету.

Мы говорим: безбрежна ширь степная,
Земная ширь, дарующая хлеб нам...
Но тот, кто не был в небе, тот не знает,
Как беспредельно, как безбрежно небо.

Когда прозрачен и недвижим воздух,
А сердце бьётся, требуя простора,
Весенним днём иль зимней ночью звёздной
Мы к небу устремляем наши взоры.

Туда, где вспышки молнии мгновенны,
В миры иные и иные дали,
Туда, где стала явью дерзновенной
Легенда об Икаре и Дедале.

* * *

Откуда ни возьмись, пришла сама
В полночный час ко мне строка о лете.
Хоть знал, что за окном сейчас зима,
Метёт метель и всхлипывает ветер.

Я различил колосьев перезвон,
Заречный луг — раздолье расписное.
И засияла лампа в десять солнц,
И стал мой стол поляною лесною.

Тогда перо я машинально взял,
Охваченный возникшим вдруг смятением.
А на моём окне мороз вязал
Узоры из загадочных растений...

И, посмотрев, уже в который раз,
На высохший живых цветов букетик,
Вдруг понял я: так вот где родилась
Моя строка о прошлогоднем лете...

* * *

Солнце дальние дали раздвинуло,
Цветом с яблонь опала весна.
В наши окна потоками хлынула
Неба летнего голубизна.

Глянь за речку на зорьке сиреновой —
Там, в лугах, лучезарен и юн,
От весны эстафету цветения
Принял в тёплые руки июнь.

Выйду в поле — узнаешь, как сладостен
Хлебный дух зацветающей ржи,
Над которой, пьянея от радости,
Небо крыльями режут стрижи.

В тишину птичий гомон вплетается,
В речке солнце, плескаясь, горит.
И незримое, доброе таинство
Лёгкий ветер над полем творит.



Пётр Ефимович Мельников (1927–2002)— поэт. Родился в Гомельской области. С 1957 года жил и работал на Смоленщине. Лауреат премии им. М.В. Исаковского. Стихи печатались в областных газетах и коллективных сборниках смоленских и московских издательств, журналах и альманахах. В 1992 году была издана первая книга стихов «Годы», в 1996 году — вторая книга, «Синь-свет», посмертный сборник стихов — «Избранное» (2002). Член Союза российских писателей с 1993 года. С 1991 по 1995 год являлся руководителем литобъединения «Современник» (г. Рудня). Похоронен на кладбище в г. Рудне Смоленской области.

СЛОВО О «СЛОВЕ О ПОЛКУ»

Воспевая Русь, свой дом —
Мир наш и основу, —
Все от «СЛОВА» мы идём,
А вернее — к «СЛОВУ».

Высока его строка,
Славен автор-витязь.
Вглубь ушедшие века,
Эхом отзовитесь.

Проявитесь, точно сны,
Из туманной рани
На просторах — от Двины
До Тмутаракани.

Вдохновение, покличь,
Стих напой о чём-то.
Только «СЛОВА» не достигь,
Как и горизонта!

Усмири, поэт, строку,
Преклони колени,
Помни, «СЛОВО О ПОЛКУ» —
Чудо вдохновенья.

Где среди поэм других
Ей ровня?.. Местами
В ней написаны стихи
Божьими перстами.

Воспевая Русь, свой дом —
Мир наш и основу, —
Все от «СЛОВА» мы идём,
А вернее, — к «СЛОВУ».

* * *

Ещё мы помним тех ребят-солдат,
Что и махоркой даже не пропахли.
Давно уже со стен они глядят
Глазами пожелтевших фотографий.

Одни из них под Вязьмой ткнулись в снег,
Другие — в осыпь с яблонь, в сорок пятом.
И горе с той поры уже навек
Приписано к их улицам и хатам.

Порою мама, даже и сейчас,
Накроет стол да и поплачет тихо:
«Наш Федя пирожки любил, как раз
Такие вот, горячие... с черникой...»

ДОРОГИ

Все дороги — от жилья, к жилью,
Если даже где-то и плутают,
Если даже и в родном краю,
Раздробясь, в чащобах пропадают.

Все дороги — к матери, к семье
Или — от семьи, от отчей хаты...
Что блуждают люди по земле,
Видимо, дороги виноваты.

ОХОТА

В глазах подранка-лося:
«Эх вы, лю-ю-юди!» —
Немой, уже немислимый укор...
Кто в них смотрел — вовеки не забудет:
Там гасли небо и морозный бор...

Охотники, довольные успехом,
Спешили, рюкзаки набив:
«Кончай!..»
В лесу потом ещё каталось эхо,
И в даях затихал собачий лай.

НИЧЬЯ ДЕРЕВНЯ

Ставни перекошенные, сени...
Заросли следы от колеса,
И взывает ветер над деревней,
Где давно затихли голоса.

Троп не видно, что топтали предки,
Над колодцем нету журавля.
На погост лишь посетитель редкий
Забредёт: будь пухом, мол, земля...

Слушай, время, обожди, помедли,
Подскажи, чего мы не учили?..
На бурьян в садах склонились ветви
Яблонь, что теперь уже — ничьи.

* * *

Былое — не значит: былё
Скажу и как будто утешусь...
Когда-то я имя её
На стёклах писал запотевших.

О ней не писать я не мог —
И дома, и в частой отлучке...
Короткое имя, как вздох,
Четыре всего закорючки.

Немало чудес на Земле...
Ещё ничего не предвидя,
Я пальцем писал на стекле
Прочней, чем резцом на граните.

* * *

Отчего порою сердца стук
В нас — куда взволнованней и чаще,
И огонь в глазах... то вспыхнет вдруг,
То погаснет от тоски щемящей?

Где начал начало? Где исток
Света... в мире суетном и тленном?
Почему берёзовый листок
На ветру лепечет вдохновенно?

Видно, нету сил любви сильней,
Жизни — без луча её и мига...
Звонок, гениален соловей,
Потому что близко соловьяха.

* * *

Ты ли не права, иль я не прав —
Позабудь. Имеет ли значение?
Ветер дышит ароматом трав
И озона — в сумраке вечернем.

Как близки к моим твои уста,
Но — и далеки. Не как вначале.
А в глазах твоих дрожит звезда,
Что упасть готова... Не моя ли?

Где-то за лесами туч гряды
Освещают раз по раз зарницы...
Если ты уйдёшь и я уйду —
Нам сюда уже не возвратиться.

ПОЭЗИЯ

Есть что-то истиннее истин,
Тайн затаённое...
Стихи?
Горят рябиновые кисти
На мху соломенной стрехи.

Намёком — ответ, отзвук лета.
В отлетный путь пора грачу...
В пустом саду склонилась ветка
К почти холодному лучу.

ВЕТЛА

Одна... Со всех сторон видна
В полях, где — холод, вьюги,
Совсем, как женщина,
Ветла заламывает руки.

Уходят в мглу за годом год...
Как ей тоскливо, больно,
Никто, наверно, не поймёт —
Один лишь ветер вольный.

Да, может, я...
Но, нелюдим,
Ушедший в думы, в строки,
Я, видимо, и сам — один,
Как стог, что у дороги.

* * *

Заметает землю листопадом,
Бабье лето — в золоте и шелесте.
Жаль, что никого со мною рядом,
Не с кем удивиться этой прелести.

Тихо листья кружатся над омутом,
Сети в травах пауки расставили.
В гулком небе — чуть тоскою тронутым —
Трассы журавлиные растаяли.

Ниц ветла упала, будто молится,
Тающею дымкой даль окутана,
На лугу — и сразу ж — за околицей
Вязь коровьих тропок перепутана.

В сердце — что-то ноюще-щемящее.
Что ж, оно давно знакомо с бедами...
Шустрый ветер поиграл над чашею
Да и улетел: куда — неведомо.

Замело повсюду листопадом,
И дохнуло холодом, как водится.
Глухо. Никого со мною рядом...
Жаль: ведь это больше не воротится.

ВТОРИЧНОСТЬ

Зная о немногом и немногого —
Мы во всём вторичны, что творим.
А первично — созданное Богом
И разумно — созданное им.

Авторство святое уважайте,
Будь то зорний луч иль птичий свист...
Моцарт даже — только подражатель,
Чудный Рафаэль — лишь копиист.

* * *

Далече. Может, недалече
Тот день последний, роковой.
В одной и той же связке свечи
За здоровье и упокой.

* * *

Последние надежды и мгновенья,
На улице исходят воем псы.
От свечки по стене блуждают тени...
Переверни песочные часы!

На цыпочках — домашние и время,
Кончается завод, что в жизнь длиной...
В камине догоревшие поленья
Подёрнулись летучею золой.

Шарахает зима по окнам вьюгой,
Качаются туда-сюда весы.
Текут мгновенья чуть заметной струйкой...
Переверни песочные часы...



Елена Анатольевна Орлова — поэт, прозаик. Родилась в 1962 году в Смоленске. Окончила СОМУ, филологический факультет СГПИ. Автор книг: «Зоревое окно» (Смоленск, 1993 г. стихи), «Мимолётности» (Смоленск, 2001 г., стихи, иллюстрации), «Сезон покаяния» (Смоленск, 2003 г., повесть), «Повечерие» (Смоленск, 2005 г., стихи, фото, компьютерная графика), «Остров Святой Елены» (Смоленск, 2009 г., стихи, фото, компьютерная графика), «Крест Святого Андрея» (Смоленск, 2013 г., роман). Печаталась в журналах «Москва», «Студенческий меридиан», в еженедельнике «Литературная Россия», в журнале сетевой поэзии «Сорок пятая параллель», коллективных сборниках «Ключ-город», «Тропинка», «Годовые кольца», «Ожидание чуда», литературных альманахах «Под часами», «Блонье», «Междуречье», «Башня», «Вертикаль XXI век». Живёт в Смоленске. Член Союза российских писателей.

* * *

Мимо что-то мультяшное промельтешило —
то ли жизнь, то ли сон...
Этого не было. Или, наверное, было
где-то у края времён,
у края бушующей бездны. Полёт, как паденье,
и вдруг — тишина...
Гаснет пламя свечи. Тают в сумраке тени.
Беда и вина.
Вина и расплата. Безмолвие ночи беззвёздной,
чернеющий путь.
Всё было напрасно, всё было непросто,
но уже не вздохнуть.
Позади — оправдания, интриги, уловки —
бытия пряный микс...
Переправа. Старик. За бортом чёрной лодки
вечный плещется Стикс.

ВСПОМИНАЯ БРЕЙГЕЛЯ

Хрусткий подталый снежок,
далее туманных забвеньё.
Медленно, наискосок
под ноги ложатся тени.

Свиток старинных снов,
как оголённый остов,
необитаемый остров
давно отзвучавших слов...

Лай оголтелый собак,
свистом сведённые губы...
Ближе – свинцовый шаг,
громче – Господни трубы...

Близится тяжкий срок –
вновь оживут сновиденья...
Медленно, наискосок
под ноги ложатся тени...

– Куда ж вы идёте, куда
снежной своей тропой?
– За Вифлеемской звездой.
– Угасла во тьме звезда,

метелью тропу замело,
снегами припорошило.
Вы помните, что это было?
– Что было – давно прошло...

Усвоен последний урок.
Сонные веки смежатся.
Медленно, наискосок
под ноги тени ложатся...

Ранней весны благодать,
желаний заветных малость...
Только бы не растерять
то, что от жизни осталось.

* * *

Вечер, будто измятый листок.
Аист в небе темнеющем кружит.
Дождь холодный – наискосок –
Изоткал помутневшие лужи...
Млечный путь в чёрных тучах увяз...
Утро – ясное. Яблочный Спас.

ПАМЯТЬ

Убогие краски летнего вечера сорок пятого года
впечатались в генную память: длинный серый забор,
за ним — бараки военнопленных;
у забора шестилетний вихрастый мальчишка —
полуголодное дитя кровавого века;
тонкая ручонка просунута в щель,
на потной ладошке — сокровище:
липкий кусок рафинада.
«Дяденька фриц, ну, пожалуйста, поиграй!»
Губная гармоника лихо выводит:
«Всё пройдёт, мой милый Августин,
Августин, Августин...»
Грубоватая немецкая мелодия
ласкает детское ухо,
привыкшее к взрывам бомб и вою сирен, —
мальчишка зачарованно слушает,
безгрешный в своём неведении
о далёком грядущем, которому через много лет
суждено стать моим прошлым,
ибо этот мальчишка — мой отец.

ЭСКИЗ СЕЗОННЫХ СНОВ

1.

Пушистый шмель, летая над цветком лазоревым,
пребудет в извечной правоте,
и нега зноя, медовым маревом наполнит до краёв
полдневный мир, чьи сны от века в век
всё невесомей и причудливей,
как кружево листвы,
дарящей вожделенную прохладу, —
ничто не потревожит
сонной тишины: беззвучно
сочится сладостный нектар цветка,
и только шмель гудит и трудится над ним,
своё старанье воспевая.

2.

Осень, щедра и бескорыстна,
сбережёт, как Ной в ковчеге,
спелые плоды — залог грядущей жизни,
и дождями оплатит увядание и смерть,
которую хранит во чреве,
подобно кокону, хранящему в себе
зародыш мотылька,
но даже смерть окажется светла и невесома,
словно паутинка, летящая по ветру в никуда,
навстречу неизбежности, и станет
прозрачней — даль, и ближе — небеса,
и утренний туман приглушит цвета и звуки,
сместив с привычных мест
предметы, слова и лица,
и природа уснёт, чтобы от сна
весной очнуться.

3.

Слова, едва покинув лоно тёплых губ,
застынут на лету и упадут в ладони декабря,
и обратятся в прозрачные кристаллы льда,
и сна студёный морок,
как занавес, укроет мир от глаз,
и там, под ледяной бронёй, под толщей снега,
неслышно всколыхнётся живая плоть земли,
уснувшей в белой колыбели,
и, точно плод, созревшей,
чтобы явить пред изумлённым миром
божественное чудо Рождества.

4.

Апрель, пригожий Лель, дождём прозрачным смоем
с застывших душ — печаль, и с лиц — усталость,
и смысл простых вещей, размыт и стёрт,
припомнится с трудом, как письма
исчезнувших в веках цивилизаций,
как имена далёких звёзд, названья трав и птиц,
увиденных в раю, но позабытых,

и первой бабочки полёт неловкий
преобразит пространство, и сольются
в неслышном унисоне явь и сон,
суля росткам надежды продолженьё.

ЗИМНИЙ ТРИПТИХ

1.

Старый друг, плесни-ка мне чего-нибудь,
если только ты не старый враг..
Жёлтый карлик, нагулявшись по небу,
катится в заснеженный овраг,

окровавив небо над берёзами,
что сиротски тают в темноте —
ночь близка, глухая и беззвёздная.
На снегу следы, да всё не те...

Дрожь души — не то, что дрожь телесная.
Отогреешь душу, время — вспять..
Странно, неужели водка — пресная?..
Эту вьюгу не перекричать,

этот снег не разгрести лопатой
до седьмой кладбищенской версты.
Друг, скажи, неужто виноваты мы,
что кругом — кресты, кресты, кресты?..

Затуманилось стекло оконное.
Милый друг, плесни-ка мне ещё.
Вот и утро, мутное и сонное —
нынче постреляем воронё.

2.

Безмозглый выродок, неблагодарный Кай,
тупой, никчёмный и дрянной мальчишка,
как мог поддаться ты слезливой девке — Герде,
и променять несметные богатства,

бессмертие, блаженство и покой
на рабский жребий всех убогих смертных,
что, как магнит, к могиле их влечёт?!.
Всего-то нужно было слово ВЕЧНОСТЬ
из октаэдров ледяных сложить, —
и та, всесильная, что в мире краше всех,
тебя б навеки щедро одарила...

3.

*Отче мой Сергие, отче Серафиме,
звёзды высоко, да снег на пути.*

Борис Гребенщиков, «Русский альбом».

Вышли засветло, да только не успели
доплясать, докаяться, допеть.
Вдоль дороги — голубые ели,
впереди — блаженство или смерть...

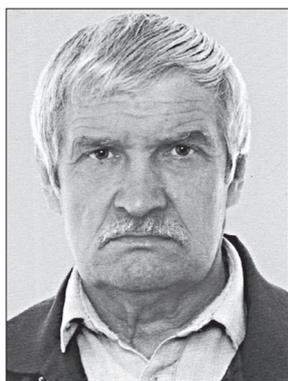
Что с того, что танки наши быстры
и броня по-прежнему крепка?..
Стелется под ноги снег пушистый,
а звезда, как прежде, далека...

Таёт в небе след её серебряный,
на снегу — кровавые следы...
Отче Серафиме, отче Сергие,
видно, не дойти нам до звезды.

* * *

... и звёзды октября посмотрят сверху —
глаза божеств, прозрачны и чисты.
И мир замрёт до будущей весны,
восполнив сновидением прореху

в пунктире бытия. Так поезда
уходят вдаль, надеясь возвратиться...
Но, с веткою простясь, к земле стремится
кленовый лист — упавшая звезда.



Геннадий Васильевич Пастухов — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1940 г. в городе Дружковка Донецкой области. Автор книги стихов «Судьбы песочные часы» (1997), прозаических книг: «Записки голя» (1999), «Поэзы и прозы» (2008), «Родом мы из прошлого» (2016). Перевёл сборник стихов Сергея Украинка с белорусского «Белый аист, чёрное перо» (2015). Печатался в коллективных сборниках и альманахах «Годы», «Под часами», «Башня», «Брама» (в переводе на белорусский). Автор двух стихотворных книжек для детей. Составитель книги «Война — незаживающая рана». Член Союза российских писателей. Живёт в Смоленске.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС

Когда Анатолий Фёдорович вышел из леса к остановке, тёплый след автобуса, успеть на который он торопился, давно простыл. Ситуация была ожидаемой. Анатолий Фёдорович малость заплутал в лесу, и обратный путь оказался длиннее, чем планировался. Но была незначительная надежда — вдруг автобус запоздает тоже. Ан нет, автобус ушёл по расписанию. «Вот незадача, — подумал он, — Придётся ждать не менее часа». Однако ничего страшного не произошло. Впереди ещё должно быть два рейса. Жена, конечно, будет волноваться — сейчас темнеет рано, да и сам Анатолий Фёдорович — человек ненадежный, валидол иногда потребляет.. Но что делать?

Ещё не дойдя до стандартного железобетонного павильона остановки, Анатолий Фёдорович увидел в нём такого же, как и сам он, грибника-неудачника, а, напротив, на другой стороне неширокого асфальтового полотна шоссе, ещё одного человека. Они переговаривались, и Анатолий Фёдорович услышал, что расписание автобусов изменилось, поэтому будет ещё только один-единственный рейс. А вот время рейса они не знали.

«Ещё один человек» ушёл на свой дачный участок, грибник же оказался внешне знакомым Анатолию Фёдоровичу. Они когда-то работали на одном заводе. Анатолию Фёдоровичу не хотелось вспоминать о том периоде жизни, а за время ожидания автобуса наедине с этим мужчиной наверняка придётся вспомнить — не удастся просидеть час, а может быть и более, молча. Поэтому он не зашёл в павильон остановки, а предпочёл остаться на обочине дороги и после недолгого размышления решил идти в город пешком.

На километровом столбе, который стоял напротив, значилось, что до города 11 км. «Это не так уж много, — подумал Анатолий Фёдорович, — Если идти со скоростью шесть километров в час, то потребуется менее двух часов. А если учесть, что до конечной остановки городского трамвая ближе на пару километров, есть резон вспомнить молодость (в молодости он был лёгок на

ногу). В крайнем случае, если автобус догонит раньше, можно будет на нём же и подъехать».

А вокруг стояла «Унылая пора! Очей очарованье!..» Анатолий Фёдорович шёл тёплым осенним вечером по дороге районного значения, и его сердце радовалось «прощальной красе» природы. Он уже давно заметил, что чем старше сам становится, тем больше ему нравится осень. Ему казалось, что он изнутри понимает это время года. В его представлении осень — это женщина, увы, уже пенсионного возраста, поэтому, чтобы привлечь к себе внимание, приходится ей надевать дорогие наряды — сплошь кораллы и золото, где чистое, а где и червонное. Вот взять, к примеру, лес летом — это же сплошной зелёный массив, а осенью оказывается, что он состоит из отдельных деревьев, потому что каждое выбрало для прощального бала свой неповторимый цвет платья, словно подчёркивая свою индивидуальность, и уж никак не спутаешь даже издали берёзу с тополем, осиною или дубом. А что вытворяет клён? Цвет листьев у него может быть насыщенным жёлтым или красным. Иногда выйдешь на поляну и ахнешь — на ней дерево, на ветках которого в огромном количестве повисли варёные раки, причем наряду с большими, которые «по пять рублей», есть и маленькие, которые «по три рубля». И только удостоверившись, что это действительно так, налетает порыв ветра, и варёные раки превращаются в красных птиц, которые одновременно всей стаей срываются с веток, как будто бы испуганные близким выстрелом, взмывают высоко вверх, и вот они уже полетели в тёплые страны... Но нет, кончается порыв, и они приземляются с лёгким шорохом совсем недалеко от места взлёта. А покинутые ими ветки ещё долго переживают: «Как они там? Долетели до места наши кровиночки?..»

Цель — дойти до города за два часа оказалась недостижимой. Пройдя первый километр и сверясь с часами, он высчитал, что скорость его движения менее пяти километров в час. Нет, засветло не войти в город. «Где мои семнадцать лет?» — подумал он безнадежно и за дымкой годов, где толпились, заслоня друг друга, события его жизни, с трудом их обнаружил. Да, у него теперешнего походка была совершенно иная. В левой руке он тащил корзину, наполовину наполненную грибами, за плечами висел рюкзак, тоже не пустой, и, главное, у него на ногах были резиновые сапоги на размер больше его обычной обуви, и потому при каждом шаге раздавался шаркающий звук. «Эдак об асфальт можно стереть подошвы», — с сожалением подумал он. Болели натруженные пятки. Можно было в любой момент прекратить этот эксперимент. Можно было сесть на лавку на любой из остановок, мимо которых он проходил, и на некоторых из них сидели люди, но странное упрямство не позволяло ему это сделать. И он шёл дальше.

Когда он проходил отрезок дороги, где прямо рядом с шоссе лежало давно непаханое поле, то обратил внимание на то, что свободное от посевов пространство осваивает лес. И раньше всех деревьев пустые места заселяет берёза. «Наверно, семена у неё самые летучие, — подумал Анатолий Фёдо-

рович. — Подул ветер и унёс их далеко в чистое поле. Вот и получается что, вроде, выбегают берёзки из леса, как малышня из детского сада, нет, если по возрасту смотреть, скорее из школы — вид у них подростковый. Только зря платя у них такие короткие. Куда торопятся? Ещё и форм нет, а уже выставляют напоказ свои белые ноги. Вот найдётся какой-нибудь, который соблазнится и «заломает». «Наши девочки носили такие платя, что и колен-то не было видно, — последнюю фразу внутреннего монолога Анатолий Фёдорович произнёс жёстко, осуждая нравы сегодняшнего молодого поколения, и не заметил, как вернулся в «свои 17 лет». — Наши девочки приходили в школу в коричневых платяницах и чёрных фартучках. А были они, по сравнению с сегодняшними школьницами, значительно скромнее. И пацаны стали много агрессивнее, а девчонки их просто провоцируют своими бёдрами в колготках «Омса». Куда страна катится?»

Уже давно позади остался лес с выбежавшими на поле берёзками, а он всё не мог успокоиться и продолжал рассуждать о молодёжи, которой нельзя доверить страну, потому что никто не хочет служить в армии, а страна без армии, как черепаха без панциря, как ёжик без иголок. Любой хищник может запросто... Кстати, в это время он проходил мимо очередной автобусной остановки, а в ней на лавочке ожидал автобус представитель именно этой молодёжи, и который, естественно, не понравился Анатолию Фёдоровичу.

Парню на вид было лет двадцать пять. Он был в куртке, похожей на солдатский бушлат (а может быть, это в самом деле была память об армии), в заношенных джинсах, в кедах с подошвой под стать автомобильному протектору. На голове у него была надета чёрная вязаная шапочка. А лицо его было чернявое, не иначе, лицо кавказской национальности, ну пусть не кавказской, но следы татаро-монгольского нашествия явно прослеживались на нём. Последние исторические события на Северном Кавказе обусловили настороженное отношение Анатолия Фёдоровича к людям, обладавшим подобными особенностями. Рядом с парнем стояли штыковая лопата и пластиковый пакет, по логике, с картошкой. В общем, он был очень похож на бомжа, который вырыл чужой урожай. И хотя Анатолию Фёдоровичу хотелось уже сесть, но он прошёл мимо.

Автобус всё-таки повстречался и лишил какого-либо смысла его упрямое движение вперёд пешком. Осталось только дойти до ближайшей остановки и ждать его обратной ходки.

Быстро темнело. Анатолий Фёдорович уже успел отдохнуть и с нетерпением смотрел в сторону, откуда должен был появиться сдвоенный «Икарус», но с удивлением обнаружил того самого парня. Он споро продвигался по шоссе. «Что же это, парень? Раньше сидел и ждал, а сейчас, когда ясно, что автобус вот-вот появится, решил идти? — недоумевал он. — Здесь что-то не так!» И, несмотря на недоверие к этому человеку, исходя из своего разыгравшегося любопытства, решил его остановить. Поэтому, когда парень с ним поравнялся, сказал:

– Ногами ещё далеко топтать, а транспорт скоро будет...

Тот остановился и, глядя на Анатолия Фёдоровича, ответил:

– Привычный я пешком ходить, в армии приучили, а на проезд у меня денег нет.

«Денег нет – это не проблема, можно и заплатить за тебя, если человек хороший, – подумал Анатолий Фёдорович, – да кто сейчас по деньгам ездит?»

Ответ парня был в пользу дальнейшего пешего передвижения, но после незначительных колебаний он сошёл на обочину и присел рядом на лавку.

На Анатолия Фёдоровича потянуло винным перегаром.

«Ну вот, – сделал он вывод, – на билет денег нет, а на водку находятся. И что вообще можно ждать от этой молодежи?» Но вслух сказал: – Небось на даче был?

Анатолий Фёдорович специально произнёс слово «дача» без определяющего её собственность прилагательного «чужая» или притяжательного местоимения «своя».

– Именно на ней, чёрт бы её побрал, – ответил парень.

– Что так жёстко? – спросил Анатолий Фёдорович, уловив отрицательное отношение собеседника к объекту разговора.

– Да не хотел я ею заниматься, но по весне был я безработный, так мать уговорила меня хотя бы воткнуть картошку в землю, вот теперь приходится после работы ездить и убирать урожай.

– Урожай-то хоть хороший?

– Одни слёзы. Лето нынче было дождливое, вся картошка замокла. Еле наковырял пакет.

Ситуация была понятна Анатолию Фёдоровичу. Он сам когда-то имел дачу, но, будучи человеком чисто городским, не имел значимых достижений на сельскохозяйственном поприще. Гробил только время и силы. Он даже несколько посочувствовал парню и рассказал о своих противоречивых отношениях с шестью сотками. Сказал, что сейчас он как бы взял в «аренду» три лесочка гектаров на десять общей площадью, которые регулярно дважды в неделю проверяет, и уже натаскал грибов не только себе, но и знакомым, и соседям.

Он вспомнил слова парня о том, что тот привычный ходить пешком, потому что в армии пришлось побегать... «Интересно, где он служил? – подумал Анатолий Фёдорович. – Наверняка в мотострелках или в войсках МВД. Высокого интеллекта в нём не чувствуется, а для автомата Калашникова этого и не нужно. И служил он где-нибудь на Северном Кавказе, – продолжал рассуждать Анатолий Фёдорович. – Лицо у него чернявое, на восточного человека похож, таких туда посылают с большой охотой. По внешнему виду вроде как свой среди местного населения». Чтобы удостовериться в правильности своих умозаключений, он спросил:

– Служил в армии где-нибудь на Юге?

– Да, в Дагестане.

Последние слова насторожили Анатолия Фёдоровича.

— Это ж в какое время? — решил он уточнить, про себя думая: «Неужто в эту заварушку, когда ваххабиты попёрли через границу?» И когда услышал, что собеседник служил четыре года назад, порадовался за парня — тогда, вроде, серьёзных действий там не было. А служба — она везде одинакова. И спрашивать парня об армии Анатолий Фёдорович не счёл нужным.

— А работаешь где? — продолжил он разговор. Парень оживился, будто была затронута интересная тема.

— О, я работаю на хорошем предприятии! — с воодушевлением ответил он.

«В городе не так много предприятий, заслуживающих такого эпитета», — подумал Анатолий Фёдорович и решил разгадать: — На «Кристалле», что ли?

— Нет.

— Тогда, быть может, на «Измерителе»?

— Нет. Но тоже на хорошем, мне там нравится. На ЖБИ!

«Что там хорошего?» — искренне удивился Анатолий Фёдорович и представил себе громадное серое помещение, несомненно, грязное, сплошь заляпанное кусками застывшего бетона, засыпанное песком и цементом. И он спросил собеседника:

— Чем же тебе нравится твоё предприятие?

— Деньги вовремя дают.

— И большие деньги?

— Нет, небольшие, но своевременные.

Это был неплохой довод в пользу хорошего отношения к своему предприятию.

— А сам говоришь, что за проезд на автобусе заплатить не можешь.

— Зато через два дня зарплата будет, тогда смогу.

«Надо бы мне его проезд оплатить», — великодушно подумал Анатолий Фёдорович. Он переживал за состояние общественного транспорта в городе, а бесплатный проезд любого человека считал элементарным воровством. Продолжая мысленно рассуждать, он сделал для себя выводы, что запросы у парня минимальные и специальности стоящей у него нет. О каком-либо образовании, кроме максимум десяти классов через «не хочу», думать не приходится. Вот она, сегодняшняя молодёжь... Он утвердился в своей правоте и потерял всякий интерес к собеседнику.

Затянувшееся молчание прервал парень, он будничным голосом сообщил, что отбывал срок в тюрьме.

«Этого ещё мне не хватало, — всполошился Анатолий Фёдорович, — сидеть ночью один на один с бывшим зеком. Но ведь зеки в наших тюрьмах не исправляются, а, наоборот, повышают свою квалификацию». Правда, была некоторая вероятность, что его посадили несправедливо, чем славилась наша судебная система со времён Вышинского, и, может быть, парень ничего, в смысле хороший человек, поэтому Анатолий Фёдорович с надеждой поинтересовался:

— А за что?

Ответ звучал коротко:

— Зажмурил одного куска.

Слова были жаргонные. О значении первого из них Анатолий Фёдорович догадался. «Зажмурил» — значит убил — мёртвых зовут жмуриками. А вот кого — было неясно.

— Кто такой кусок, — поинтересовался он.

— Кусок — это прапорщик.

«Э, да это же сверхсрочник», — мысленно перевёл слово Анатолий Фёдорович на язык того времени, когда сам служил в армии, — ещё тогда их называли “кусочниками”».

— За что же это ты так круто с ним обошелся? — уже вслух спросил он собеседника.

— Он нас продал чеченам.

«Они и раньше кое-что продавали, — продолжал вспоминать Анатолий Фёдорович. — Чем заведовали, то и продавали. Кто простыни, кто меховые куртки. А сейчас уже и людей продают?» — удивился он:

— Как продал? В рабство, что ли?

Телевидение как-то передавало, что в Чечне были случаи, когда некоторые командиры за деньги подстраивали ситуации, в результате которых боевики похищали наших солдат. Именно это имел в виду Анатолий Фёдорович, когда спонтанно задал свой вопрос.

— Нет. Он нас повёл на прочёсывание местности, прежде сообщив чеченам маршрут нашего движения и время. Те устроили засаду и застали нас врасплох. Мы были растянуты в редкую цепочку и пока сбежались, много пацанов они успели погубить, правда, из них ни один не ушёл. Я лично двоим пасть порвал.

— Как пасть порвал? — спросил Анатолий Фёдорович, поражённый представленной им картиной рукопашного, самого страшного боя. Во время его службы даже речи не было о рукопашной подготовке. Правда, он служил в ЗРВ, так сказать, технических войсках, поэтому, может быть, им не надо было это уметь?

А парень продолжал рассказывать:

— Одного запорол штык-ножом, а другой навалился на меня сверху и пытался кинжалом достать моё горло. Так я левой рукой удержал его правую, которая с ножом, а свою другую руку сумел высвободить и ткнул два пальца ему в глаза, а когда он от боли отёрнул свою голову вверх, вцепился в его кадык зубами да и не выпускал, пока он не затих...

Анатолий Фёдорович мысленно представил эту ситуацию:

Вот идёт редкая цепочка пацанов с автоматами. Впереди ровное пространство, только по правому флангу цепочки есть небольшие заросли кустарника, где и затаились ваххабиты.

Вот ваххабиты выскакивают из кустов и ввиду численного превосходства сминают наш правый фланг, но не так уж быстро, если пацаны с левого фланга успевают прибежать в эту свалку. Вот этот парень впарывает штык-нож в одного ваххабита, вот второй наваливается на него. Сердце выскакивает из груди. Нож возле его горла. Вот он втыкает два пальца в глаза противника, тот от боли отдёргивает голову вверх. Борода ваххабита тоже поднимается вверх и обнажает шею. Парень впивается в его горло, слышно, как хрустит раздавленный кадык...

После паузы парень добавил:

— Когда всё закончилось, из двадцати восьми пацанов осталось нас четверо.

Это было ужасно. Анатолий Фёдорович, как наяву, увидел этих молодых солдат-срочников, которые отнюдь не отличались ни силой, ни ростом... (этот вот, который сидит рядом с ним, худой и роста среднего, и плечи вовсе не косая сажень...). Да, наверно, и кормёжка у них не была обильной, потому что «кусок», заведующий продовольственным складом, наверняка часть продуктов спускал налево. Далее Анатолий Фёдорович представил почему-то, как лежат они, эти пацаны, в одном ряду, а напротив них в беспорядке валяются трупы бородатых, откормленных на иностранные деньги, натренированных в лагерях Хаттаба и Басаева, ваххабитов.

А парень продолжал рассказывать:

— Стоим мы, грязные, в своей и чужой крови, оборванные, а пятый, прапорщик, чистенький, никем не тронутый и не помятый, даже пистолет из кобуры не вынул. И во мне вскипела такая ярость, что я выпустил в него половину автоматного рожка.

Парень замолчал. Молчал и Анатолий Фёдорович, переваривая услышанную информацию. В его понимании предательство само по себе было явлением омерзительным, но совершённое за деньги, ради денег... «Это неподдающееся логическому осмыслению действие... — так думал Анатолий Фёдорович. — Как этот «кусок» смог бы жить дальше, зная, что на его совести двадцать четыре жизни, измена присяге, данной своему народу, стране?.. Неужели настолько сместились понятия элементарной порядочности, профессиональной честности... Призванный защищать — предаёт, продаёт...»

— И что же было дальше? — прервал молчание Анатолий Фёдорович, хотя, исходя из своего жизненного опыта, заранее предвидел ответ.

— Следствие, суд, — нехотя ответил парень. — И решение суда — четырнадцать лет заключения за убийство командира.

— Но ведь наверняка твои три товарища, которые остались живы, свидетельствовали в твою пользу.

— Да. Но суд не принял во внимание их показания.

«Это реально, — решил Анатолий Фёдорович. — Справедливость и ныне редко посещает здания российских судов, потому что в ходе судебного процесса обычно торжествует не истина, а ложь, похожая на правду, и защищается не справедливость, а честь мундира, что вовсе не является тождествен-

ным. Для военного командования ситуация, когда рядовой убивает непосредственного командира, проще, чем продажа последним своих подчинённых... Менее позорная и меньше последствий для командования».

— Но ты раньше вышел?

— Да. В это дело мертвой хваткой вцепилась одна московская журналистка. Через год решение суда было пересмотрено, и меня освободили.

«Ты смотри-ка, — подумал Анатолий Фёдорович. — И от этих писак бывает польза». С недавнего времени Анатолий Фёдорович люто ненавидел журналистов всех мастей за то, что они, по его однозначному мнению, уничтожили нашу Армию в первую чеченскую кампанию. Это они громили её с тыла своими пацанскими теле- и радиорепортажами, статьями в газетах и журналах.

Установилось молчание.

Анатолий Фёдорович ужаснулся той информации, которую он только что получил. Он даже ощутил некоторую вину за собой по поводу того, что этим пацанам, этой молодёжи достаётся страна, которая находится в плачевном состоянии. Ему лично удалось прожить жизнь спокойную. Во время Отечественной войны он был ещё маленьким и провёл все тяжёлые годы в эвакуации, на Урале, в безопасности. А потом была война, но — холодная, во время которой не стреляли, и ему как рядовому обывателю громадной страны с этой стороны ничего не угрожало. «Но что нужно этому парню? Для чего он рассказывает эту историю с тюрьмой?» — подумал Анатолий Фёдорович. В его достаточно долгой жизни это был первый случай, когда человек рассказывал о том, что надо бы скрывать.

— Вы считаете, что я неправильно поступил? — прозвучал в темноте голос парня.

Вопрос был неожиданным для Анатолия Фёдоровича. «Оказывается, парень переживает, — удивился и одновременно обрадовался он. — Значит, у парня хорошая душа, значит, не сломали её ни первоначальное следствие, которое вели далеко не джентльмены, ни годичный срок, который он отбыл не в окружении интеллигентов».

— Нет, я не считаю, — ответил Анатолий Фёдорович и был искренен в своих словах. Он действительно не считал. Чтобы считать, нужно было иметь фактический материал, который можно было бы посчитать. А потом, зачем это делать, если был суд, который оправдал парня. А суду было ой как трудно изменить своё первоначальное мнение. Значит, были веские доводы в пользу подсудимого. А ещё он подумал, что надо обязательно оплатить проезд парня в автобусе, и хлопнул себя по карману, в котором должна была находиться денежная мелочь. Он не ощутил привычного позвякивания и вспомнил, что израсходовал её на кружку пива, да и запамятовал. «Ну, хорошо же, у меня в кошельке лежит сотенная бумажка, можно из неё оплатить», — продолжал мысленно рассуждать он. Но, представив, как кондуктор даёт ему сдачу одной мелочью, понял, что не будет этого делать, а сам он, как льготник, который имел определённые заслуги перед страной, имеет право на бесплатный

проезд, поэтому нет причины менять сотню. А то как разменяешь, так она быстро израсходуется.

Наступило молчание, видимо, парень ждал объяснения – почему он не считает? Но Анатолий Фёдорович не стал распространяться на эту тему, потому что в его житейской логике было много спорных положений, в которых не хотелось разбираться. Он поставил себя в такую же ситуацию и вдруг понял, что скорее всего тоже расстрелял бы этого куска, потому что имел обострённое чувство справедливости и не имел выдержки.

«Интересно, что же это за журналистка, которая из-за этого парня приобрела много хлопот, если не сказать больше. Вытащить из тюрьмы человека невозможно, потому что это подрывает авторитет судебной системы», – подумал Анатолий Фёдорович, вспомнив, с каким трудом он признавал свою неправоту перед внуком.

– И где же сейчас эта журналистка? – спросил он.

– В Смоленске, – услышал он ответ парня и вовсе не удивился. «Значит, всё-таки выжили её из московской редакции за справедливый поступок», – подытожил он. Но, будучи не уверен, переспросил у парня: – Что, потеряла в Москве работу?

– Нет, – услышал он. – Вышла за меня замуж и переехала в наш город.

Анатолий Фёдорович даже поперхнулся от неожиданного ответа.

– А где же она работает и как её фамилия? – поинтересовался он, надеясь, что читал статьи этой журналистки в местной прессе и сможет составить о ней какое-то представление: ведь, как ни крути, а она – личность.

– Она не работает. Она в послеродовом отпуске.

«Хорошо врёт, – с неохотой признал Анатолий Фёдорович, уж очень не хотелось ему менять хорошее мнение о парне, которое у него сложилось к этому моменту. – Это кто же поедет в областной город из столицы? – продолжил он мысленно рассуждать. – Если бы она, журналистка, вышла бы за него замуж, самый резон ему остаться в Москве, там и работа есть, не то что у нас, и возможности не чета нашим... По какой это такой причине она за него замуж вышла?» Не было веских доводов в пользу этого варианта. И понял он, что парень хорохорится, набивает себе цену, держит марку, может быть, раскаявшись, что посвятил чужого человека в свою тайну, что раскрыл перед чужим человеком свою душу. Хотя, перед кем раскрывать? Сейчас они расстанутся, и считай, что никому не рассказывал. «Правильно я сделал, что решил не оплачивать его проезд», – утвердился он в своём мнении.

Показался автобус. Он шёл на хорошей скорости, на которую был способен, громыхал и чадил. Видимо, водитель не рассчитывал, что на остановке есть пассажиры, и обнаружил их в последний момент, когда свет фар выхватил их из темноты, поэтому и проскочил остановку.

Парень первый добежал до автобуса, но не зашёл в него, а стал ждать, пока добежит Анатолий Фёдорович, и помог ему войти в разболтанный «Икарус».

Анатолий Фёдорович прошёл по автобусу до поворотной площадки. Там было посвободней, и он никого не стеснял своими рюкзаком и корзиной. Парень остался у задней двери автобуса.

Анатолий Фёдорович, когда к нему подошла женщина-кондуктор, показал свой документ на льготный проезд и поинтересовался — оплатил ли парень, с ним вошедший, свой проезд?

— Нет, не оплатил. Да он и утром ехал бесплатно. Нет денег у простого народа, потому и не платят. А что выпил «червивки» — так это ж нельзя смотреть трезвыми глазами на то, что творится в стране. Свихнуться можно.

Парень вышел на первой же остановке в расположении города.
Вот вроде и всё.

Ан нет. Уже будучи дома, Анатолий Фёдорович стал анализировать это происшествие. Что здесь правда, а что здесь ложь?

Прежде всего, не подлежит сомнению,
что он служил на Кавказе,
что он ходил на прочёсывание местности,
что он «порвал пасть» двум ваххабитам,
что он выпустил полрожка из автомата по своему командиру-прапорщику,
что он год провёл в тюрьме,
что его отстояла журналистка из Москвы.
А что же было неправдой?
Неправдой было то,
что журналистка стала его женой,
что она переехала в Смоленск,
что она в послеродовом отпуске, значит, у него есть дитё...

Ну, посудите сами — жена вот-вот родит, а он, безработный, не хочет ехать на дачу, чтобы воткнуть в почву картошку, и только после уговоров матери делает это, хотя должен вот-вот появиться ребёнок... Что-то не клеивалось...

Но даже при таком раскладе положительного было больше, и Анатолий Фёдорович подумал, что доверить страну молодёжи можно и нужно. Да, они другие, но они защищают свою родину, причём уже и ценой собственной жизни, как те, двадцать четыре пацана, которые погибли в рукопашной схватке...

Да этого пацана нужно было представить к награде, а не отдавать под суд! Не так он должен жить! Государство не должно так относиться к своим защитникам!

И ещё, Анатолий Фёдорович вспомнил своё поведение и ужаснулся... Ну ладно, у государства руки не доходят до каждого своего хорошего человека, но ты (это говорил он себе), мерзко, мелочно повёл ты себя, отстранившись от личного участия в судьбе этого парня. А что ты мог поделывать? А то ты мог поделывать: не думать — оплатить его проезд в автобусе или не оплачивать? менять сто рублей? или не менять? Нет, ты должен был в той ситуации отдать эти сто рублей парню, да ещё и просить его, чтобы он принял их от тебя и не обиделся...



Сергей Викторович Подольский – поэт. Родился в 1950 г. в Башкирии. Стихи начал писать со школы, издаваться с 2009 года в Ленинградской области. Печатался в газетах и альманахах «Под часами», «Блонье». Автор книг: «И в шутку, и всерьёз» (2009), «Опять весна на белом свете» (2009), «Берега» (2010), «Такая долгая зима» (2011), «Апрельская радуга» (2013), «Обратный отсчёт». (2015). Член Союза российских писателей. Живёт в Смоленске и Башкирии.

ГИТАРА ИЗ СОРОК ПЕРВОГО

Гитаре над Бугом не спится,
Как ласково пение струн!
Восток багровеет зарницей,
Воскресное утро, июнь.
Украшен гриф шёлковым бантом,
Ремень жёлтой кожи потёрт.
Как бережно руки сержанта
Берут за аккордом аккорд!
В далёкой рязанской сторонке,
Где липы так пышно цветут,
Во сне пусть услышит девчонка,
О чём его струны поют.
Но вот уж рокочут моторы,
С треноги глядит пулемёт –
И режут колючку сапёры,
Готовя для танков проход.
И скоро в снарядной воронке,
Обмотанный грязным бинтом,
Он имя той славной девчонки
Шепнёт окровавленным ртом.
С собой его смерть повенчала
В одной из жестоких атак.
Так жалобно вскрикнет гитара,
Попавши под танковый трак.

НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

Когда тебе всего лишь двадцать,
Когда в живых уж нет друзей,
Когда так нелегко подняться
Со дна раздавленных траншей,
Когда в лицо смертельным ветром
Разрыв бросает ком травы,
Когда лишь сотня километров
Немецким танкам до Москвы,
Когда последнюю гранату
Зажмёшь в немеющий кулак,
Знай, что наступит сорок пятый,
Знай, что повержен будет враг.
Когда ты упадёшь убитый
Вне власти времени уже,
Знай, ты поднимешься в граните
На том последнем рубеже.

ЗАПИСКА ИЗ СОЛДАТСКОГО МЕДАЛЬОНА

Над серым утренним болотом
Так низко облака скользят.
Ствол раскалённый пулемёта
Шипит от капелек дождя.
В дождливой серой паутине
На сто шагов вперёд – ни зги!
Шинель и каска в рыжей глине,
В болотной жиже сапоги.
Ракета вновь след дымный чертит:
Сейчас поднимутся опять.
А в восемнадцать лет, поверьте,
Так не хотелось умирать!
Родным, письма напрасно ждавшим,
Придёт по почте полевой
Три слова: «Без вести пропавший»
О тех, кто рядом был со мной.
Рука со спуском пулемёта
В одно единое слилась.
В броске немецкая пехота
Легла и снова поднялась.

Шинели чёрные так близко!
Прицел вмещает их по грудь!
Мою последнюю записку
Прошу: найдите кто-нибудь!

ПОСЛЕ БОЯ

Не нарушив мне сна непробудного,
Кто-то вытащит мятый кисет.
Из кармана достанет нагрудного
Кровью залитый милый портрет.
Усмехнётся улыбкой ленивою,
Бросит снимок небрежной рукой.
«Ишь, какая бабёнка красивая!
Видно, парень везучий такой!»

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

В утренних лугах туман, растаяв,
Лёг росой на спящие кусты.
Три пятнадцать. Курит Серкинбаев,
Мой наводчик из Алма-Аты.
Тишину рассветную нарушив,
По изгибам вражеских траншей
Залпами ударили «катюши»
И калибр тяжёлых батарей.
Полчаса гремело, не смолкая,
Упреждали вражеский налёт.
Щёлки глаз сощурил Серкинбаев,
Растянув в улыбке тонкий рот.
«Гутен морген», — пожелали фрицам, —
Долго не опомнятся небось.»
Лязгнули скрежеща гусеницы.
«По местам, ребята! Началось!»
Выросли разрывы чёрной ёлкой,
Танковых моторов ближе звук.
И ромашки, сбитые осколком,
Белым всё усыпали вокруг.
«Тигры из разрывов выползая,
От позиций наших так близки!

И приник к прицелу Серкинбаев,
Бешено крутя маховики.
Связи нет. Радист пропал бесследно.
Справа скрежет гусениц плывёт.
Там, мотором фыркая победно,
«Тигр» соседний раздавил расчёт.
Краска, шелухой оползая,
Сыпет с орудийного щита.
И лежит комочком Серкинбаев,
А пилотка кровью залита.
Мы домой вернуться не сумели:
Ведь в бою себя не берегли.
Наши мамы рано поседели...
Только «тигры» дальше не прошли.

БОЛЬ КАТЫНИ

Вскрыли землю весной воды талые.
Под сосновым смолистым стволом
Вдруг увидел я пуговку малую
С одноглавым зелёным орлом.

В соснах виснет туман белой ватой,
Глина бурым пятном на снегу.
Ты откуда взялась здесь, под Катыню,
На днепровском крутом берегу?

Залп винтовок, ударивший звучно,
Шаг последний к зловещему рву.
Дёрнул ворот мундира поручик,
Уронивши тебя на траву..

И не памяти вам, и не славы.
Чуть прикрытые глиной чужой,
Вдалеке от любимой Варшавы
Обрели вы свой вечный покой.

Среди сосен могилы, могилы...
На траву эту страшно ступить.
Видно, крови своей не хватило,
Что чужую решили пролить.

Справа высится крест католический,
Слева крест православный стоит.
Помолитесь Небесной Владычице:
Хоть она пусть всех нас примирит.

КАТЮША

Ползёт букашка по погону,
А каску солнышко печёт.
Мы «загораем» в обороне –
Стрелковой роты третий взвод.
Затишье – месяц. Редкий случай:
На фронте всё без перемен.
К нам через мины и «колючку»
Ползёт мотив «Лили Марлен».
Чужая фрау хрипловата
Твердит: «Солдата буду ждать...»
Видать, и немцам плоховато
Без баб три года воевать.
И так мотив тревожил душу,
Что крикнул взводный с матерком:
«А ну, боец, давай «Катюшу»,
Да непременно с огоньком!»
Взял гармонист ремень на плечи,
Гармошка враз отозвалась.
Со дна траншей «Лили» навстречу
«Катюша» наша поднялась.
Бой рукопашно-музыкальный
Пусть в сводки фронта не войдёт –
Сошлись две песни на нейтральной,
Заспорив насмерть, чья возьмёт.
Мотив летит над минным полем,
Победно в воздухе кружась.
И взводный очень был доволен,
Что песня, в целом, удалась.
Фокстрот немецкий смолк в унынье,
Шипит с досадой патефон.
Ну, «гансы», ждите нас в Берлине:
Пехоту, Катю и гармонь!



Алексей Николаевич Пранов — поэт, прозаик. Родился в 1961 г. Автор двух поэтических сборников: «Охотничьи трофеи» и «Пора предзимья», книги прозы «Они доверяются нам». Составитель и редактор поэтического сборника рославльских поэтов «Истоки», победитель областного поэтического конкурса «Библио-Парнас»–2014 и международного поэтического конкурса им. А.В. Мишина «С любовью к поэту» в номинации «Поэзия — это навсегда». Работал государственным инспектором рыбоохраны, государственным охотничьим инспектором. В настоящее время работает лесничим Рославльского лесничества. Член Союза российских писателей. Живёт в г. Рославле Смоленской области.

ПИЦЦА БОГОВ

Вся Пашкина библиотека легко умещается на небольшой настенной полочке, изготовленной им собственноручно давным-давно, ещё школьником. Неровным строем, вовсе не по ранжиру, на фанерной дощечке угнездились, пылясь и ветшая, фолиант популярной энциклопедии «Природа Белоруссии», несколько потрёпанных томиков альманаха «Рыболов-спортсмен», сборник ранних рассказов Чехова...

Сюда же затесался справочник по ремонту автомобиля «Запорожец». Ну и ещё несколько книжек, абсолютно разрозненных как по содержанию, так и по степени сохранности. Чувствуется, что безалаберный хозяин коллекции — книголюб так себе: не слишком ценит своё собрание, не заботится о концепции его процветания.

Но имеется у Пашки одна небольшая книжица, пользующаяся его особым вниманием: стихи местного поэта, изданные в дешёвой мягкой обложке, на внутренней стороне которой красной пастой манерно-размашисто с витиеватыми росчерками написано: «Павлу Устиновичу — истинному мастеру приготовления ухи в знак признательности от автора».

И подпись. Тоже витиевато-неразборчивая — видимо, витиям так положено.

Вообще, Пашка стихов не любит, ещё со школы, когда чуть не каждый день задавали зубрить длинные басни, занудные отрывки из поэм, отдельные стихотворения из школьной программы. Скука! Но эту, так уважительно подписанную лично ему, Павлу Устиновичу, книжку, он прочитал. Прочитал внимательно, не спеша, с неподдельным интересом вникая в суть содержания. А одно стихотворение, наиболее понравившееся, даже постарался и,

сам от себя того не ожидая, заучил наизусть — добровольно, без какого-либо нажима и принуждения. Особенно за живое зацепили строки:

Дымок рыбацкого костра
Развеет сердца смуту —
Любовь к земному так остра
В подобную минуту..

Как тонко подмечено! И красиво сказано, душевно...

Частенько Пашка, несколько тушуясь, декламирует это полюбившееся ему стихотворение в случайных компаниях. Многие слушатели умиляются, некоторые удивляются, а кое-кто даже аплодирует.

Пашке нравится...

А между тем небезынтересна предыстория такого подарка, неожиданно, хоть и с запозданием, пробудившего у человека тягу к прекрасному.

* * *

Давно уже Пашку должно было бы звать-величать по имени-отчеству — мужику за сорок, голова плешивая, — да маленькая собачонка всю жизнь щенок. Вот и Пашка — невысокий, щуплый, по-пацански живой, подвижный, глаза озорные — ну никак не дотягивал до статуса Павла Устиновича. Да он и не сожалел — было бы о чём! Главное — как работника (а числился Пашка сторожем на городской базе отдыха) его ценят, доверяя подчас довольно деликатные и ответственные поручения, не входящие в круг его непосредственных обязанностей. И ни разу он руководство не подвёл, не опростоволосился.

Вот и на этот раз... Близился один из летних профессиональных праздников, намечалось отметить его торжественно, с размахом, по заранее утверждённому сценарию: чествование передовиков, концерт самодеятельности, конкурсы, спортивные соревнования — затей хватало. Ну и неформальное общение. Накануне мероприятия на базе царила суэта: подметали, чистили, красили... В общем, как обычно, — аврал. Пашке, кадру проверенному, от завбазой поступило персональное задание: начальство по случаю профессионального праздника возжелало откусать ухи из свежей рыбы — тройной, настоящей, и чтобы обязательно на костре, с дымком, с угольком. Не подкачай, Паша! А тот и рад стараться в очередной раз продемонстрировать талант. А то! Дело привычное, чего уж там.

В воскресенье он с раннего утра засучил рукава. А ждали его великие дела.

Перво-наперво жухлой осокой и мокрым речным песком — без всяких там «Ферри», «Сорти» и прочих «пемолуксов» — до блеска была отдраена

двухведёрная алюминиевая кастрюля — уже традиционное вместилище предвкушаемой «тройной».

Не менее беспощадно подверглись подобной экзекуции по дюжине деревянных мисок и ложек — чем и из чего вкушать обжигающую губы жижицу имело архиважное значение и не пускалось на самотёк.

Воды для ухи Павел набрал самой что ни на есть чистойшей, речной... Ну, относительно чистой... Короче: зачерпнул на чистине, стараясь чтоб без песка и ила, попрозрачней — где её, хрустальную, сейчас найдёшь?

Костёр разгорелся споро, сухие берёзовые и ольховые поленья сослужили добрую службу — сразу дали жар. Пока вода закипала, дошла очередь до основного ингредиента: рыба-разносортица — лещ, щука, окунь, плотва, даже несколько линей и карась — была хитрым и таинственным образом поймана заранее, накануне. В мокром мешке, переложённая крупнолистой жгучей крапивой, совершенно свежая (бронзовые линии и карась ещё дышали и изредка трепыхались), рыба безропотно дожидалась своей неминуемой участи.

Возвышенное романтическое перо, конечно, описало бы незамысловатую Пашкину стряпню особо красочно, как некое таинство, действие, ритуал, как необычную церемонию приготовления изысканного яства по хитроумным старинным рецептам. Или же как колдовство, доступное не каждому.

На деле всё выглядело гораздо прозаичней. Без всякого камлания «кудесник» сноровисто почистил и выпотрошил рыбу, отобрав на отдельное блюдец полупрозрачные пузыри и щучьи печёнки; затем удалил жабры и тщательно прополоскал тушки. Весь запас разделил на три части: крупных щук и лещей порезал на порционные куски, отделив головы и хвосты, средних по размеру линей и карася оставил целиком, а оставшуюся мелочёвку — плотву, окуней, краснопёрок — вместе с щучьими головами и хвостами завернул в широкую, специально для этого приготовленную марлю. Вот этот марлевый узелок со всем содержимым и был незамедлительно отправлен в начинающую кипеть кастрюлю минут на десять с последующим извлечением — первая порция. В воздухе вперемешку с едким дымком стал обоняем тонкий аромат будущей ухи, легко уловимый, но трудно передаваемый. А ведь ему предстояло как минимум утроиться!

Не забыл предусмотрительный Пашка ни про картофель (положил вовремя, со второй партией рыбы, чтобы не совсем разварился), ни про соль (три столовых ложки с горкой), ни про специи, ни про цибулю с зеленью — всё у него было заранее приготовлено, разложено по полочкам, отшлифовано до мелочей. И главное — душа: приготовленное с душой обречено на успех! Правда, водка... Водка, отмеренная в стограммовый гранёный стаканчик, в уху на этот раз так и не попала: её, родимую, Пашка «усугубил» единолично, оправдав свой поступок соображением, что такая «плипорция» в общем котле погоды не сделает, а ему — за труды — самое то.

* * *

Стол для начальства сервировали по высшему разряду в тенистой уютной беседке на крутом живописном берегу реки, где хорошо продувалось от назойливых комаров. Ровно в десять, без задержки (не на работу) первыми прибыли на легковых иномарках с водителями представители администрации завода, вся головка: директор, его зам, главбух, отдел кадров, профком, начальники служб — всего человек пятнадцать. Расселись, оказалось не тесно. На красивой скатерти среди обилия разносолов Пашкино произведение даже в закопченной кастрюле выступало гвоздём программы: юшка шла «на ура» — отдуваясь и вытирая пот, шумно просили добавки «на бис». Ко многим деликатесам — сыр с плесенью, оливки с анчоусами — даже не притронулись — приелось. Вскоре на дне кастрюли осталась одна гуща — это ли не успех!

К полудню, как и намечалось, на заводском автобусе в клубах пыли подтянулись начальники цехов, участков, мастера. Некоторые пожаловали с жёнами.

Очень скоро к импровизированной кухне, где, хоть и без поварского колпака и передника, но всё же уверенно хозяйничал Пашка, вальяжной морской походкой подошёл начальник транспортного. В нарочито сдвинутой набекрень светлой капитанской фуражке и тельняшке, приветливо улыбаясь, он вкрадчиво, как дипломат, зашёл издалека:

— Здравствуй, Паша, как справляешься по камбузу?

— О! Николай Николаевич, привет! Спасибо, вашими молитвами, справляемся помаленьку, — отшутился Пашка. Но расслабляться было рано.

— Так, так... Послушай: Наталья Сергеевна из бухгалтерии расхвалила твою уху, отменная, говорит, штука. Не угостишь? — уже без обиняков, напрямую поинтересовался «дипломат».

— Так всю прикончили, Николай Николаевич. Вот собрался посуду мыть, воду в ведре грею, — конфузливо развёл руками старший по камбузу.

— Ну-у, Паша! Из резерва ставки пару-тройку мисочек на всех, по старой дружбе! Не откажи!

Вот те на! Отказывать было вовсе не в Пашкином характере, тем более такому человеку. Насчёт старой дружбы завгар, конечно, загнул на холодную, но вот совсем недавно, когда надо было перевезти тещу со всем скарбом из деревни, он действительно не отказал, уважил — выделил бортовую машину на целый день. Хороший человек, отказать никак нельзя! Пашка застыл в раздумье и растерянности.

Неожиданно его взор пал на облепленный мухами и осами тугой марлевый узелок с первой порцией рыбы. Эти отжимки были ниспосланы свыше.

— Подойдите через полчаса — что-нибудь придумаем, заговорщицки-доверительно прошептал воспрявший духом Пашка, не раскрывая секретов задуманного.

— Вот душа-человек! Не подведу — буду как штык!

И вот уже содержимое узелка повторно отправлено в кастрюлю с остатками прежней роскоши. Туда же ведро успевшей закипеть воды, соль, специи... Что бы ещё? На блюдечке томились забытые рыбы пузыри и щучьи печёнки, изрядно заветревшиеся на солнцепёке. Эврика! На этот раз Пашка действительно колдовал: перетёртая с луком в однородную кашницу, эта заправка, несомненно, уступала легендарной налимьей максе, но на безрыбье...

Через полчаса обильно сдобренная мелко пошинкованной зеленью, реанимированная уха второго замеса, как ни странно, источала приятный аромат и на вкус оказалась вполне съедобной.

— Вот, Паша, спасибо! Вот уважил, так уважил! Душа-человек! — довольно приговаривал раскрасневшийся от горячего и горячительного Николай Николаевич, наливая Пашке полный стакан зубровки. — С праздником!

Пашка выпил, но только половину — всю не потянул.

* * *

В это время из открытых окон приближающегося к базе отдыха заводского автобуса донёсся нестройный хор потраченных крепким табаком и палёным алкоголем голосов под аккомпанемент разудалой гармошки, отчаянно фальшивившей запавшей на одной ноте кнопкой. К месту празднества доставили наконец-таки обычных работяг: слесарей, сварщиков, крановщиков...

Рабочая косточка по дороге не теряла времени даром, создавая атмосферу приподнятого настроения собственными силами: при каждом торможении по салону перекатывались уже опорожнённые бутылки, грохоча и позванивая.

Пашка понял: и на этот раз не отвертеться. Покорный судьбе, он вылил в висевшую над непотухающим костром кастрюлю очередное ведро воды, осознавая: придётся сотворить чудо, подобное библейскому.

И чудо свершилось. Для этого кощунства пригодились остатки с барского стола: в ход пошли недоеденные куски красной рыбы, анчоусы и даже сыр пармезан, который с благородной плесенью.

Два пакетика перловки, четыре сочных помидора и много перца и зелени призваны были окончательно облагородить то варево, которое язык уже не поворачивался называть ухой. То и дело усталый повар задумчиво помешивал в кастрюле, не снимая накипи. Его фантазия иссякла, он чувствовал себя опустошённым.

— Эх! Прими, душа, и эту каплю! — решительно воскликнул Пашка, обращаясь к бурлящей кастрюле, и жертвенно вылил в её кипящее жерло недопиту им зубровку.

Это был последний штрих мастера, так сказать, вишенка на торт.

Всё, готово!

Непритязательная публика к кастрюле потянулась с охотой, и, на удивление, скоро та вновь опустела. Обиженно дули губы и косо смотрели те, кому не хватило.

Последняя миска, неполная, досталась тому самому поэту, местной знаменитости, принимавшему посильное участие в праздничном мероприятии в качестве гостя.

— Как называется это волшебное блюдо? — отведав, интеллигентно любопытствовал гость, изрядно потрёпанный не столько самой жизнью, сколько его к ней философским отношением: ничто не вечно, жизнь копейка, не хлебом единым.

— Уха тройная, фирменная, — скрепя сердце переступил через себя автор кулинарного изыска, тщательно подыскивая слова. — Подаётся не каждому, только избранным. Рецепт запатентован и засекречен. Короче — пища богов, кушайте на здоровье! — закончил Пашка тираду, сам удивляясь своему красноречию.

— Божественно! Божественно! — причмокивая, согласился поэт и вежливо попросил кусочек хлеба, малодушно нарушив один из жизненных постулатов.

Ему дали большой ломоть — не жалко.

Когда Пашка уже домывал посуду, со стороны эстрадных подмостков грянул туш и послышались аплодисменты — передовиков награждали грамотами и ценными подарками.

Ни того, ни другого сторожу не досталось — довольствовался Пашка тощим томиком стихов, который, после столь непродолжительного, но обоюдного приятного общения ему преподнёс сам автор, с дарственной надписью, такой уважительной и душевной.

* * *

Когда хулят что сердцу мило,
Когда за правду гонят в дверь
И где-то слева защемило ?
Всё с сердцем правильно, поверь.

Когда ж при виде листопада
Оно не ёкнуло в груди?
Тут с сердцем делать что-то надо,
Иначе пропасть впереди...

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Внучке Анюте

Много сини у России,
Выбирай на вкус любой:
Васильковый тёмно-синий,
Родниково-голубой.

Сини дали горизонта,
Горы синие собой,
Говорят, что слой озона
Тоже сине-голубой.

Напрягу воображеньё —
С чем сравнить твой ясный взор?
Может, с неба отраженьем
В глубине лесных озёр?

Может, вспомнить первый вешний
Из подснежников букет?
Лишь поверхностной и внешней
Будет схожесть — только цвет.

Есть ещё на белом свете
Дивный камень бирюза —
Может, с ним сравнятся эти
Несравненные глаза?

Отвергаю эти мерки,
Убеждаясь лишний раз:
Всё тускнеет, блекнет, меркнет
При живом сиянье глаз.

Ну, а если бы спросили,
Я бы дал такой ответ:
У тебя — глаза России,
Для меня прекрасней нет.

НА УТИНОЙ ОХОТЕ

С нехитрым скарбом – медный чайник,
Ружьё, провизия, топор—
Туда, где сам себе начальник –
На опьяняющий простор.

Туда, где целых двое суток,
Все выходные напролёт,
Смогу охотиться на уток
Вдали от суетных забот.

Где ни дивана, ни экрана,
Зато и даль, и ширь, и высь,
Где, чтоб росой умыться рано –
Природе в пояс поклонись.

Где светлых чувств в себе не прячу,
Своих эмоций не таю,
От восхищенья чуть не плачу,
Как зачарованный стою,

Минутой пользуясь – пока-то
Походный чайник закипит,
Любуюсь красками заката
Сквозь ветви чахнувших ракигит...

Да! Жизнь даётся не напрасно,
И я воскликнуть был бы рад:
«Замри, мгновенье! Ты – прекрасно!» –
Но это явный плагиат...

РУССКИЙ ЛЕС

Когда не внемлет сердце разуму
И дело кажется «табак»,
То поступает всяк по-разному:
Спешит кто в церковь, кто в кабак.

Не подражай влеченью модному.
Чтоб одолеть хандру и лень,
Изволь одеться по-походному —
И в русский лес на целый день!

Попробуй с ним душою слиться,
И станут истины просты:
И Богу можно здесь молиться,
И опьянеть от красоты.

* * *

Цветёт черёмуха, кружится голова...
И с трепетом, как будто в первый раз,
Подыскиваю нужные слова
Из вороха давно избитых фраз...

Но беден мой язык, и слаб, и груб —
Словами чувств сполна не передать,
Ну разве что слетит невольно с губ:
«Ах, Господи! Какая благодать!»



Василий Дмитриевич Савченков родился 9 мая 1947 г. в д. Корна-2 Даньковского сельского совета Починковского района Смоленской области. Журналист, краевед, член Союза российских писателей, Союза журналистов с 1975 г., лауреат премии Союза журналистов СССР, Всероссийской литературной премии им. А.Т. Твардовского, пятикратный лауреат творческих конкурсов ВДНХ СССР. Окончил Шаталовскую среднюю школу, факультет редактирования печатных изданий Московского полиграфического института, с отличием — краеведческое отделение в Смоленске, с отличием — экономический факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства ВСХИЗО. Два года заочно учился на курсах стенографии в Москве. Кинорадио-механик. Трудовой путь начинал в колхозе «Слава».

НАШ ВАСИЛИЙ САВЧЕНКОВ

(Подготовлено Починковской районной библиотекой)

В профессиональной журналистике Василий Савченков с 29.08.1967. Параллельно (с января 1980 по октябрь 2004) работал на радиовещании. После решения районных властей о прекращении работы радиовещания в 1995 открыл «Радиоканал Василия Савченкова», создал ООО «Радио», был директором, гл. редактором и диктором. В творческих конкурсах радиовещание занимало первые места в области и России. Материалы печатались в центральных изданиях. Был зам. председателя районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИИК). Делегат VI съезда ВООПИИК в Костроме. После распада СССР возглавлял отделение на общественных началах. Один из инициаторов создания районного историко-краеведческого музея, присвоения улицам г. Починка имён выдающихся земляков.

Ответственный секретарь районной газеты «Сельская новь». Учредитель, издатель и главный редактор краеведческой газеты «Починок» (с 1999).

Долгие годы известный журналист и краевед Василий Дмитриевич Савченков собирал сведения об истории деревень Починковского района. Статьи по этим материалам печатались в районной газете «Сельская новь» и вызывали у читателей неизменный интерес. Летом 2012 года Симутенкова Ксения, Толбатова Наталья Владимировна и Толбатов Владимир Николаевич объехали 22 деревни и своими глазами увидели жизнь российской глубинки. Мы выражаем огромную благодарность В.Д.Савченкову, предоставившему нам сведения о деревнях родного края, с которых и началась работа над этим проектом. Биография исследователя, в том числе и краеведа, — это

его печатная продукция: книги, брошюры. Отсутствие литературы, содержащей обобщённые сведения по истории Починка, подвигли Василия Дмитриевича Савченкова на исследование этих вопросов. Отпуска, проведённые в архивах и библиотеках, не пропали даром. Работы завершались изданием историко-краеведческих брошюр:

«Истории строки» (очерк о Починке), 2006 г.

«Сын Отечества» (о декабристе И.С. Повало-Швейковском), 2007 г.

«Сокол из Птахина» (о дважды Герое Советского Союза В. Д. Лавриненкове), 2009 г.

В районной и областной печати опубликовано более сотни статей Василия Дмитриевича по вопросам исторического, литературного, географического краеведения. В газете «Сельская новь» они проходили под рубриками: «Из глубины старинной», «Наши знатные земляки», «Починковцы — Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы», «Из истории деревень».

Выход в свет новой книги — большое культурное событие. Но если это книга о земле, на которой ты родился, вырос, о земляках, то значимость такого события вырастает многократно.

Подтверждение — слова Василия Дмитриевича:

«У кого не дрогнет сердце, когда приближаешься к уголку земли, где родился и вырос, где сложились первые жизненные впечатления? Вот почему земля починковская для меня имеет особую силу, и где бы далеко я ни находился, она будет самой близкой».

Василий Дмитриевич посвятил городу Починку стихотворение:

Наш Починок. Этот милый город
Не на каждой карте ты найдёшь,
Но всегда он сердцу будет дорог —
Здесь родился, вырос и живёшь.
Кимборово, Птахино, Загорье —
Сколько их, заветных уголков,
Где берёт истоки наша гордость
За район, за славу земляков.
Если вдруг все чувства подытожим,
Вспомним, сделать что смогли,
То поймём: нет города дороже
И вокруг дороже нет земли.

Во всех библиотеках Починковского района благодаря ему имеются все книги о малой родине А.Т. Твардовского, написанные на этой самой родине.

«Это была моя давняя мечта — собрать воедино все произведения, написанные Александром Твардовским в Загорье. От первой заметки до последнего стихотворения... Именно из этих ручейков-заметок и стихотворных строк родилась могучая река родниковой Поэзии».

В.Д. Савченков.

И журналист поставил цель — изучить эту реку от самых истоков. Написанные и изданные им книги и буклеты о жизни и творчестве великого земляка — «необычное», уникальное «явление не только в духовной жизни Смоленщины, но и русской культуры». В.Д.Савченков лично их отредактировал, оформил, проиллюстрировал. Эти книги — осознанная потребность передать свои знания другим.

Книги и брошюры В.Д. Савченкова о жизни и творчестве А.Т. Твардовского:

- «Так это было» — 1996 г.
- «Монологи Твардовских» — 1996 г.
- «Диалоги о Твардовских» — 1997 г.
- «Был поэтом правды сущей» — 2005 г.
- «Второе крыло» — 2008 г.
- «Хутор Твардовских — 2008 г.
- «Травля» — 2008 г.
- «Всегда с Твардовским» — 2008 г.
- «Вехи великого поэта» — 2010 г.
- «Хутор-хуторок» — 2010 г.
- «С именем Твардовского» — 2010 г.

В.Д. Савченков выступил как составитель и издатель книг А.Т. Твардовского:

«Я помню осиновый хутор...» — из загорьевского творчества А.Т. Твардовского — 1996 г.

«Письма родным» — письма А.Т. Твардовского родителям, сёстрам и братьям — 1997 г.

«Удел земной» — письма А.Т. Твардовского другу и критику А.В. Македону — 1997 г.

Участвовал в выпуске энциклопедии «Смоленская область» (том 2. Смоленск, СГПУ, 2003), в энциклопедиях ратного подвига смолян в годы Великой Отечественной войны: «Книги Памяти» (1999); «Книги Памяти мирных жителей» (2004), 16-томного издания «Солдаты Победы» (2008—...)

Фотоиллюстрации к книгам:

Твардовский И.Т. «Родина и чужбина» (1996)

Станкевич В.А. «Твардовский в школе» (2004)

Писаренко Н.Е. «Мать моя, Мария Митрофановна» (2008)

- Стародворцев П.С. «Командарм» (2011)
Стародворцев П.С. «О друзьях-товарищах» (2011)
Станкевич В.А. «Вам – из другого поколения» (2011)
«Книга памяти мирных жителей»
«Солдаты Победы»
«Мы кланяемся низко Тушемле
За то, что есть смоляне на земле».

Его хватает на всё. Это он стал автором идеи и одним из создателей единственного в своём роде мемориала в России, Тушемли – памятника археологии раннего железного века. Памятником-покаянием перед нашими предками называет его В.Д.Савченков, напоминая всем, откуда «...ведёт отсчёт Смоленская земля». Открытие мемориала состоялось 15 сентября 2005 года в Починковском районе недалеко от деревни Мокрядино Княжинского сельского поселения. Все, кто здесь побывал, говорят об особой энергетике этого места.

Журналистика и краеведение стали секретом неутомимого творческого долголетия В.Д.Савченкова. Круг интересов его довольно широк. Одна из его заслуг – восстановление справедливости в отношении экипажа лётчика капитана Маслова А.С., совершившего наземный таран фашистов 26 июня 1941 года, в один день с экипажем Гастелло. После материала Савченкова «Этот подвиг совершил Александр Маслов» Починковское городское поселение приняло решение установить памятный знак на территории парка имени Н.Ф.Гастелло.

Такую деятельность, когда добровольно, по зову сердца и велению совести человек посвящает свою жизнь исследованию малой родины, в меру своих сил способствует воспитанию патриотизма, преданности родному краю на Руси всегда называли подвижнической. Недаром имя Василия Дмитриевича Савченкова по праву занесено в книгу «Подвижники земли Смоленской».

В 2015 году в смоленском издательстве «Маджента» вышла книга краеведа, журналиста, лауреата литературной премии имени Твардовского В.Д. Савченкова «Наша пристань. Из истории починковских сёл и деревень» (очерки, опубликованные в районной газете «Сельская новь»).

- В.Д. Савченков – редактор и издатель книг земляков:
2003. Станченков С.П. Магнат (повесть).
2008. Атрохова Т.Г. Позови меня... (стихи).
2009. Бенделиани И.А. Строчки мыслям вслед... (стихи).
2009. Твардовский с Вами нам дороже (сборник о заслуженном учителе России В.А.Станкевич).
2011. Стародворцев П.С. О друзьях-товарищах (мемуары).

В.Д.Савченков.

Штрихи к портрету.

1975. Член Союза журналистов СССР.

1981–1985. Лауреат творческих конкурсов ВДНХ СССР.

1984. Лауреат премии Союза журналистов СССР.

1992. Член Союза журналистов России.

2000. Лауреат литературной премии имени А.Т. Твардовского.

2004. Лауреат Всероссийского конкурса «Патриот» среди электронных СМИ.

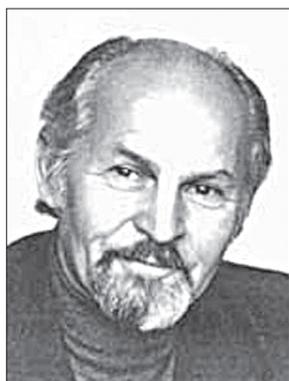
2006. Член Союза российских писателей.

2007. Награждён Почётным знаком Союза журналистов России «Честь. Доблесть. Профессионализм».

2008. Заслуженный журналист Смоленщины.

2009. Совет депутатов Починковского городского поселения решением №38 присвоил звание «Почётный гражданин г.Починка».

2012. Член Союза краеведов России.



Вилен Абрамович Сальковский (1933–2013) – прозаик. Автор книг: «Осень в Плетнёве» (1961), «Смоленская дорога» (1987), «Русская трагедия» (1999), «Избранное» (в 2-х книгах. 2003), «Храм» (2004). Печатался в журналах «Наш современник», «Москва», «Русская провинция», коллективных сборниках. Лауреат премии им. М. В. Исаковского и литературной премии им. А.Т. Твардовского (2008). Член Союза российских писателей. Похоронен на кладбище деревни Копыревщина Ярцевского района Смоленской области.

Дорогой Вере Анатольевне Ивановой

«МЮЛЛЕР» ХРЕНОВ

БЫЛЬ

Случайное – оборотная сторона неслучайного.

Теофраст

Хрен редьки не слаще.

Русская пословица

1

От правды факта я отохожу здесь совсем немного. Нынче мне – семьдесят, а в тех временах, о которых сказ, было вдесятеро меньше. Калилась зима 1942-го. Январь многоснежен, лют. Заметелится, взвоят по-вдовьи, а то – жмёт морозами, сияет невысоконьким ярко-белым солнышком, пухлые снега обрадуются, заискрятся. И за каждую хатой, кустом, сугробом – длинные мертвенно-синие тени...

В масть январю – тогдашняя жизнь в Ковякине: придавленно-тиха, но вдруг высверкнет радостной жданкой-надеждой – и наново стихла деревня, сникла в понурость многотерпного ожидания. По-иному не выходило ей. В каком километре за ковякинской околицей – большак Ярцево – Белый, единственная немцу ниточка подвоза от железной дороги к фронтовым частям, оборонявшимся той зимою в бельских бездорожьях от наших наступлений. Смоленщина полыхала партизанскими восстаниями. Сложность

положения понуждала немцев, выбитых из Подмосковья, не очень ввязываться в противодействия партизанским победам. Но вдоль важнейших дорог области, как и вдоль нашего большачка, они держались твёрдо. Так что Ковякинцам выпадало — «живи меж огней». Это и вводило в стылое терпение. Всей деревней с места не сойдёшь, в партизаны не уйдёшь, а чуть выступи из немецкой воли — каюк Ковякину.

Хреновы, Зубовы — других фамилий не было по деревне: вся в свойстве. Только мы — мама, я и сестрёнка-пятылетыш — были здесь иной фамилии: беженцы, приюченные Степанидой Хреновой. Крестьянски-крепкая вдовая многодетница-мать, хватистая на любой деревенской работе, была Степанида в той поре жизни, когда не разобрать по крепкой бабе, сколько ей — сорок, пятьдесят или сверх того. Приткнулись мы у Степаниды в июле 41-го, казалось, на самое малое время. Фронт громыхал в Ярцеве, городочке нашего постоянного обитания, и окрест, наши сдержали немца и пятили, а это — рукой подать от Ковякина, километров пятнадцать. Так держалось по октябрь. Затем, как-то враз, бои укатились за Вязьму. А нам — выбор: коротай и дальше у Степаниды либо вернись к развалинам своего городского жилья. Ярцево лежало в прахе. Мама рассудила: в Ковякине нам выйдет легче.

2

Под Степанидиным кровом царили лад, труд и крутоватая воля хозяйки. Семейство немалое — распусты не было никому. Покрикивала Степанида и на нас. Мама робела, звала её только по имени-отчеству: Степанида Устиновна. Степанидино обхождение с нами, не знавшими сельской работы, неумелыми в ней, было почасту прямодушно-обидным, но никогда не заступало черты, за которой злоба, ссорность. Корнем этому относительному ладу меж нами и Степанидой были не только её доброжелательства. Мы, уходя в беженство из гремевшего боями Ярцева, сунули в холодную печь-голландку нашей комнаты престарелую зингеровскую швейную машинку. Ею и маминими руками шито-перешито было едва ли не всё, что носили мы все довоенные годы. А в ноябре 41-го, пойдя из Ковякина оглядеться в свой разгромленный городок, мы нашли в развалах нашего жилища, в той устоявшей печке-голландке, всецело уберегшуюся старушку-машинку и рады-рады принесли её в Ковякино. С того, месяц по месяцу, за корм и приют, умело и прилежно мать обшивала Степанидино семейство и сверх — её родню по всему Ковякину.

Эту машинку помню за чудо! Не сломав ни единой иголки (из двух уберегшихся заедно с нею), не спутав ни единого шва, не сбивая в сборки ни единой из сшиваемых тканей, это добротнейшее германское поделье дореволюционной поры отличнейше сшивало всё, что в него совали: прорезиненные брезенты, парашютный шёлк, армейское хабэ, плащ-палаточную

ткань, серошинельное сукно и овчины.. Сукном, перекрасив, покрывали дёревенские шубы-самодубки. Чудо-машинка! Она влёгкую простёгивала ватные заготовки-боковинки для бурок, шивала их в самоё бурки... Я корпел у матери в подмастерьях: порол приносимые шинели, гимнастёрки, шаровары, плащ-палатки. Все это перекраивалось, перешивалось, преображаясь в платья и юбки, в ребячьи штаны и рубахи, в насыпки и наволочки... Если для управности под швейною лапкой при особо толстом швиве матери требовались туда обе руки, я размеренно и с немалым трудом крутил машинку...

В днях, когда этих подсобных моих стараний не требовалось, я охотно лепился к Степанидиной ребятне, в их дела и забавы: плести из суровых ниток сетки на рыбу и натягивать их на ивовые каркасы. Эти самоловные сооружения назывались норотами. Их вязали к шестам, ставили, погружая с головою, по самым уловным местам ковыякинской Крохотули-речонки и через день вытаскивали на берег, радостно вытряхивали заплывшую в них плотву. Вплоть до снегов и морозов мы промышляли в ковыякинском полулесе-полуболоте, обирая выспевшую бруснику с зелёно-бархатистых крупных кочек...

Из пятерых Степанидиных ребят (да трое взрослых были у ней в Красной Армии) добрейшим учителем моим в этих сельских работах-походах-забавах был шестнадцатилетний Санька, крепкий степенный малый, великоватый для дружбы со мною, семилетком, но сдруживало кино. В ярцевском кино-театре (он цел доныне в том же виде и качестве) я повидал и «Волгу-Волгу», и «Цирк», и «Весёлых ребят», и «Александра Невского», и «Чапаева»... Каждое словцо из этих фильмов, его интонации, мимика и жесты героев — неизгладимы во мне поныне. А уж тогда-то, в придавленно-тихом зимнем ковыякинском существовании под немцами (они часто бывали к нам со всяческими поборами), мне в темени бесконечных вечеров и ночей было в большую радость ради Саньки шёпотом либо вполголоса пересказывать их, вызывая в душе волненья, когда-то рождённые этими лентами. Один на всех ролях, я со всем пылом-жаром влёк моих слушателей на Степанидиных нарах в эти киноистории. Из всей Степанидиной ребятни Санька был чудеснейшим слушателем, необычайно отзывчивым на мои старанья, неизменно согласным со мною в отношениях к героям моих представлений.

3

Раз, не обметая с валенок октябрьский сыпучий снег, Санька влетел в избу, крича радостное:

— Ма-амка!.. наш Колька... с плену!..

Дверь, брошенная настежь, впустила белые клубы морозного воздуха, и вслед — невеличку-мужика, обородатевшего, исхудалого, лохматого, в дражной одежонке не по его малому телу. Войдя и тоже не закрывая двери, он

ополз спиною по притолоке, сторбатившись там, на полу, закрыв лицо руками, то ли смеясь, то ли плача, то ли давясь глухим редким кашлем. Степанида и всё семейство кинулись поднимать-обнимать пришельца... Так вошёл в мою жизнь Хренов Николай, меньший из тройки взрослых Степанидиных сынов, пленённый под Вязьмой, сбежавший из лагеря. На диво быстро он отъелся, выправился из худобы, оказавшись лобастеньким парнем: ладный неженатик с простовато-ясной улыбкой на округлом добродушном лице, во всём ловок, по-степанидиному деловит, ухватист, всякому делу мастер, повёртлив-покатлив, как колобок.

— Пограбляют нас черти немые... Тёлку днями свели, — жалобилась ему Степанида меж прочими разговорами того вечера и слезилась, расслабнув на время душой, чего прежде я ни разу не видывал за нею.

Сын улыбочато обнадеживал:

— Увернёмся, мам... нынче — так: хошь дышать — уворачивайся! Приладимся... не дурней кирпичной стенки!..

Скоро после того, в несколько дней, попрятываясь сторонних глаз, он об руку с Санькой отрыл-обустроил тайницу-погребушку за надворною банькой, поверх положили стожок соломы. Погребушка вобрала кубел сала, бочку бараньей солонины, запас зерна и картошки. Немцы, наезжавшие в Ковякино за съестным, шарились теперь у Степаниды попусту. Зато волостной старшина, недавний коммунист и советский работник малого чина Прокоп Михалыч, настороженного вида плечистый мужик, несколько раз на последних днях октября оказывался желанным гостем Николаевых застолий. В компании с этим пивал в тех же застольях угрюмый рослый ковякинский староста Стёпка Дронов, угловатый сутулый малый Николаевых лет и, как тот, в недавности — красноармеец-окруженец, воротившийся к дому ещё в сентябре, месяцем прежде Николая. После тех щедрых застолий Николая и взяли мельником водяной третьяковской мельнички, на все должности сразу: механиком и содержателем плотины и всего мельничного устройства. Третьяково — село, раз в десять больше Ковякина, в паре километров от него, раскинутое на обе стороны большака. Там был немецкий гарнизон и озеро: стародавнее помещичье — старухи-вётлы по берегам, а на плотине, запиравшей озеро, — мельничка.

Жизнь в Степанидином доме покатила проворней, обрела явную бодрость и признаки довольства. Николай привёл в собственность хорошего вороного коня. Ездил на нём к работе, но не в седле, а в лёгоньком расписном возке, сработанном своими руками. Всяко дело спорилось в Николаевых руках. Мельницу держал в отменном порядке. Его работой были довольны все: третьяковский комендант и волостной старшина, и помольцы. В феврале Николай женился. Воскресеньями молодые обязательно посещали духовщинский базар, привозили затейливое: то напольные часы с боем, то самовар-трёхведерник, то трюмо... В Степанидиной пятистенке теснело. И

вскоре Устиновна отказала нам от угла. Выставили, однако, не в шею и не на улицу. На ковякинской околице пустовал полуразрушенный дом под железом и на высоком каменном фундаменте: четыре просторные комнаты с высокими потолками, высокими окнами, полукруглыми поверху. Снег на взломанных, вполовину растащенных полах, рамы без стёкол, две полуразобранные кафельные печи довершали картину. Здесь до войны помещалась контора колхоза, а до революции жил то ли невеличка-помещик, то ли кто из богатых ковякинцев. По-всегдашнему улыбочный с нами Николай и хмурый Санька наскоро подлатали печь в одной из наиболее уцелевших комнат, приткнули к печному боку железную печечку с жестяною трубой, забили крупные дыры в полу досками, отодранными в соседних комнатах, тем же и окна: два — наглухо, третье — до полукруглой фрамуги, в которой уцелели стёкла.

— Живи, Григорьевна! Сама себе хозяйка! — доброхотно пожелал Николай, разогретый работой. — Под своей крышей — милое дело. Ни ты никому, ни тебе никто!..

Душа во мне болела. Разочарование — всегда боль. Николай во многом нравился мне. Теперь же я понимал: если он и Степанида запросто среди зимы выставили нас, пусть и не в чисто поле, но в не очень-то годное жильё, значит, они — плохие. Я почти физически ощущал в них какую-то тёмную перемену. Эти болезненные ощущения, однако, сколько-то умерялись Степанидиными и Николаевыми стараниями не брать на себя всю тяжестью греха за такое переустройство нашей жизни, не просто вытурить постояльцев, долго и старательно работавших на Степанидино семейство, но в чём-то и пособить нам обживаться на новом месте. Устиновна оделила мою маму двумя чугунками разной меры, треснутой сковородой и хорошим топором, не очень тяжёлым, почти посильным мне.

— Не гневайся, моя Григорьевна, — сказала утешно, — свои — да и те, бывает, не сживаются...

На новом месте нам с сестрёнкой чаще всего приходилось дневать-ночевать без мамы. Ковякинские, кто хотел что-либо сшить-перешить, были уже обслужены прежними нашими стараниями. Мама шила теперь по ближним деревням, возвращаясь в Ковякино на день-два лишь под исход недели, принося торбу заработанных продуктов. Моей главной заботой-работой сделались дрова. Каждый день я с топором и саночками отправлялся в Ковякинский мох, нарубал посильных берёзок, обсекал, увязывал на санках и волок к дому..

4

Зима не жалела снегов. После каждой метели немцы требовали от старост придорожных деревень указанное число народа на расчистку большака. Он напоминал тоннель, пробитый во всё более нараставших белых стенах. Ковякинский угрюмец-староста в каждом таком разе заходил и к нам, требуя мать на расчистку (а чистили, бывало, и по два, и по три дня подряд). Мама торопливо стирала в ночи наше бельишко, а поутру — на большак. Раза два обронила перед Стёпкой укорные слёзы: «Малые дети... дома не сижу — всё на мои руки! По совести ли вы меня равняете к остальным нашим деревенским?». Его раздражало, что она не изворачивается, не подлещивается, а тычет ему в совесть. Угрюмел, потискивал желваки:

— Завтра чтоб шла... как штык.

— Какой вы бессердечный человек, Степан. Вернутся наши, как вы в глаза мне посмотрите?

Он сронил глухо:

— Грозишь?.. ну, я сострою...

В ночи, бессонному, мне мнились козни, которые состроит нам Стёпка. Он состроил вот что:

— Собирайся, интеллигенция вошивая! Отшилась! С глаз долой! В Германию едешь. Завтра.

Мама, за нею — малолетка-сестрёнка заплакали. А в моей душе сотворилось иное: неизведанная Германия сказалась интересною далью... Пуд жита, весь наш запасец, Николай Хренов поменял на муку — фунт за фунт. Степанида в своей просторной русской печке выпекла из того пять увесистых караваев чистого хлеба. Не то что мы — все ковякинцы уже давно не пекли, не ели чистого хлеба, добавлялось мякины, картошки. А мы с сестрёнкой в предотъездную ночь умяли без малого каравай чистейшего житного хлеба. Мама не жалела... В ту ночь, ни на час не ложась, мы пошили себе новые бурки, перелатали одежду.. Комната наполнилась народом: как к покойнику сошлись-набрели старухи, молчком сидели, порой крестясь и вздыхая. Мы, тоже молчком, хлопотали над сборами. Наконец всё было сделано, грудка узлов возвысилась у порога. Я вышел на улицу.

Белело морозное утро. Вполнеба золотела заря — вот-вот было явиться солнцу. Верхушки обындевелых берёз по деревне уже видели его и приветно желтелись. Луна призрачно-бледно скромницей тоже дожидалась солнцевосхода. Ковякино тонуло в сугробах. Они, массивно-покатистые, лежали подле каждой хаты, при некоторых — на всю высоту задней стены, взобравшись и выше по скату соломенной кровли на самую печную трубу. Ребяшня, обитавшая в этих избах, даже пробовала кататься на саночках прямо от печной трубы. Струйчатые полупрозрачные белые дымы стройными весёлыми столбами всходили в блеклую голубизну чистого неба. Казалось, не из тёплых

изб, а изнутри этих переливчато поблескивающих огромных сугробов, обжигало-тёплых внутри, весело тянутся выше и выше по-братски схожие столбы белых дымов. Нечто сказочное, милое просвечивало во всей этой картине. И вдруг радостно хлынуло солнце... Что-то мучительно сжалось во мне, перехватывая глотку, капнули слёзы: мне расхотелось в германскую даль...

— Тпр-р, — сказал Николай своему вороному, запряжённому на этот раз не в возок, а в обыкновенные обшарпанные розвальни, и велел мне: — Иди, скажи матери: грузитесь.

Сумрачен, из тех же саней вылез Санька Хренов и, отводя от меня глаза, сказал брату:

— Его самого бы туда... Стёпку!

Николай притоптал прошипевший в снегу окурок, равнодушно сплюнул в другую сторону и пожал плечом:

— Трёх берут с каждой деревни. Разнарядка на волость. Кого сошлём? Вся деревня — свои. Или ты поедешь? А об них, — он кивнул на меня, — кому печаль? Да Стёпка на Григорьевну зуб точит. Сама виновата: насолила ему.

Санька вздохнул. Я каменел подле саней, подавлен равнодушным Николаевым согласием: «а об этих — кому печаль?»

— Иди, чего стоишь! — подогнал он меня. — Волоките узлы. Нечего простаиваться!..

Мы погрузились, поехали. Бледная от бессонной ночи и свалившегося несчастья, мама тихо плакала. Сестрёнка спала, приткнувшись к узлу. Я мучился, не в силах одолеть своей потрясённости только что слышанным от Николая жестоким: «а об этих — кому печаль?»... Волостная управа и комендатура — в двухэтажной былой третьяковской школе, подле самого большака. Трое спускались с каменного крыльца: волостной в белом полушубке, зимней шапке и два немца: офицеры в фуражках с чёрными обогревательными наушниками и в зелёных шинельках под ремнями и портупелями. Вдруг в наших санях, влекомых вороным шибкой рысью мимо былой школы, истошно-слёзно вскричала мама, простирая руки:

— Прокоп Миха-алы-ыч!..

Те трое, остановясь, взирали недоумённо. Волостной сделал, вероятно невольно, какое-то невнятное движение рукой, вдобавие остановительному. Николай натянул вожжи, солдатски-готовен, проворно соскочил с саней, тянулся, выкатив подбородок. У Стёпки-старосты (он сопровождал нас) получилось хуже: сидел с винтовкою на коленях, подмяв наши узлы, обращённый спиною к школе, и при первых звуках маминого крика, приборотясь, ткнул её кулаком, набавляя матерное:

— Смолкнись... мать-мать! — и лишь затем заметил остановившихся офицеров и волостного, соскочил с саней, но второпях и, наверное, от накатившего волнения, поскользнулся, грохнулся об дорогу, обронив винтовку.

— В чём дело? — недовольно спросил волостной.

— Зло имеет... в Германию шлёт староста! Беженка я, — заспешила мама, торопясь, чтобы не захлестнули рыдания. — Детишки на руках... не всегда могу выйти на расчистку дороги. А он — в Германию... что они там, дети малые, наработают? Проедим больше...

Толстоватый и много более молодой против второго, немец тихо наговаривал что-то другому, высокому и сухому, чьё лицо враз напугало меня властно-холодной невозмутимостью.

— Ком! — велел этот рослый, набавив слово движением пальца, то и другое обращая к старосте.

Стёпка подступил, будто на деревянных ногах. Рослый что-то сказал товарищу — и тот, в изумление мне, спросил совсем как русский:

— В чём твои претензии, староста, к этой женщине?

— На дорогу отказывается... — пробормотал совершенно опешивший Стёпка-угрюмец.

Дальше случилось ещё более неожиданное для меня.

— Вдовая баба, господин лейтенант, — сказал Николай, сам собою мешаясь в разговор и не меняя солдатски-готовной позы, не опуская выкаченного подбородка. — В летку по прошлому году квартиру ей в Ярцеве разбомбило. Беженка. У матери моей жила. Шитьём кормится. Ни кола, ни двора. Платят — кто ведром картошек, кто зернеца сыпанёт. С такой платы шей и шей, чтоб детей пропитать. А метелей по нынешней зиме — через день. Детной, вдовой, где ж ей наравни с деревенскими быть на расчистке?

Я не верил своим ушам! Живой болью во мне ворочались иные, во всем противоположные Николаевы слова, сказанные им на нынешнем солнцевосходе: «А об этих — кому печаль?»

Лейтенант перетолмачил рослому сказанное Николаем и, словно бы в поощренье, спросил:

— Что ещё скажешь, мельник?

— Простите, господин лейтенант... я — по правде...

Тут и волостной, наружно не становясь ни на какой стороне, дал свое к этому придорожному случаю:

— Помню её, помню.

Лейтенант усмехнулся, перетолмачил и это рослому. Тот сказал что-то угрозно-хлёткое, глядя на Стёпку. Лейтенант перевел:

— Господин комендант советует тебе, староста, зарубить на носу: великая Германия нуждается в настоящей рабочей силе.

Нас вернули.

5

На обратной дороге, радостно плача, мать благодарила Николая за доброту сердца, а угрюмцу Степану клялась никогда не пенять ему за нынешнюю неправоту.

В Ковякине, в благодарственном застолье, пия принесённую Николаем пару бутылок самогонки и под его балалайку, сошедшиеся ковякинцы съели всё, наготовленное в дальнюю нашу дорогу, и, захмелев, пели «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя...», а Стёпка плясал «русскую».

— Мол-лдец, Григорь-рына, — хвалил Николай. — Увернулась! Так и ж-живи... нынче — только так: хошь жить — уворачивайся!

А мне было больно. Трепетной благодарности к Николаю, бурно полыхнувшей во мне там, у крыльца бывлой третьяковской школы, в ответ на верные непрошенные Николаевы слова, теперь не было и помину. Мне всё яснее виделось-угадывалось, в чём корень нежданной и, кроме меня и Саньки, никому не ведомой и, казалось бы, столь решающей для нас с матерью Николаевой перемены подле крыльца третьяковской комендатуры. Ловкач, он первым из всех нас там почуял, как из-за Стёпкина падения и оброненной им винтовки, из-за Стёпкиной растерянности, нагрывушей на него, враз невольно переменялось в обоих офицерах, а чуть погодя и в волостном, отношенье к неудалому старосте. И сметливец Николай тотчас сделал самое надобное к своей выгоде, что мог в тех обстоятельствах: он мгновенно стал на сторону тех, кто сильнее...

В ночи, на стылых нарах нашей ковякинской высокой комнаты, которую никак не могла обогреть железная печечка, я попрекнул маму:

— За что ты хвалила Николая? Зачем скормила всё наше? Не попадись те немцы, не повались с саней Стёпка, не оброни винтовку, Николай бы за нас ни слова не сказал!

— Я знаю, сынок... да на радостях душа плохого не помнит... Не думай о плохом, сынок! Спи... сегодня у нас — радость.

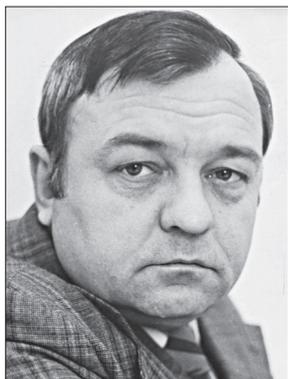
Осенью 43-го угрюмец Стёпка и шустрый мельник Николай Хренов равно подались отступить с немцами. На Стёпке была кровь. На Николае — нет, остался-таки всего-навсего «мюллером», не очень-то и виноватым в каком-либо существенном, поистине предательском сотрудничестве с немцами. Мог бы и не таскаться за ними в их отступления и разгромы. Но гнал страх: останешься — спросят же: «Ну что, сволочь? Сладко было? Такая беда у народа, такая война — а тебе только до себя? Ну, давай — в Сибирь, за проволоку, лет на десяток!?» А за проволоку он не хотел.

Годы и годы прошли с той поры. Ни единого участника этой были, кроме меня и моей сестрёлки, не осталось в живых. Нет и Ковякина, исчезнувшего уже после войны, как по разным причинам исчезли и продолжают исчезать тысячи и тысячи деревень на просторах пустеющей России... Думается, од-

нако, что в этой давней истории есть-таки ниточка кровотокающей связи со временем нынешним. Нынче у нас — царство свободы для хватких людей, чья цель — деловой успех, деньги, комфорт собственной жизни. Цель — неплохая. Около полусотни веков человечество тянется к ней своею самой повёртливой, преуспевающей частью. Но и для неё успехи весьма двойственны. Есть на путях к этой цели некий обязательный камень преткновения, положенный свыше. На нём — надпись: «Иди. Но помни: будешь подличать — погубишь себе судьбу и душу». Разумеется, этого упредительного камня старались и стараются не замечать, в надпись не верить. Пророчество, однако, сбывается вполне исправно. Это относят обычно ко всяким случайностям. Но случайное, как сказано у Теофраста, — это обратная сторона неслучайного.

Ловкому ковыякинскому парню Николаю Хренову тоже не приметился (да под военной грозой!) этот упредительный камень — и пророчество исполнилось. Можно, конечно, объяснить проще: в те времена, чтобы выжить и поиметь успех, надо было жить, как разрешено и приказано, а не выкомаривать что-то своё. Нынче — другой коленкор! Особенно для тех, кто при власти, при деньгах и не очень старается о белизне своей совести. Посчитайте-ка, сколько хваткого люда на просторах нынешней России старательнейше, день за днём гробят себе души и судьбы в жарких погонях, подчас совершенно безумных — «любою ценой!» — прежде всего прочего за деньгами, за деловым успехом, за комфортом собственного быта, отрекаясь ото всего прочего! А прочее — судьба всего народа, судьба всей России. Не в этом ли был виновен и ковыякинский мельник давней оккупационной поры, «мюллер» Хренов?

Тут есть над чем думать.



Владимир Иванович Тазов (1938–2002) — поэт, прозаик, публицист. Стихи печатались в смоленских газетах, альманахах, поэтических сборниках («Первые стихи», «Ровесник», «Смоленский семинар поэтов»). В 1958 г. принят в Литературный институт им А.М. Горького. В 1961 г. издал первую книгу стихов. Вторая книга, «Терема», издана в 1967 г. На Смоленщине изданы книги «Денница», «Зимородок», «Снежная Скифия». Член Союза российских писателей. Похоронен на Братском кладбище г. Смоленска.

ЖАЛЕЙКА

На звук её, таясь от ребятишек,
бежал я по кустарнику, а там
бугор в кольчуге из сосновых шишек
отчаянно грозил босым ногам.

Но вот и пойма, мята: «Здравствуй, деда,
дай мне в жалеюку дунуть хоть разок!» —
Вступая чуть застенчиво в беседу,
тростинка подавала голосок.

А мой старик — он в сухонькой ладони
горсть земляничин спелых подносил:
«Ты, хлопчик, так — обида сердце тронет —
играй полям, авось прибудет сил».

И уходил, и вслед листву качало,
и от росы охватывала дрожь.
«Ещё когда придёшь?» — ему кричал я.
И эхо на всю жизнь:
«...когда придё-ёшь?..»

БЕРЁЗОВЫЙ ТУЕСОК

Внучонок иван-марьиных полян
и дерева с берёстою нагретой,
а дедушка из племени полян
рукою заслоняется от света
отвесного.

Хитринку обронив,
мох белой бороды своей погладил:
«На туесок и по лесу броди».
И, синими моргнув,
добавил:
«...младень».

С морозным скрипом крышку набочок —
и земляникою запахло донце:
сухой обыкновенный круглячок
весь в трещинах от времени и солнца...

* * *

Кладочка через овраг лопушиный —
сбиты скобой две дубовых доски.
Нет для испуга особой причины —
хоть оступался, а края достиг.

Жаль вот в судьбе оступить под ветром —
и на шагок даже некуда нам.
Времени сзади — ни километра,
словно бы срезано всё по пятам.

Взгляд, если будет в отжившее брошен,
не возвратит ни дела, ни друзей.
— Кладочка, как же ты держишься в прошлом?
— Только на памяти светлой твоей.

ПОЗДНИЙ ХЛЕБ

И для меня он был за той чертою,
которую удача провела.
Летел я в жизнь, как на коне в ночное,
расхристанный ветрами, без седла;
«Эй, догони!»

А вот сегодня понял,
хотя считал и раньше, что не слеп,
да будет он благословен, хлеб поздний,
Работы и раздумий поздний хлеб.

Вы гляньте: стены крепостные, башни
в проломах, снесены пальбой зубцы,
как будто не стоял тут день вчерашний
и не ходили у бойниц стрельцы.

Вьюнок зелёный, листьев лепетанье
на тех камнях, где бился звон подков.
Безжалостен хлеб поздний созерцанья,
но лишь ему подвластна даль веков.

Настанет день, надвинется разлука,
а с ней и он, прозренья поздний хлеб.
Былая жизнь ударит каждым звуком,
куда бы ни бежал и ни был где б:
«Берёзка? Тут стояли...Песня? Пели
её вдвоём...»
Страшней недуга нет.

Вот почему оставь хоть ветку ели
нетронутой
в счастливый свой рассвет.
Чтобы начать вторую жизнь, как с вехи,
не обagrённой памятью былой.
 О, поздний хлеб,
 ты не дарован сверху.
О, поздний хлеб,
ты взят такой ценой.

ФАУСТ

Боюсь я стыка совести с согласием:
их tete-a-tete, до срока не шалея,
аукнется таким вдруг своевластьем,
что крови

смыть его
не пожалеешь.

Казалось бы, и не видна уловка,
та, что готова душу горем тронуть,
а Фаусту уже боеголовка
привинчена: «Привет фауст-патрону!»

Всё правильно. Ни капли чувства риска.
Печальнее всего на свете повесть.
В конце её — ландо худого рикши
везёт, везёт разъевшуюся совесть.

КОМПРАЧИКОС

1

Есть, друг Горацио, вещи такие,
что вылетают слова за строку,
словно бы шар
бильярдный
от кия
с пятнышком белым на гладком боку.

Лузы трещали — играли минёры
(кто ошибается только раз).
Госпиталь чуть размагнитил их норов,
хмурую настороженность глаз.

Не удалось этим двум, что играют,
лица свои уберечь от огня.
Больно смотреть: от края до края —
как развороченная броня.

Родина в стареньком белом халате
снимет бинты и проводит домой.
Если читали вы «Русский характер»,
я не сулю вам развязки иной.

На гимнастёрку нашивку наколют.
Люди раненье уважают.

...Но вдруг
в жизнь мою
врезется
не осколок,
душу отыщет
страшнее недуг.

2

Скажем, такое: компрачикос помнишь,
в ком так нуждался Иаков Второй¹?
Как воровали наследников в полночь
и уносили под чёрной полой?

Шайка анатомов подворотни:
час — и лицо у тебя не твоё.
Свежую кровь почуют вороны,
злее компрачикос, чем вороньё.

Выкрадут облик сестры твоей лиры.
Тихо. Не слышен и шорох подошв.
Выхолостят,
что невольно
на клирос
петь «Miserere»² аллегро пойдёшь.

Всё. Ты не тот — и до гроба, до гроба
ты, потерявший лицо, не у дел:
где твоя хартия вольностей, чтобы
правды добиться, которой хотел?

¹ Британский король Иаков Второй Стюарт (17 в.)

² Помилуй (лат.).

Если, однако, удастся добиться,
злые уста могут судьям сказать:
«Тем ли вручим мы наследство —
их
лица
не узнаёт даже мать?»

ВОЛХВА-ОСЕНЬ

Ладьи из дубовых досок плывут по Днепру.
Щиты на бортах, гнутый конёк впереди.
Приближаются, удаляются
деревья у самой воды, селища на холмах.
Ветер подует — облако листьев осенних
подыметса и осыпает воду золотой чешуёй.
Кол, одиноко стоящий, дребезжит лошадиным черепом.
Солнце справляет янтарную тризну.
Ковш деревянный на светлой земле.
(«Князь Игорь и Ольга на холме сидят»)
Осталось на каждом сучке по листку,
будто флажки на копьях.
Праматерь всех наших песен и сини в глазах,
волхва-осень!
С посохом, вырезанным в лесу, странствует терпеливо.
Посмотрит на листья — они багрянеют, как зори,
благославляет птиц — летите в дальние страны,
погладит русалку — спи, милая, жив твой жених,
любовь его рядом с тобою под камушком белым лежит.
Волхва-осень.

Пророческая пора.

Самец из оленьего стада сбивает с коня Мономаха,
куст прокалённых рогов пронёсся у самого сердца
намёком на то, как надо Русь защищать.
Дуб на поляне, не стой половецким шатром,
слышишь — дождём тростниковые стрелы шумят?
у новгородских причалов — норманнские суда,
словно подбитые птицы, вёсла в реку уронили.
А родина ожидает столетие за столетьем.
Глина просёлков никак не дожждётся петровских ботфорт.

Улицу грязной деревни телега весь день колесует.
Но ждать оставалось недолго. Хотя б своего воплощенья:
болдинская осень вокруг опускает шлакбаумы,
к чернильнице приближается пушкинское перо.
Тихо. Чуть ветерок – и берёзы, как одуванчики, облетают.

Аминь!

Осень, волхва моя,
далее, далее что?

(Молчание)

– Не знаешь?

– Знаю.

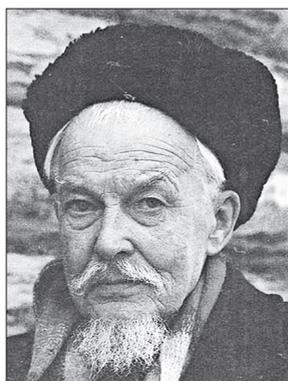
– Ответь!

– ...последней строкою.

ЗАБАВЫ

Я с детства не умел бывать менялой,
Однако, если у кого видал
Стекло увеличительное, днями
Ходил, чтобы оно досталось мне.
Я не канючил и не отступал.
И наконец однажды летним утром
Садился на крыльцо и наводил
Стегляшку выпуклую на запястье:
«А жжётся, если даже полминуты
Недвижно подержать», – я говорил
Соседскому парнишке. И бывало
На расписании уроков выводил
Таинственное имя, и дымилось
Оно – то имя, иногда огнём
Вдруг вспыхивало: пепел сиротливо
Кружился тихо. Но великодушно
Мне будущего не напоминал.
Однако не о том,
Наверно, я
Всё чаще вспоминаю те минуты,
Чтоб глубже почерпнуть благоразумья.

Нечаянно мы прозреваем вдруг,
Что детские потерянные игры —
Источники великих откровений,
Нам этого лишь было не понять.
И вот сегодня выпуклую линзу
Я отыскал среди рухляди чердачной
И поскорей на улицу. О боже,
Как остро жжётся солнечный пучок!
Подумалось: а ведь из ничего
Рождается отчётливое жженье,
Достаточно до точки низвести
Широкий ветер солнечный. А впрочем,
А впрочем, посещение забавы
Забыло от печали оградить.
Я жжение души на составные,
Как бы в обратном беге киноплёнки
Незримо разложил и тут увидел:
Мы из чужого в основном. Чуть ветер
Дыхание цветов с полей докатит,
Нам хорошо, и верится в благое.
А шум листвы среди ночи, в тишине
Едва-едва промчится воровато —
И рябь тревоги покрывает слово,
А тень стихотворенья: «Нет, не те
Товарищи со мной, чтоб выжить снова».
И вот не спишь уже, и страшно, страшно.
А ведь всего-то шум листвы среди ночи.
Так день за днём.
Марионетка звуков,
И цвета, и оттенков, и движенья.
И вечно сотни ниточек не дремлют
«А есть ли человек как таковой?»
Ей-богу, подождите улыбаться.
Забавы детства отвечают мне:
«Он — ничего, он лишь пучок лучей
В стекле увеличительном.
А жжётся...»



Иван Трифонович Твардовский (19.10.1914 – 19.06.2003) – русский литератор, краснодеревщик, резчик по дереву и кости, диссидент, младший брат поэта Александра Твардовского. Произведения: «На хуторе Загорье» (док. повесть. – М.: Современник, 1983. – 160 с.); «У нас нет пленных»: Страницы пережитого (Новый мир, № 10. – М., 1991. – С. 140–192); «До и после 58-й статьи» (литературный альманах «Дядя Ваня», № 3. – М., 1992. – С. 34–185); «Родина и чужбина: Книга жизни» (Смоленск: Посох: Русич, 1996. – 351 с.). Член Союза российских писателей. Похоронен на кладбище деревни Сельцо Починковского района Смоленской области.

НАШ ИВАН ТВАРДОВСКИЙ

Владимир Макаренков

При составлении этого альманаха-книги возникли определённые трудности с материалами некоторых членов нашей организации, ушедших из жизни. Геннадий Васильевич Пастухов, взявшийся за сбор материалов, буквально устроил мне осаду по материалу Ивана Трифоновича Твардовского. Я хотел было связаться с родственниками писателя. А потом подумал: нелепо как-то печатать какую-то часть из его произведений, хорошо бы опубликовать очерк или эссе о нём. К сожалению, таковых материалов в писательской организации не оказалось. Более всего из писателей наших с Иваном Трифоновичем общалась Вера Анатольевна Иванова, как председатель организации. Но она, к сожалению, не написала такого очерка, хотя предисловие книге «Родина и чужбина» написано ей. В 2002 году, как начальник пресс-службы УФСИН РФ по Смоленской области, я по служебной линии работал с корреспондентом «Московского комсомольца» Катей Сажневой. У неё было редакционное задание подготовить в газету материал о колонии-поселении. Мы с ней плодотворно съездили в Десногорск, в колонию-поселение №5. В свободное от работы время я на правах радушного хозяина показывал журналистке город, рассказывал о его культурной жизни и, конечно, о писателях. И когда Екатерина услышала об Иване Трифоновиче Твардовском, что он живёт в доме для престарелых в Вишенках, глаза её вспыхнули, и она спросила меня, а мог бы я устроить с ним встречу, чтобы написать о нём статью. Я ответил, что всё возможно, но вот ведь времени уже нет, командировка её заканчивается. Тогда Катя сказала, что она поговорит с редактором газеты и специально приедет взять у Твардовского интервью. И приехала. Втроём, Вера Анатольевна, Катя и я, мы приехали в Вишенки к Твардовскому.

А 1 мая 2002 г. в «Московском комсомольце» вышла статья «Где же ты, брат?». Через год, 30 июня, в той же газете была опубликована статья Екатерины Сажневой «Умер последний Твардовский». А в Смоленске, насколько мне известно, никто не написал очерка о жизни Ивана Трифоновича. И решил я воспользоваться свободной энциклопедией, что существует уже более 6 лет в Интернете – Циклопедией, где собран на настоящий момент более-менее полный материал о жизни И.Т. Твардовского. Благо Циклопедия позволяет пользоваться своим материалом читателям. К сожалению, в Циклопедии не указан автор статьи. Потому от имени писателей нашей организации выражаю искреннюю благодарность создателям и составителям Циклопедии за статью об И.Т. Твардовском, которую мы перепечатаваем в этой книге. Добавлю лишь от себя, что, когда я прочёл подаренную мне Иваном Трифоновичем книгу «Родина и чужбина», я ясно осознал, что, для того чтобы лучше понимать творчество и жизненный путь великого поэта Александра Трифоновича Твардовского, непременно нужно на столе держать и книгу жизни его брата Ивана.

Биография*

Детство и юность

Иван Трифонович Твардовский родился 19 октября 1914 года на хуторе Загорье, возле деревни Сельцо Смоленской губернии, в семье сельского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского (1880–1949) и его супруги Марии Митрофановны (в девичестве Плескачевской, 1888–1965), происходившей из однодворцев. Братья – Константин (1908–2002), Александр (1910–1971), Павел (1917–1983), Василий (1925–1954), сёстры – Анна (1912–2000) и Мария (1922–1984). Грамоте Иван обучался на дому, в основном у старшего брата Александра, параллельно работая по хозяйству. В 1925 году он поступил сразу в третий класс четырёхклассной школы и спустя два года успешно окончил её. В это же время он вместе с отцом и братьями участвует в строительстве кузницы.

В 1929 году Иван Твардовский поступил в пятый класс Лобковской начальной школы. Проживая на квартире в селе Лобкове, он совершает первую самостоятельную поездку в Смоленск, к своему брату Александру.

Коллективизация. Раскулачивание. Ссылка на Урал.

Весной 1930 года началась коллективизация, и семья Твардовских была обложена непосильным индивидуальным налогом. Летом того же года се-

* Циклопедия (<http://cyclowiki.org>)

мья, надеясь найти выход из создавшегося положения, вступает в Ляховскую сельскохозяйственную артель «Заря»; работа в кузнице прекращается. Вскоре отец уезжает на заработки в Донбасс, а Иван с братом Константином, опасаясь преследования властей за невыплату наложенного на семью налога, едут на некоторое время к своему знакомому в Китаб (Узбекистан). Константин тем временем заочно приговаривают к одному году заключения в Смоленской тюрьме, куда он и попадает по возвращении домой.

В феврале 1931 года Иван был исключён из школы как сын «кулака». В марте — апреле, в разгар кампании по раскулачиванию, семья Твардовских была выселена из Загорья и почти в полном составе (кроме Александра) этапирована в товарных вагонах на Урал, до станции Ляля (ныне в Екатеринбургской области). Здесь Иван Твардовский работает на лесоучастке Ново-Лялинского леспромхоза; условия работы и жизни здесь были настолько невыносимыми, что уже в течение первого года из жизни ушли сотни спецпереселенцев. Вместе с Константином Иван предпринимает несколько попыток побега; скрываясь, он работает возчиком и грузчиком угля на чугунолитейном производстве на Тёплой горе, затем на алебастровом производстве на станции Утёс, на погрузке зерна, на лесоповале, в пожарной команде на Ново-Лялинском бумажном комбинате, на заводе на станции Тёша (Нижегородская область). Его отец и брат Павел также бегут из ссылки; после этого отец некоторое время работает кузнецом в совхозе «Гигант» под Можайском под именем Демьяна Никитьевича Тарасова.

После ссылки

В ноябре 1932 года Твардовский был задержан при облаве на Казанском вокзале в Москве. Вскоре он был устроен рабочим на стройке, затем делопроизводителем в конторе, однако был уволен за оскорбление рабочего на национальной почве. В конце того же года вся семья бежит из ссылки и перебирается в Нижний Тагил, а затем в село Русский Турек Уржумского района Вятской области. Весной 1934-го Иван предпринимает поездку к родителям в Русский Турек, а летом того же года — в Смоленск, где встречается с братом Александром и другими родственниками. Зимой 1933/34 года работает на Каширской РГЭС.

Летом 1934 года Иван Твардовский устраивается через биржу труда на Московский учебный комбинат, работает на железнодорожном ремонтном заводе (Можерез) в Люблино-Дачном подручном сталевара у сталелитейных электропечей. После увольнения с завода осенью 1936 года устроился в совхоз «Старый большевик» (Раменский район Московской области). В апреле 1936 года брат Александр помогает семье с переездом в Смоленск. В декабре 1937 года Иван навещает семью в Смоленске. Практически сразу после этого он, опасаясь репрессий, переезжает из Москвы в Нижний Тагил, где устраивается на работу в тресте «Уралмашстрой» на строительстве завода оборонной промышленности. Здесь он знакомится со ссыльной поселенкой

Марией Васильевной Романовой (1917–2001), на которой и женится 7 июля 1938 года. Их сын Валерий, родившийся 29 мая 1939-го, был зарегистрирован комендатурой НКВД по группе ссыльных поселенцев, несмотря на письмо Ивана Трифоновича лично Сталину. В возрасте семи месяцев у Валерия была диагностирована водянка мозга.

В сентябре 1939 года Иван Твардовский предпринимает короткую поездку в Ставрополье, где поселился его брат Константин после отбытия трёх лет за побег из района спецпереселенцев. После запуска завода Твардовского переводят из строительной организации в его транспортный отдел. Уволившись позднее с завода, Иван Трифонович работает в группе аналитической отчётности планового отдела «Коксохимстроя»; его шефом становится Сергей Андреевич Богинский, с которым он уже работал в «Уралмашстрое».

В годы войны. Жизнь в финском плену.

26 июня 1940-го Иван Трифонович призван на службу в Красную Армию. В течение года после этого он служит на границе с Финляндией, близ города Сортавала, где проходит «курс молодого бойца». В это время он узнаёт из письма жены о рождении дочери Тамары. В первые дни войны Иван Твардовский в составе 1-й стрелковой роты 367-го стрелкового полка принимает участие в боях на пограничной заставе в Вяртсиля. В этой операции погибло около 120 человек (три четверти личного состава роты), а командир роты и его замполит бежали с места боя; сам Твардовский был взят финнами в плен (16 июля 1941). После этого он был отправлен во временный лагерь для военнопленных; спустя двое суток его в группе из ста человек направляют на металлургический завод. С осени 1941 Твардовский работает на кирпичном заводе в Тохмаярви. Здесь он приступает к изучению финского языка, чтобы поддерживать контакты с финскими рабочими — многие из них с сочувствием относились к советским военнопленным. После нескольких месяцев пребывания в Тохмаярви Ивана Твардовского и других военнопленных отправляют в занятую финскими войсками Восточную (советскую) Карелию: вначале на станцию Пяжиева Сельга, а спустя ещё месяц — в бывший лагерь НКВД в Петрозаводске, где он работает на чурочном производстве.

На второй год войны Ивану Твардовскому, как и многим военнопленным, был предложен выбор: воевать в финской армии против СССР либо работать в лесной глуши «в строгой изоляции». Не желая воевать против своих соотечественников, Твардовский выбрал второй вариант, после чего был направлен в лагерь в Финляндии, недалеко от Яанекоски, для работы на лесоповале. Условия содержания пленных здесь были весьма гуманными, во многом благодаря усилиям сержанта лагерной охраны. Иван Трифонович имел возможность, параллельно с работой, продолжать изучение финского. Во время работы в лесу ему однажды попалась берёза с большим капом, что привело его к мысли заняться резьбой по дереву (некоторый опыт в этом деле Твардовский имел ещё с подростковых лет). Свои изделия он продавал местному населению.

В мае 1943 года, после неудачной попытки побега из лагеря вместе с другим пленным, Твардовский был направлен в штрафной лагерь для русских военнопленных близ Мустасаари (около города Вааса). Условия жизни для пленников здесь были весьма тяжёлыми. В Ваасовском лагере Твардовский познакомился и сдружился с Николаем Дьяковым – пленным родом из Рязанской области; спустя почти тридцать лет они встретились вновь. Из штрафного лагеря Твардовского вызволил предприниматель шведского происхождения Сёдерлунд: в июле 1943 года, когда его предприятию, изготавливавшему мелкие детали для моторных катеров, понадобился литейщик, он уговорил начальника лагеря направить к нему Ивана Трифоновича и ещё одного военнопленного. На предприятии Сёдерлунда Твардовский проработал более года.

Побег из Финляндии

К мысли о бегстве в Швецию Иван Трифонович начал склоняться ещё в период работы на лесоповале под Янекоски, узнав из газет, что Швеция, будучи нейтральной страной, проводит интернирование беженцев со всех концов Европы и содержит их в хороших условиях. Остаться же в Финляндии он не считал возможным, поскольку опасался принудительной выдачи Советскому Союзу по окончании войны, после которой он, как бывший военнопленный, неизбежно попал бы в ГУЛАГ.

Работая у Сёдерлунда, Твардовский продолжает обдумывать план побега. В конце августа 1944 года он, переодевшись из робы военнопленного в гражданскую одежду, тайно покинул предприятие Сёдерлунда и отправился на угнанном велосипеде вдоль побережья Ботнического залива в сторону пограничного со Швецией города Торнио. Дорога почти в пятьсот километров заняла около полутора месяцев. По пути Иван Трифонович нанимается в крестьянских хозяйствах копать каналы, питается преимущественно лесной брусникой, а при задержаниях полицией выдаёт себя за эстонского беженца.

К середине октября Иван Твардовский добирается до Торнио и, при помощи полковника финской полиции, которому он представился эстонцем, переходит вброд пограничную реку. Здесь он был задержан шведскими полицейскими, помещён в арестантскую камеру и вскоре допрошен; во время допроса он впервые с момента пленения финнами назвался собственным именем.

Жизнь в Швеции

После примерно двух недель пребывания в Торнио Твардовского направляют в лагерь для интернированных беженцев недалеко от Умео. Большинство русских интернированных, живших в лагере, были представителями интеллигенции, однако у Ивана Трифоновича отношения с ними не сложились: узнав, что он – брат Александра Твардовского, они ошибочно посчитали его «тайным агентом НКВД». Исключением стал инженер Бронислав Яворский, представлявшийся сыном «известного в своё время московского солиста». [Прим. 1] и сам обладавший хорошим баритоном.

Получив в конце ноября 1944 года шведский «паспорт для иностранца», Твардовский устраивается на работу на лесозаготовках акционерного общества «Бюваттен», недалеко от города Шеллефтео. Вместе с ним здесь работают ещё несколько интернированных из СССР, а также местные крестьяне. В это время Иван Трифонович постигает основы шведского языка, надеясь найти в будущем более достойную работу в Швеции. Читая шведские газеты («Дагенс нюхетер», «Стокхольмс тиднинген» и другие), он узнаёт об успехах Красной Армии на фронтах войны, а также о бесчеловечном отношении сталинского руководства к освобождённым из немецкого плена и к интернированным. Осенью 1945 года становится известно о том, что шведское правительство вынуждено выполнить требование Сталина об экстрадиции в СССР более ста беженцев из стран Балтии.

Работая на лесозаготовках, Твардовский пишет письмо в Финляндию – Анне-Лисе Сёдерлунд, дочери владельца литейных мастерских, где он некогда работал: между ними тогда установились дружеские отношения. Он сообщает (на финском языке), что жив и здоров, приносит извинения за её угнанный велосипед и выражает готовность возместить его стоимость в удобной ей форме. Её ответное письмо было полно добрых пожеланий; помимо прочего, она прислала ему шведско-русский и русско-шведский словари, а также пособие по шведской грамматике.

Примерно на девятый месяц жизни в Швеции Иван Твардовский принимает решение уволиться из лесного хозяйства «Бюваттен» и найти работу по своей специальности (резьба по дереву). Уже перед самым отъездом он встречает молодого школьного учителя, боготворившего русскую литературу, изучавшего русский язык и всю жизнь мечтавшего встретить живого русского. Вообще, о жителях шведской глубинки у Твардовского остаётся самое положительное впечатление. Обратившись в «Арбетсфёрмедлинг» (биржу труда), Иван Трифонович устраивается резчиком на частное семейное предприятие «Резьба по дереву Свенссона» в селении Индальсэльвен, недалеко от города Сундсвалль. Помимо него, здесь работало ещё восемь человек, включая самого главу предприятия, Гарри Свенссона, его жены и братьев. Живёт Твардовский прямо в рабочем кабинете Гарри. У него складываются доверительные отношения со всеми членами семьи Свенссонов, а особенно близкие – с Конрадом Хёглундом, тестем хозяина. Определённую роль здесь сыграло и то, что Свенссоны были религиозными людьми, евангелистами лютеранской церкви.

Возвращение на родину

Ещё с момента пленения финнами Иван Трифонович Твардовский надеялся рано или поздно вернуться на родину, где оставалась вся его семья. Получив в Швеции свободу и достигнув материального благополучия, он почувствовал ностальгию ещё сильнее. Непосредственную подготовку к репатриации он начал после того, как в августе 1946 года прочитал «Обращение

правительства СССР ко всем советским гражданам (подданным), находящимся за границей...», напечатанное по-русски в газете «Свенска дагбладет». В конце декабря того же года Твардовский, распрощавшись со Свенссонами и получив благословение пастора местной евангелической общины, отправляется в Стокгольм, где обращается в советское посольство по вопросу возвращения на родину. Его направляют в консульство, располагавшееся неподалёку. Консул Петропавловский сообщает Твардовскому, что именно в день его обращения он получил свежий номер журнала «Огонёк», открывавшийся стихотворением его брата Александра «О Родине». Петропавловский обещает Ивану Трифоновичу содействие в возвращении, а на время подготовки предлагает поселиться в стокгольмской гостинице, арендованной советским консульством. Спустя неделю Иван Твардовский отправляется на пароходе в финский порт Турку, оттуда на поезде в Хельсинки, где в сопровождении «товарищей» (предположительно агентов МГБ) пересаживается на ленинградский поезд. По прибытии поезда в Выборг Твардовского высаживают из поезда и помещают в местную тюрьму. По прошествии двух дней его допрашивают и направляют в Лубянскую тюрьму (с короткой остановкой в Ленинграде с целью досмотра). Ещё через неделю состоялся допрос, после которого началось следствие по делу Ивана Твардовского.

В Чукотлаге

Следствие продолжалось несколько месяцев. Всё это время Иван Твардовский проводит в одиночной камере Лубянской тюрьмы; пережить эти месяцы ему могли помочь только книги, которые менялись раз в неделю. В конце мая 1947 года Твардовского ставят в известность о том, что он приговорён к десяти годам исправительно-трудовых лагерей по ст.58 п.1б («нарушение воинской присяги»). Интересно то, что сам Иван Трифонович этот документ не читал и не ставил подпись об ознакомлении с ним. Судебного разбирательства также не было.

Ожидающего этапа в лагерь Твардовского помещают в камеру для осуждённых. В течение примерно месяца его постоянно перемещают из одной камеры Лубянской тюрьмы в другую и из Лубянской тюрьмы в Лефортовскую. Иван Трифонович разговаривает с другими осуждёнными, они рассказывают друг другу свои судьбы. Этап был отправлен эшелоном Москва – Иркутск в начале июля 1947 года. В пути Иван Твардовский, опасаясь ограбления уголовниками, обменивает большую часть личных вещей на съестное. Тогда же он пишет письмо своей жене – впервые за последние семь лет. После короткой остановки в Иркутской пересыльной тюрьме Твардовский был вызван на этап в эшелоне, отправлявшемся в Находку; туда он и прибыл к концу июля.

В пересыльном лагере, под открытым небом, в Находке Иван Трифонович провёл более двух месяцев. Условия жизни заключённых были невыносимыми: даже спать приходилось прямо на голой земле. Наконец в конце

сентября Твардовский отправляется этапом на Чукотку в трюме парохода «Миклухо-Маклай».

По прибытии в Чукотлаг Иван Твардовский был госпитализирован в лагерную больницу. Вскоре ему было предложено начертить эскизы инструментов, необходимых для резных работ по дереву. Как и многим квалифицированным специалистам (врачам, инженерам и т. п.), а также высококлассным мастерам редких профессий, Твардовскому «повезло»: он не был отправлен в безлюдную местность на общие работы (например на рудниках). Поселили его в комнате при больнице, однако в качестве рабочего места ему первоначально было отведено помещение морга, о чём Иван Трифионович вспоминает с ужасом; впрочем, заведующий лагерной аптекой, с разрешения начальника санотдела, согласился отвести ему место для работы в аптечном бараке. Поскольку подходящего для работы дерева на Чукотке не нашлось, Твардовский стал использовать кость мамонта.

Некоторое время Иван Трифионович занимается изготовлением мебели для аптеки, однако потом его переводят в лагерную зону, в бригаду разнорабочих-строителей, где ему поручается носить носилки. Спустя два дня начальство лагеря определяет его в столярную мастерскую; по требованию Твардовского ему были предоставлены необходимые материалы и инструменты, и он приступил к изготовлению мебели в кабинет начальника ОЛП.

В 1948 году Иван Трифионович Твардовский был направлен модельщиком в открывшийся литейный цех. Из числа рабочих цеха у него появляются близкие друзья – Иван Сидорович Бондаревский и Александр Андреевич Машаров. Параллельно с работой Твардовский, как и ранее в Финляндии, выполняет резные работы для заказчиков, только в качестве материала использует мамонтовую и моржовую кость. Среди его работ – статуэтки животных, браслеты для наручных часов, прорезные футляры для часов, скульптурная резьба на моржовых бивнях, миниатюрные шкатулки, медальоны и многое другое.

В конце 1948 года для заключённых были введены зачёты за рабочие дни: при выполнении дневной нормы выработки до ста пятидесяти одного процента стало засчитываться два – три дня; таким образом, у Твардовского появилась возможность отбыть свою «десятку» за три – четыре года. Одновременно были открыты ларьки с изделиями из мамонтовой и моржовой кости и для заключённых, учреждены лицевые счета.

Из переписки с женой Иван узнаёт о её встрече с его братом Александром в августе 1948 года, во время его визита в Нижний Тагил, и о смерти дочери Тамары ещё в годы войны. В 1951 году умирает от водянки мозга и сын Валерий. Налаживается переписка и со старшим братом Константином.

В декабре 1951 года имели место жестокие баталии между заключёнными лагеря из числа уголовников – вновь прибывшими и старожилками. Произошло несколько убийств как ночью, так и днём, на производстве. Лагерное

начальство поначалу никак не реагировало. Когда уголовники саботировали выход бригад на работу, об этом было доложено начальнику лагеря, и тот отдал приказ об открытии огня по толпе заключённых, среди которых было и много невиновных, без суда и следствия. В результате погибло 93 человека, также было много раненых. Хоронили погибших лишь в марте 1952 года; в захоронении принимал участие и Твардовский.

После освобождения

27 мая 1952 года Иван Трифонович был досрочно освобождён из Чукотлага по зачёту с обязательством отработать на Дальстрое по вольному найму половину сокращённого срока. Он устраивается на квартиру к молодой семье из Горького (Нижнего Новгорода). Однако уже в конце ноября начальник отдела кадров управления Чукотстроя Михайленко позволил Твардовскому покинуть Чукотку — при условии, что тот отгравировет для него рельефом моржовый клык. Условие было выполнено, и 24 ноября Иван Твардовский отплывает из порта Эгвенкино. Во Владивосток пароход пришёл к 20 декабря; ещё примерно через две недели Твардовский добирается по железной дороге, с несколькими пересадками, до своего дома в Нижнем Тагиле, где встречается с супругой.

В последующие годы семья предпринимает несколько поездок к родственникам в Смоленск. Одновременно Твардовский пытается восстановить связь со старшим братом Александром Трифоновичем. Он с ним изредка переписывается, а в 1954 году они встречаются в Москве. В целом, отношения двух братьев так навсегда и остались непростыми.

В феврале 1956 года Твардовский с женой, потерявшие обоих детей, удочеряют двухлетнюю девочку Ольгу. В марте Твардовские переезжают в Смоленск. В сентябре семью навещает Александр в компании Александра Дементьева. Однако смоленский заработок Ивана Трифоновича здесь был значительно ниже уральского, а жена со специальностью коксохимика не могла устроиться здесь на работу. Поэтому уже в марте 1957-го семья Ивана Трифоновича возвращается в Нижний Тагил.

Иван Твардовский серьёзно заболевает: в феврале 1965 года у него был диагностирован грипп, а ещё через неделю его госпитализируют с пневмонией. Через некоторое время рентгеноскопия дала повод к подозрению на рак, и в конце апреля Твардовский отправляется для онкологического обследования в Москву. Московские врачи не подтвердили диагноз рака. Во время этой поездки Иван Трифонович в последний раз встречается с братом Александром. В декабре 1968 года семья переезжает в Красноярский край (а семь лет спустя поселяется в посёлке Танзыбей Ермаковского района). В 1971 году Иван Трифонович едет в Москву на похороны Александра.

Возрождение хутора Загорье. Литературная деятельность

Весной 1977 года Иван Трифонович Твардовский получил письмо от старшего научного сотрудника Смоленского областного музея-заповедника Р. М. Минкиной с просьбой изготовить что-нибудь для экспозиции, посвя-

щённой А. Т. Твардовскому. Одна из его поделок к тому времени уже находилась в музее Смоленского пединститута. И Иван, вспоминая своё детство и стихи Александра Трифоновича, посвящённые родным местам, принимает решение изготовить для музея деревянный макет загорьевской усадьбы Твардовских, ликвидированной коммунистами после выселения из неё семьи в 1931 году. К середине октября макет был готов; в Смоленск он был отправлен по железной дороге.

Установка макета широко освещалась как местными, так и центральными газетами. Его снимки Твардовский разослал многим литераторам — исследователям творчества брата; макет произвёл на них большое впечатление. Так, В. В. Дементьев в очерке «Поездка в Загорье» («Литературная Россия», 31 марта 1978) впервые призывает к восстановлению загорьевского хутора, в последующие годы этот вопрос неоднократно поднимается представителями творческой интеллигенции и прогрессивной общественности.

Первая с 1931 года поездка Ивана Трифоновича к месту родного хутора состоялась в 1980 году. В последующие годы он активно занимается литературной деятельностью: публикуется в журналах «Новый мир» (долгое время возглавлялся его братом Александром), «Юность», в альманахе «Дядя Ваня». В 1983 году издательством «Современник» издаётся его документальная повесть «На хуторе Загорье». [Прим. 2].

В 1985 году Иван Трифонович принимает участие в торжествах по случаю 75-летия со дня рождения Александра Твардовского, проходивших в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге).

Помимо прочего, супруги Твардовские славились в Танзыбее как прекрасные садоводы и огородники. На своём участке они выращивали облепиху, крыжовник, смородину, помидоры редких сортов.

В мае 1986 года Иван Твардовский получил письмо от директора областного музея-заповедника А. П. Якушева с предложением приехать в Смоленск для изготовления обстановки, бывшей в доме Твардовских в Загорье. Ему было предоставлено место для работы, а также квартира. Сразу же по приезде он принимается за изготовление по памяти копий мебели, стоявшей в отцовском доме; его помощником стал один из работников совхоза «Починковский» Павел Филиппович Романов. Официальное решение «О возрождении усадьбы Твардовских на хуторе Загорье» было принято Смоленским облисполкомом 1 сентября того же года.

При воссоздании обстановки хутора за основу был взят макет усадьбы, изготовленный Твардовским в 1977 году. Однако восстановление интерьера избы и других построек было невозможно без личного присутствия Ивана Трифоновича на строительной площадке. При этом строительные работы затягивались, в проекте не были учтены многие работы — например необходимость восстановить рельеф места усадьбы, нарушенный при строительстве

автодороги к совхозу. Поэтому в октябре Твардовский с женой переселяются из Сибири на Смоленщину.

В возрождении загорьевского хутора принимали участие многие энтузиасты как из Смоленской области, так и со всех концов страны – поклонники творчества Александра Твардовского, школьные товарищи Ивана Трифоновича, общественность района. К осени 1987 года усадьба в основном была восстановлена, а в июне 1988-го состоялось официальное открытие музея, приуроченное к 78-летней годовщине со дня рождения Александра Трифоновича. Единственным хранителем Музея-усадьбы становится Иван Твардовский.

Последние годы жизни

В 1996 году смоленским издательством «Посох» была издана книга мемуаров Ивана Твардовского «Родина и чужбина».

В 2001 году умирает супруга Твардовского, Мария Васильевна, а ещё через год – старший брат Константин, уехавший в сибирскую глушь и не отвечавший на письма. Бродячие псы загрызают дворовую собаку Ивана Трифоновича. Все эти события повергают его в глубокую депрессию.

19 июня 2003 года Иван Трифонович Твардовский ушёл из жизни в возрасте 88 лет; он был единственным из братьев Твардовских, умершим на малой родине. Похоронен на сельском кладбище у деревни Сельцо Починковского района, близ хутора Загорье 1.

Примечания:

1. По-видимому, речь идёт о Болеславе Яворском.
2. Следует отметить, что 170 машинописных листов тогда не было разрешено к печатанию; эти страницы увидели свет только в 1988 году в журнале «Юность» № 3 («Страницы пережитого»).

К ЛИТЕРАТУРНОМУ ПОРТРЕТУ ИВАНА ТВАРДОВСКОГО

Олег Ермаков

Главы книги «ВОКРУГ СВЕТА»

Дом поэта

(...)

И в это время была опубликована книга Ивана Трифоновича «Родина и чужбина», я начал её читать параллельно со стихами, а потом и вовсе отложил поэзию и полностью погрузился в горькие воды этой удивительной прозы.

Книга Ивана Твардовского необычайно полна, часто в одном абзаце заключён рассказ, а то и повесть. Язык книги своеобразен, как-то детски чист и порою неловок. Здесь предпринята попытка охватить всю историю семьи Твардовских. И главный её герой показан без приукрас.

Возможно, вопреки истинному желанию Ивана Трифоновича, в книге возникает образ своенравного, сановитого даже с родными, словом, забронзовевшего советского поэта-лауреата-депутата, отрекавшегося от семьи — был такой тягостный эпизод, когда Трифон Гордеевич вдвоём с Павлушей явились в Смоленск после бегства из уральского поселения к Дому Советов, где в редакции работал Александр, и тот, выйдя и увидев их, отказал им в помощи и даже пригрозил позвать милиционера.

И в ссылке прислал письмо, в котором писал, что ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, детей...

После пьянящего открытия местности стихотворной прозы младшего брата была как ушат, омут холодной воды. Оглушительное похмелье. Из огня — да в полынью. Проза пробирала до костей. Неукротимый характер Твардовских был показан с документальной дотошностью. Чего стоят только три побега Константина и Ивана из уральского гиблого лагеря, куда Сталин загнал всю семью, исключая Александра. Приключения на «запретных дорогах» стоят целой повести или даже романа. А в книге им посвящено несколько страниц. Завшивленные, голодные, братья мечутся по глубинам родины, сталкиваясь с ворами, милиционерами, рабочими, сердобольными женщинами и теми, кто с готовностью продаст их — был такой негласный закон, что выдавшему беглых спецпереселенцев выплачивалось вознаграждение. А что же Александр?

«...и с окаменелым сердцем шёл он трудной дорогой своих планов», — пишет Иван Трифонович, познавший войну, плен, лагерь, о своём знаменитом брате.

Может ли быть поэт с окаменелым сердцем? Может ли поэт так свысока относиться к простым людям, к тому же шофёру, личному шофёру, который привёз его на Смоленщину однажды, на день рождения брата Константина, и Александр Трифонович даже не пригласил его к столу, ответив на замечание Ивана, что о нём нечего беспокоиться, денег он получает сполна. Или в ответ на просьбу брата, выброшенного судьбой в чужедальную степь, о небольшой денежной помощи написать поучительно, что надобно рассчитывать на свои силы. Да и много другого вспоминал Иван Трифонович.

Простые отношения между родными и поэтом словно были поражены недугом. Это сказывалось в жестах, но особенно в речи. Речь Александра Трифоновича в передаче Ивана крайне неприятна, это смесь чего-то почти официального и свойского, но свойского какого-то странного, холодного.

« — Ну, друзья, давайте примем серьёзный вид! — сказал Александр (...). — Я хочу сделать... простите — одарить брата Ивана».

В речи и поступках поэта сквозило что-то механическое. Вне всякого сомнения, он выглядел высокомерным.

И складывалось впечатление, что Александр намеренно отстранялся потом и от Ивана, и от Константина, и от отца, не хотел слышать о пережитом, при встречах сразу сбивал с толку, например, заявлял Ивану, что у него причёска дурна. Поразительно, но Иван так и не сумел поведать поэту о своих мытарствах, о начале войны, которую он встретил рядовым на границе с Финляндией, о пленении, побеге, жизни в Швеции и доверчивом возвращении на родину, крепко *заклучившей* его сразу в объятия: Особое совещание решило так – десять лет. И, здравствуй, Находка, а там подан пароход «Миклухо-Маклай», и в ледяных волнах зеков везут на самый край отечества – на Чукотку, где после высадки в пятнадцатиградусный мороз в летней одежде гонят в баню, и кладовщик приветствует голого новичка, с дурной силой ударяя поочерёдно бушлатом, а потом штанами, шапкой, валенками и выкрикивая: «Получай, сука, раз! Два! Три!..» И на нарах Иван вспоминал приём у посла в Стокгольме, вспоминал, как тот радостно встретил его и принёс журнал «Огонёк» со свежим стихотворением брата «О Родине», и, читая строки о тоске *в дальней дали зарубежной* по не богатой ничем стороне, брат поэта плакал.

Но мне уже эти строки читать не хотелось.

Землемер, инспектор комитета счастливых земель, прибывший сюда в командировку, был бы растерян: после такой удачной находки, после открытия, новости, которую сообщил косец в тени серебристого тополя на Васильевском ручье, вдруг узнать всё это. Да и явно не всё.

Ещё не забыть стихи о Сталине, долгое и трудное почитание вождя, которое затем поэт пытался заменить почитанием *истинного* кумира – Ленина, но портрет Сталина, раскуривавшего трубку, так и не отправлял на свалку со стены своей дачи.

О Сталине Иван спросил однажды знаменитого брата-депутата и лауреата прямо: как же, мол, так? Ведь ты его славил? А теперь *резко начал совсем по-другому?*

Сразу дать ответ Александр Трифонович не смог. И вот ответ поэта: «Я так чувствовал. Я подчинялся моим чувствам».

Мне вспоминается похожая реплика одного человека, продавшего родительский дом в обход остальных братьев: «Так было надо». Жалкий, хотя и многозначительный ответ.

Впрочем, как раз землемер из Поднебесной, возможно, и спокойно отнёсся бы к последним упрёкам, если только он был истинным конфуцианцем.

Но мне-то по душе больше природный анархист Чжуан-цзы.

Принуждать себя любить чью-то поэзию или прозу у меня никогда не было и нет резона.

И я решил вернуться к старой трактовке местности: это земля Меркурия. О нём вообще ничего не известно. Только то, что поступил на службу к смоленскому князю, повёл городской полк навстречу с монголо-татарами,

сразился у Долгомостья, победил, но был обезглавлен, да так и вернулся к стенам города, держа свою голову..

Скорее всего его привезли на телеге, пытался я поправить легендарное сказание.

На карте, где была обозначена местность, Сельцо и Загорье, достаточно было просто не очерчивать карандашом. Вот и всё. В конце концов, это наше дело, никому от этого ни холодно, ни жарко. А в будущей книге о поэте можно и не упоминать вообще.

С появлением «Родины и чужбины» разрешилась ещё одна тайна. Взглянув на портрет Ивана Трифоновича, я сразу вспомнил, как возвращался в пригородном поезде из похода и обратил внимание на сидевшего в дальнем углу пожилого человека в пиджаке, «тирольской» шляпе, с легковейной рериховской бородкой. Это было ещё в восьмидесятые годы, фотографии Ивана Трифоновича мне не попадались, так что этот пассажир, отрешённо сидящий в углу и весь ушедший в созерцание бегущих мимо окон пейзажей, показался мне странным и загадочным. В нём было что-то несомненно крестьянское, но от остальных пассажиров с загорелыми открытыми лицами, громко обсуждавших сельские проблемы, он весьма отличался.

Только через несколько лет и этот секрет открылся. Но, конечно, загадка самого человека не могла так просто разрешиться.

С Иваном Трифоновичем я упустил возможность познакомиться. К этому времени я числился в той же писательской организации, что и он, печатался в журналах «Годы», «Под часами», в которых появлялись и его статьи. Это было удивительно. Более того, смоленский поэт Вера Иванова, нежно опекавшая старика в его последние одинокие горькие годы, привезла мне из Загорья «Родину и чужбину» с дарственной надписью автора. Надо было собраться с духом и отправиться в Загорье. Но я всё медлил.

Этот эпизод чем-то напоминает историю с Домом поэта, к которому я так и не вышел тем осенним солнечным вечером.

В Загорье уже приехал по скорбному поводу: Иван Трифонович умер.

Хоронили брата поэта хмурым летним днём. Хутор казался притихшим, невзрачным. В глаза бросилась музейность, неестественность всего. Слышны были речи...

А мне вспоминались строки из его книги: «Я ничего не искал, кроме права жить свободно и честно трудиться, и вся моя жизнь прошла в труде».

Находка

Но легче было сказать, подумать о местности, как крае Меркурия, и только. С той встречи с косцом под серебристым тополем у Васильевского родника — всё не всё, но что-то определённо изменилось. И, бывая в мест-

ности, отдыхая в тени белкинских лип и глядя на засохшие семь ив, я не мог думать только о Тао Юаньмине. Мысли обращались к тем, кто здесь действительно жил.

В обнаруженной старинной карте-схеме смоленских станов Долгомостский стан, как я и предполагал, включал и Белкино, и Сельцо. Жалко было перекраивать эту карту, словно перекраивать историю.

Пожалуй, на сторонний взгляд, здесь и нет никаких проблем. Но пешеходу местности так не казалось.

Поднимаясь по ручью в Васильево и пробуя там вкусные яблоки с одной яблони, вспоминал, что это аркад, я показывал их в Смоленске торговцу яблоками. А Иван Трифонович пишет, что отец мечтал развести сад, посадил яблони и каждую закрепил за кем-то, Александру достался как раз сахарный аркад. И приходило на ум читанное об этом Васильеве, что Васильево — деревня основательная, в ней открыли избу-читальню, где можно было почитать книгу или посмотреть кино. Даже драматический кружок действовал... Руководила им сестра учителя Марья Радькова. В избе-читальне собирались парни и девушки, Яшка из Воскресенска играл на скрипке, часто приходил сюда и загорьевский начинающий поэт, читал стихи. После чтения стихов, как вспоминает местный житель Кошелев, Александра окружали девушки. Кошелев, сам кропавший стишки, честно признаётся, что завидовал.

И здесь, в Васильеве, как и в Белкине, росли берёзы, а одна мне особенно нравилась, высокая и сильная, с какими-то плавными ветвями, потом я её много фотографировал, но ничего хорошего не получалось. Легко снять заснеженный пик или восход солнца в море, а вот берёзу с повислыми ветвями?

Скинув рюкзак и подставив мокрую спину холодящему ветерку, сидел в тени, ел яблоки и думал, что, как ни крути, а главная новость Васильева — это Твардовский и Радькова. Не думать о них здесь было бы смешно и нелепо.

В эту Радькову Александр был влюблён. Семнадцатилетний поэт, хуторянин и селькор, публикующий заметки в газетах, посвятил ей стихотворение, которое прямо и назвал «Любимой»:

Сегодня я влюблённо-тих,
Впиваю нежность глаз твоих,
И сам готов тебе сказать,
Чего не выведала б мать.

По сути, стихотворение связано как раз с этим Васильевом. Много ли тут у нас стихотворных деревень?.. Стихотворных дорог и берёз...

Критик и близкий товарищ смоленских лет Твардовского Македонов пишет, что эта любовь была неразделённой. Так что герой, который видит себя в будущем израненным обрубком, через гражданскую лирику в этом

стихотворении высказывает сердечную боль. *Гроза над тишью нив* быстро оборачивается угрозой будущих сражений. Впереди *строгости войны*: кровь, огонь, ранения... Причудливое двухголосие.

Укромный днепровский берег без дорог, где в молодых дубках я ставил палатку, на царской карте был помечен знаком и словом «Паром». И мне всё-таки удалось разыскать там следы стародавней дороги. Размышляя о том, точнее, о тех, кто здесь мог ездить, вдруг вспомнил, что в стихотворении «У Днепра» речь идёт как раз о пароме. Взгляда на карту было достаточно, чтобы определить: от Загорья именно до этого парома ближайший путь. Через Николау Славажского, деревню Боровую, деревню Мончино. Там дорога и обозначена. И по ней скорее всего и приезжал мальчик с отцом: «И не чудо ль был тот случай: / Старый Днепр средь бела дня / Оказался вдруг под кручей / Впереди на полконя». Отец затормозил телегу, сунув в колёса кол, обнял коня, и они спустились к воде, на паром: «И паром, подавшись косо, / Отпихнулся от земли, / И недвижимые колёса, / Воз и я — пошли, пошли...»

Что именно они с отцом возили на тот берег «За неведомой, студёной / Полосой днепровских вод», не уточняется, может, сено на продажу, может, дрова или что-то ещё.

Паром на Днестре, Белкино, Васильево... Славажский Никола — и «Потерянный рай» Мильтона. С высоты Славажского Николау открывался вид на Ляховский лес, где и была найдена эта книга...

А как-то мне попала статья о сельском библиотекаре Иванове. Он утверждал, что в Ляховском лесу крестьяне, опасаясь казаков после разгрома усадьбы, спрятали пианино, и мальчик Саша из Загорья поведал ему о странных звуках из этого леса. И библиотекарь повёл его туда и показал пианино. По клавишам прыгали синицы, наполняя лес странной музыкой.

В Славажском Николе в ветреные дни и мне мерещилась музыка, точнее, высокое женское пение. Видимо, этой иллюзии способствовал вид старого парка, в котором затаились руины барского дома.

В надежде отыскать какие-то новые сведения о местности я брался за воспоминания о Твардовском, написанные прозаиками, поэтами и его земляками. Так мне попались *семь тетрадей* старшего брата.

Константин Трифионович, потомственный кузнец и ветеран, тоже оставил записки о семье.

Братья Твардовские в один голос замечают, что жили трудно и скудно. Константин добавляет, что и скучно было на хуторе. Существование другой жизни открылось внезапно. Отец взял в аренду землю у помещицы в имении Чернево на север от Загорья четыре примерно версты. На карте 1915 года, которой меня снабдила учительница географии Елена Даниловна, дочь профессора, доктора геолого-минералогических наук Погуляева, это место обведено жирным кружком. Находится оно совсем близко к Славажскому Николе. При чтении воспоминаний Константина Трифионовича и мелькнула

мысль, что именно барский дом в Славажском Николе он и описывает. Семья переехала в Чернево на одно лето, заколотив в Загорье дом.

В Черневе был огромный сад, арендованный другими; дом барыни, выкрашенный в розовый цвет, дом с балконом, перед ним цветочные клумбы. Из города приезжали дочки помещицы, играли, а загорьевские мальчишки смотрели на них во все глаза. Мы девочек-то никогда не видели, кроме нашей двухлетней Нюры, признаётся Константин Трифонович. Появились у загорьевских ребят и друзья, Мирон и Поликарп. В Словаже они ловили раков. (К. Т. тоже пишет название реки, как и на старой карте, через «а», добавляя, что имя это было ласковым). Когда созрели яблоки, Константин оказался в запретном саду, а как иначе? И был пойман молчаливым сторожем. Тот буквально взял его под мышку и отнёс к своей сторожке, заставил простоять до захода солнца на штабеле досок, до прихода отца. Константин удивился, что отец идёт прямо по дорожкам этого запретного сада, никого не опасаясь. Трифон Гордеевич закурил, поговорил с мужиками и забрал сына.

Но разжиться на арендованной земле тоже не получилось, и осенью семья вернулась в Загорье.

«А как было весело — вряд ли смогу передать! — восклицает Константин Трифонович. — Скажу только, я, сейчас пишущий эти строки семидесятилетний старик, вспоминая далёкое детство, очень благодарен отцу, что он отвёз нас в Чернево, и мы с Шурой увидели первые детские радости, незабвенные и поныне.

Так легко мне пишется об этом для нас необыкновенном лете. Главное, ничего не нужно выдумывать, просто вспоминай, переживай вновь золотые дни...»

А мне за светлыми строчками виделись славажские сады.

Стало интересно, нет ли у самого поэта каких-либо свидетельств об этом лете? Взял с полки книгу лирики, а потом и том с поэмами...

Ничего о лете в Черневе обнаружить не удалось.

Но не может быть, чтобы лето это совершенно исчезло, как дождь в пустыне, не оставив следа. Конечно, не исчезло. Как и многое другое... Просто не всё вспомнишь вдруг и не обо всё ясно расскажешь. Смутные образы детства, возможно, и томят тебя всю жизнь. И когда нахлынут звуками и запахами, — оторопь берёт.

Вот и дворик и лето,
Но всё кажется мне,
Что Загорье не это,
А в другой стороне...

С героем поэмы «За далью даль» это происходит в поезде, действительно за тысячи вёрст. На подъезде к Уралу перед ним внезапно распаивается

хуторское глухое подворье, кузница. Лицо обдаёт *запах дыма с дёготьком...*
Падает тень *обкуранных берёз...* И слышен звон наковальни

В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне.

Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути.

Картина безрадостная. Определения: сиротский, трудный, скудный, случайный; крайняя (нужда), усталый, печальный; бедная, обидная, горькая, глухая (жизнь) идут в этом стихотворении густо. Тоска беспросветная. Ничего похожего на записки его старшего брата о лете в Черневе. Да ведь и Константин сетовал на унылую жизнь в Загорье после того лета. И первые строфы главы «Две кузницы» из поэмы «За далью даль» только подтверждают это.

Но буквально через две строфы тусклый жар горна преобразует и пронизывает чистым светом всё глухое хуторское подворье:

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.

Речь о кузнице, в которой работал отец. И к нему шли люди. Далее следуют ёмкие характеристики жителей той стороны: это — старый воин с наградами, «мученик-охотник», «дьякон медный», коновал, скупщик еврей. И между этими людьми в кузне идут разговоры, разгораются споры. Здесь слышны пушкинские интонации, на ум приходит «Евгений Онегин» с описанием соседей-помещиков. Градус стихотворения стремительно растёт. Оно рвётся из потёмок к свету. И мы уже созерцаем картину баснословную, величественную, возникшую из «суждений ярых / О недалёкой старине, / О прежних выдумщиках-барах, / Об ихней пище и вине; / О загранице и России, / О хлебных сказочных краях, / О боге, о нечистой силе, / О полководцах и царях; / О нуждах мира волостного, / Затмениях солнца и луны, / О наставленьях Льва Толстого / И притеснениях от казны...»

Малая частица света — ведь это сказано не только о хуторе, но и обо всей местности, осенило меня. Инспектор земельного комитета сразу ухватился бы за это необычное и в то же время совершенно простое определение. А для того, кто занимается фотографией, любительски или профессионально, это как откровение, вспышка. Фотография — светопись, фотограф только и

зависит от света, всегда и всюду он ловит свет и в чтении продолжает свои поиски. Фраза мгновенно слепит. Вот оно!..

...И я снова стал очарованным странником на тропинках этой *малой частицы света*, местности Меркурия – Александра.

Пан

Сейчас склоны холмов, спускающиеся к Ливне, рощи, долинки ручьёв называются урочищем Плескачи. Здесь попадаются богатые малинники. На одном холме малина крупная и сладкая, явно садовая. Поблизости и одичавшие яблони.

Обедневший дворянин Митрофан Яковлевич Плескачевский земли имел порядочно – двадцать десятин. И детей не мало: шесть дочерей и два сына. Удивительно, но сей дворянин не разумел грамоты, как и его жена и большинство детей. А пришлый кузнец, взявший в жёны одну его дочку Марию, грамоту знал и книги любил. Трёхклассную сельскую школу окончил с похвальным листом, учился бы и дальше, если была бы возможность. И относиться он начал к своему тестю иронически, называл его Митрофанушкой.

Молодые сначала попробовали жить у родителей жениха, но там свекровь невзлюбила невестку, и они вернулись в родные места Марии, и поблизости от Плескачей, в Белкине, Трифон Гордеевич арендовал кузницу у польского помещика.

Что за человек был Митрофан Яковлевич, точно неизвестно. Но если судить по его дочери Марии, то доброе сердце в нём можно предположить.

Жизнь без дома и земли для крестьянки-дворянки была внове. Отношение мужа к её отцу – ранило: всякий раз, когда она возвращалась из родительского дома, молодой кузнец, усмехаясь, спрашивал: «Ну, как там твой Митрофанушко?»

В воспоминаниях сыновей – Константина и Ивана – в стихах Александра мать предстаёт добросердечной, чуткой и как будто навечно опечаленной женщиной.

Чем-то Мария Митрофановна напоминает героиню «Крестьянки» Некрасова («Кому на Руси жить хорошо») Матрёну Тимофеевну, что жила до замужества, *как у Христа за пазухой*, просыпалась под песенки брата и снова задрёмывала под шёпот матери: «Спи, милая, касатушка, / Спи, силу запасай!» А там сыскался суженый: «На горе – чужанин!» – печник из других мест. Мать расплакалась: «Как рыбка в море синее / Юркнешь ты! как соловушко / Из гнёздышка порхнёшь! / Чужая-то сторонушка / Не сахаром посыпана». И предвидела всякие тяготы, облакая их в извечные образы трагического: *ветры буйные, чёрны вороны, псы косматые...* Всё сбудется: свёкор и свекровь станут донимать, непосильная работа навалится, мужа не в черёд упекут в солдаты, и даже худшее: погибнет ребёнок.

Почти то же доведётся пережить и смоленской крестьянке Марии. Но смоленской вытерпеть придётся много больше. Крестьянские заботы в семье с семью детьми и ей были уготованы, это бы ещё ничего, хотя и не мало. Особенно трудно пришлось ей, когда на фронт Первой мировой забрали мужа, всё хозяйство пришлось тянуть самой, хотя старший сын-подросток и помогал. Но впереди были испытания горше. В один из дней марта тысяча девятьсот тридцать первого года прибыли на хутор подводы, в которые и были погружены вещички, детям велели занять места, и унылый караван тронулся, скрипя полозьями. В Сельце к ним выбегали деревенские, давали хлеб, кусок сала, кто что мог и хотел. И *дымный дедовский большак* увёл их далеко в северные горные края. Пошли названия: Ляля, Злыгости, Караул, Выя... Гости-то как раз были не злы, а растеряны, напуганы, утомлены. И вот среди уральской тайги бараки, нары, сплав леса, лесозаготовки, жизнь впроголодь, тиф... И ещё название одного тамошнего села: Павда. Для новичка звучит непривычно и даже издевательски. Страдания эти за то, что кузнец, рвущийся из нужды, оказывается, «кулак». Вот такая вам Павда.

Когда муж и три сына будут подаваться в бега из тех гиблых мест, Мария одна станет жить, ждать с маленьким сыном и двумя дочками. Потом за ними прибудет муж и уведёт их по тайге на волю. Один этот голодный путь по диким местам стоит целой книги. Полтора месяца пути в сторону Нижнего Тагила. Как они шли? Чем питались? Где спали? Об этом Иван скупно написал, он в походе не участвовал, вырвался раньше. Сестра Маша рассказывала ему, что иногда отец оставлял их и отправлялся на поиски какого-нибудь селения, чтобы добыть там картошки. А они томительно ждали, гадали, что дальше будет, вернётся отец или нет?

Да и история трёх (!) побегов Ивана и Константина из этой тифозной Ляли, их приключения на *запретных дорогах* прихотлива и необычна, и вся история семьи Твардовских — наш новый эпос. Странно, что никто из режиссёров до сих пор не понял этого. Ничего выдумывать не надо, сюжет готов — жизнь.

Таёжный поход благополучно завершился в Нижнем Тагиле, где на старом демидовском заводе отец проработал несколько месяцев кузнецом, оттуда семья перебралась в богатый колхоз на Вятке. В Смоленск их вернул Александр. Когда он появился в их доме на Вятке... Тут лучше довериться тому, что сама Мария Митрофановна говорила Ивану: «Кажется, одно такое мгновение в жизни стоит того, чтобы жить и быть матерью».

А впереди была война, оккупация, ежеминутные думы о судьбах ушедших на войну сыновей. Иван попал в плен; после войны его ждал лагерь. Константин был ранен. Василий сражался лётчиком, тоже был ранен; после войны через несколько лет он душевно занемог и бросился под поезд. Александра пуля миновала. Он служил в газете, но попадал и под бомбёжку, и противник всегда был рядом.

Но это всё будет потом. А пока:

«Тужила, горько плакала, / А дело девка делала; / На суженого искоса / Поглядывала втай. / Пригож-румян, широк-могуч, / Рус волосом, тих говором». И он *пал* на сердце Матрёне Некрасовской.

По душе пришёлся кузнец и Марии. Как сообщает Константин, «был он среднего роста, сероглаз, темно-русый, с светло-рыжими усами, круглолицый, розовощёкий. Седина появилась рано...»

Трифон Гордеевич был, конечно, личностью неординарной. Когда местный шляхтич — из Церковища над Ливной — по фамилии Княжище-Либбертович знакомил кузнеца с семейством Плескачевских, то рекомендовал его так: «Пан Твардовский». И кузнецу это понравилось, и он всю жизнь как будто и хотел стать паном, то есть крепким хозяином, у которого и хлеба достаточно, и *сало заходит за сало*, — оканчиваются одни припасы, но уже есть и новые. По крайней мере, желание это было горячим, пока новые власти его не повыстудили.

У Трифона Гордеевича был хороший голос, в детстве он пел в церковном хоре даже... хотя к религии относился равнодушно. Кузнец любил слушать новые и старые песни и пел сам. И любил он книгу. Больше всего по душе ему были стихи — их ведь можно петь. Ершовского «Конька-Горбунка» он знал наизусть чуть ли не всего. Пел всю поэму «Коробейники». На загорьевском хуторе по вечерам часто читали книги, стихи, Гоголя, Лескова. Читал отец, останавливался, чтобы отметить особенно удавшееся место. И домочадцы согласно кивали... В этом деревенском глухом углу была маленькая, но библиотека. И не из *милордов глупых*: Лермонтов, Пушкин, Некрасов, Аксаков, Фет, Тютчев. Ручаюсь, что не в каждой современной городской квартире есть подобная библиотека.

Трифон Гордеевич был двуязыльный работник. И думал осуществить свою мечту: стать крепко на земле, на своей земле. В Белкине он арендовал кузницу, в Загорье уже поднимал землю, пахал и сеял и выкорчёвывал. Дело в том, что земля ему досталась незавидная, в болотцах, кустах и пнях от бывшего когда-то здесь леса. Землю ещё надо было отвоевать. И он с утра до вечера работал, отводил воду, вырубал кусты, возил навоз. Правда, как замечает Иван, вдруг мог уткнуться в книгу и всё забыть.

Ещё он любил лошадей. Уже в Барсуках, деревне, где родился и вырос, на скопленные деньги открыл кузницу, а потом купил гнедого, пять лет не ходившего в упряжке, но, как пишет Константин, смог его покорить лаской.

В Загорье тоже были лошади. Трифон Гордеевич ездил в Ельню на конные ярмарки, любовался лошадьми, потом в подробностях рассказывал об этом дома. Но приобрести хорошую лошадь не получалось: не было денег.

А всё же под конец хуторской жизни появился приличный жеребец. Трифон Гордеевич его выгуливал во дворе, заставлял подыматься на дыбы, переплясывать, потом на него вскакивал Константин, а все хуторяне стояли и

глазели. Этого жеребца пришлось отдать после вступления в сельхозартель, вынужденного, разумеется: власть давила индивидуальным налогом. И, отдав жеребца, отец лицом потемнел. На третий или пятый день не удержался и пошёл в Ляхово посмотреть на коня. И нашёл его привязанным в жару в рое слепней и мух. Жеребец запутался, стоять ему было неловко... В Загорье отец вернулся верхом.

Эту выходку скорее всего ему припомнили, когда объявили кулаком. Коня забрали на следующий день. Трифон Гордеевич не мог уже оставаться в Загорье и ждать неизвестно чего. Жизнь такая была для него мукой. И он подался на заработки в Донбасс.

Пытал он счастье на стороне и раньше. Ездил, например, вместе с другими мужиками в саратовскую землю. Работал он и в Мурыгине у тамошнего кузнеца, возвращался в выходной, приносил кульки с гостинцами, деньги, много рассказывал.

Большая семья его жила трудно, но не голодала. Сам кузнец умел хорошо приодеться, в костюм и хромовые сапоги, да ещё носил шляпу, что среди местных жителей было не принято. Ивана Трифоновича в конце восьмидесятых я тоже заметил прежде всего из-за шляпы среди обычных пассажиров пригородного поезда.

В Трифоне Гордеевиче говорила недюжинная сила его отца, служившего солдатом в Варшаве Гордея Васильевича.

Бывший артиллерист Гордей Васильевич – в чёрном мундире, с трубочкой – шагает за пенсией в город, которая по тем временам была приличной – три рубля... Вот с этого деда, рослого, с бородой, покуривающего трубочку, и надо бы начинать фильм «Пан Твардовский», – как он идёт по Ельнинскому большаку. Некоторые исследователи жизни и творчества поэта полагают, что именно с описания деда Александр Твардовский и хотел начать свою заветную книгу, которая называлась бы «Пан» или «Пан Твардовский», и в рабочих тетрадях он даёт такое описание. Но ещё ярче описывает деда старший его внук – Константин, помнивший его, конечно, лучше всех остальных братьев, хотя любимым внуком у Гордея Васильевича был Шурилка-Мурилка, его-то он и одаривал в первую голову каким-нибудь гостинцем, *пряничным конём*, вернувшись из Смоленска. Но вот это описание: «Деда, Гордея Васильевича Твардовского, как бы впервые увидел, когда мне было лет пять. Это был очень старый человек, выше среднего роста, седой – с прозеленью в густых волосах, с такой же седой бородой не очень большой, но лысины у него не было. Опершись на длинную палку и держа под мышкой большую книгу в переплёте из дерева и кожи, дед пас скотину и читал эту книгу».

Поразительно, как Трифон Гордеевич сумел вызволить семью из уральской Ляли, а потом обосноваться на Вятке в колхозе и наладить сносную жизнь. Интересный эпизод, свидетельствующий о силе и энергичности этого человека. Когда он вышел в первый раз из Ляли вдвоём с Павлушей и до-

брался до Загорья, его впустил в дом и оставил ночевать один из соседей. Сосед этот и сдал беглецов. Повели их в Ляхово через лес. Но уже совсем стемнело, тогда решили переночевать на хуторе. Оба разделись до нижнего белья, легли. Стерёг их один мужик с пистолетом в руке. И глубокой ночью стражник спёкся. А кузнец сиганул, в чём был, в окно. Сына вынужден был оставить, полагая, что мальчишке ничего не сделают. И сорок вёрст пробирался босой, в одном белье в Краснинский уезд, где жил двоюродный брат.

Такой правёж устроила новая власть своим труженикам. Крадись по родной земле, как тать, не знай покоя ни днём, ни ночью. Людей и целые народы сдувало по лицу земли, как перекасти-поле в пустынях. Какая уж тут страна Муравия!.. Быть бы живу..

Двоекнижие

«Родину и чужбину» Ивана Трифоновича я перечитывал не раз, трудно остановиться, начав, это какая-то неотвратимая книга. И снова проза и поэзия затевали нешуточную борьбу. Суровым свидетельствам Ивана противостояли стихи Александра. Не перечили, не переиначивали, а воздвигали что-то во мне самом, в читателе. И словно бы в колеях долгой дороги мерцали, бликовали осколки чистого света.

Образу лауреата «с окаменелым сердцем» противостоял образ певца, солдата с крестьянской душой, обречённого на укоры и муки и наделённого голосом чистым, светлым, тёплым...

Крестьянство Александра Твардовского в бытовом смысле отмечали многие, знавшие его. Его коллега по «Новому миру» А. Кондратович пишет, что Твардовский остерегался переходить улицы, минутами ждал, еду любил простую, деревенскую, в кафе брал варёное яйцо, кусок мяса, сало. В застолье всегда пел. С наслаждением работал на земле, правда, это уже был подмосковный дачный участок...

Но он оставался крестьянином и по сути своей. Критики тех лет как раз и упрекали автора в том, что его Андрей Сивцов, Василий Тёркин — не советские колхозники, пошедшие на фронт, а всё те же стародавние русские крестьяне, каким был и Никита Моргунок. И какими были, можем добавить мы, некрасовские Савелий, Ермил, толстовские и тургеневские крестьяне, мужик Марей Достоевского. Песнь к земле из «Василия Тёркина» — из глубины крестьянского сердца.

Какие-то строчки и стихи вызывают досаду, недоумение, неприятие. Особенно горько, когда случаются подобные вещи со стихами превосходными, как, например «— Ты откуда эту песню...». Стихотворение — как напев у окна, за которым туманится то ли поле, то ли дорога, а на самом деле — время в образе реки:

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой.

Сын спрашивает у матери об этой песне, и она растолковывает, что так пели в приднепровских местах, когда отдавали замуж девушку на другой берег, и та лила слёзы, как будто прощалась с родным домом навек. (К слову, поэт где-то говорит, что мать очень тосковала по родному дому, хотя был он рядом, в десяти—двенадцати верстах от Загорья, имение Плескачи.) Но это всё были *девичьи слёзы*. Ещё горше пришлось, «Как иные перевозки / В жизни видеть привелось».

Мы знаем, о каких перевозах речь.

Путь их был далёк — на Урал, в лесной барак. Смоленские крестьяне и без того усвоили некоторые исторические уроки пограничной земли, по которой то лях с огнём пройдёт, то француз, и красно не строились в деревнях. А после этого урока Сталина смоленская деревня, кажется, навсегда обрела заунывный и какой-то временный облик: хаты ютятся, как будто пытаются остаться незамеченными.

Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая —
Шире нашего Днепра,

— продолжает поэт, и читатель здесь крепко спотыкается вот об эту «пору». Глаза ещё раз пробегают строчки. «Вдаль спровадила пора». Эти слова поражают своей вялостью. Бессильное *благоречие* и жалкая замена табуированного имени. Такому восприятию способствует и дата под стихотворением: 1965.

Тут современный читатель вспоминает, что уже и «Один день Ивана Денисовича» напечатан. Самим же автором стихотворения и опубликован.

Но — перечитываю стихотворение ещё раз и понимаю простую вещь: ведь оно начинается с диалога сына и матери, а разворачивается уже негромким монологом *матери*. И всё здесь — голос матери.

«Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности», — писал Александр Твардовский в «Автобиографии», а в рабочих тетрадях добавлял, что она «была почти во всем полной противоположностью отцу — мягкой души, дружелюбная и уступчивая».

Поэт вовсе не изобретал *благоречия* для этого стихотворения. Да и зачем? Он прекрасно знал речь своей матери, вот и всё.

Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалёку
И последний перевоз.

Всё стихотворение пронизано током времён и Времени, здесь, как в течении реки, смешиваются различные слои — поддонные ледяные и прогретые солнцем, время личное соединяется со временем историческим, но не только. В последней строфе молодой перевозчик-водогребщик уже «старичок седой», и с «той стороны» веет безвременьем, тем, что в ведах названо: «нечто единое ничто иное».

Песнь в устах молодой матери рисует образ суженого, и невольно видишь молодого кузнеца, пришедшего однажды в имение Плескачи. Песнь в чужих снегах, где *леса темнее, зимы лютей*, уже словно бы обращена скорее к любимому сыну (а это и был поэт, оставшийся в далёком Смоленске, в газете, и надо заметить, что и здесь нащупывается нерв разногласий между братьями; по крайней мере, эту глубинную ревность полезно учитывать, читая воспоминания). Александр Твардовский, как известно, и вызволил семью из тисков чужбины. Песнь, исполненная в стихотворении в третий раз, по существу, уже и не имеет адресата. Точнее — он запределен.

Так что «пора», спровадившая семью на чужбину, определение весьма органичное в этом стихотворении. И ясно всё это мне стало именно в процессе последних рассуждений, приступая к «разбору», я был уверен, что глубокое и чарующее стихотворение о перевозчике-водогребщике ослаблено, подпорчено буквально одной строкой.

Пример выбран неудачно. Возьмём другой... Но это уже будет что-то слишком очевидное, а потому и неинтересное. А мне хочется ещё поделиться некоторыми соображениями о последнем стихотворении.

Александр Твардовский не раз предельно ясно заявлял, что он — атеист. Вообще семья Твардовских не была религиозна, о чём говорят многие и прежде всего сами Твардовские. Константин Трифонович рассказывает, как был посрамлён местный колдун. Когда несколько крестьян засобирались в Самарскую губернию, где, по слухам, после голода пустовали большие сёла и земли, попытать судьбу решил и Трифон Гордеевич. На дорогу продана была корова. Какой-то вечный Некрасов! Ехать искать богатство в голодный край. Трифон Гордеевич нашёл там малярию и вернулся, мучимый ею, а в доме денег не было даже на лекарство, и, чтобы купить экзотический хинин, Константину пришлось отнести в Починок на базар яйца.

Ещё когда крестьяне были в отлучке, их жёны, Мария Митрофановна в том числе, ходили к колдуну. Он вещал по какой-то большой книге, которую называл *чёрной магией*. Правда, вряд ли и сам знал и понимал, что там написано. Но о крестьянах-искателях с уверенностью говорил, что они ходят

по сёлам, выбирают. И ждёт их удача. И вот все они вернулись, а колдун ещё ничего не знал. Александр и Константин подговорили мать ещё раз пойти к прорицателю. И тот снова *видел* крестьян в далёкой самарской земле, а они уже сидели по домам, рассказывали о страшном запустении и пыли, зное... С тех пор, заключает Константин Трифонович, мать перестала верить и колдунам, и попам.

А ведь о христианских мотивах в творчестве поэта рассуждают филологи, одна работа названа «Христианская аксиология в художественном мире А. Т. Твардовского». Подобные вещи можно было бы воспринимать скептически. Но не следует торопиться.

Вот то же стихотворение про перевозчика-водогребщика, предпоследняя строфа:

Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалёку
И последний перевоз,

— в ней прочитывается скрытая надежда на воздаяние. С кого какой спрос *здесь*, если близка вечность. И что произойдёт дальше, никому не ведомо. Ну и последнее обращение к перевозчику-водогребщику, старичку седому, с просьбой перевезти *домой* усиливает мифологическое звучание всего стихотворения. Вообще перед нами классическое восхождение от метафоры к символу, если вспомнить толкование того и другого А. Ф. Лосевым в его труде «Проблема символа и реалистическое искусство». Если в начале стихотворения перевозчик и река — метафора жениха и порога, родного дома, то в конце река уже символ времени, а перевозчик архетипическая фигура посредника между миром живых и миром мёртвых. «Подлинная символика, — писал Лосев, — есть уже выход за пределы чисто художественной стороны произведения. Необходимо, чтобы художественное произведение в целом конструировалось и переживалось как указание на некоторого рода инородную перспективу, на бесконечный ряд всевозможных своих перевоплощений».

Стихотворение «— Ты откуда эту песню...» и распаивает эту перспективу. В ведах в «Гимне познанию» поётся:

Некоторый видя не видит Речи
некоторый слыша её не слышит
но которому она отдаётся
как жена в нарядах ему супруга.

Надо читать и перечитывать Твардовского, чтобы вполне понимать его Речь.

Речь Твардовского пленяет, это родная стихия, в ней хочется пребывать бесконечно. Хотя в ней много горечи, страдания, как, например, в лучшем творении поэта – в поэме «Дом у дороги». Это коренная, совершенная вещь. Здесь судьба всей России. Этот дом стоял в двенадцатом веке, в девятнадцатом, в двадцатом, и рядом сквозил смертельный ветер, а крестьянин слагал напев: «Коси, коса, / Пока роса, / Роса долой – / И мы домой». Напев этот получил особое звучание, когда началась война. Война смахнула дом у дороги. Но, исполнив свой тяжкий кровавый труд, крестьянин вернулся на старое место и взялся за возведение нового дома. И выходил на луг, чтобы в косьбе забыться, не слышать пустой дом, приготовленный для семьи, ещё не вернувшейся из неволи...

В предпоследних строках поэт сам определил суть поэмы: это боль, страсть, печаль и вера в счастье.

Этот *взывающий с тоской и страстью голос* и есть сам поэт. И этот образ сильнее всех иных.

Надо признать, что интереснейшей книге Ивана Трифоновича не хватает завершённости. Мастер-краснодеревщик и умелый рассказчик так и не сказал необходимых каких-то последних слов, преодолевающих всё. А читатель ждёт этих слов, как глотка воды в жару. Эти слова уже роятся в самом читателе, слова, возносящие всё куда-то, слова, с которых осыпается шелуха каких-то мелочей, слова горячие и самосветящиеся.

Но младший брат не нашёл этих слов.

Может быть, он посчитал своё дело – возведение нового хутора в Загорье – ценнее и понятнее любых слов. В этом непростом деле сказалась его любовь и к отцу, и к матери, и ко всем своим родичам Твардовским.

Вероятно, ему показалось это досужим и нечестным – подслащивать правду под занавес. Правда за себя говорит, какие ещё необходимы комментарии? Пусть читатель и рассудит. И читателю отрешиться от этой книги просто так нет никакой возможности. Читатель и начинает судить да рядить... И как раз без стихов Александра Твардовского и не возьмёшь необходимую высоту для этих суждений.

Здесь как будто сталкиваются две правды: правда поэзии и правда жизни-прозы.

Иван Трифонович свято был уверен, что книга его и есть сама правда. Но всегда ли он справедлив в своих оценках, суждениях?

Вступая в спор с критиками, считавшими отца суровым – и порою чрезмерно – человеком, Иван Трифонович подвергает, например, сомнению подлинность случая, описанного Александром Трифоновичем в стихотворении, сохранившемся только в черновиках, а после смерти поэта опубликованном. Это «Кнут». Под звёздами в город, чтобы с утра пораньше оказаться на базаре, едут на телеге отец с мальчишкой сыном, и тот теряет кнут, пока отец дремлет. Дальше идёт драматического накала диалог:

- Батя, он был цел, лежал вот тут...
- Отправляйся и найди мне кнут.
- Батя, не найду я. Темнота.
- Не моги вернуться без кнута.
- Батя, забоюсь я...
- Посвищи...
- Батя, не найдёшь его...
- Ищи!
- Батя, я пойду, я поищу...
- Не найдёшь, так шкуру всю спущу...

Странным образом это стихотворение перекликается с романтическим «Лесным царём» Пушкина. Только тут — жестокий реализм. Отец вовсе не оберегает сына, а, наоборот, толкает его в лапы страхов, что таятся в темноте. «Щ» и «ш» свистят здесь невидимым кнутом так, что морозец по коже...

Иван Трифонович говорит, что этого случая никто не мог припомнить, и заключает, что в книге Кондратовича «Александр Твардовский», в которой приведено это стихотворение, есть *авторское преувеличение*. Можно эту реплику понять так, что и всё стихотворение — преувеличение самого поэта. В автобиографии Александр Трифонович «ни словом не обмолвился о каких-то там чрезмерных жестокостях отца».

Через несколько страниц Иван Трифонович повествует о том, как отправил его отец по осени верхом на лошади, принадлежавшей родственнику, в Смоленск, где этот родственник и жил. И ехал Иван «верхом сорок вёрст без седла и привычки» и «почувствовал то самое место, которым сидел, и липким, и больным, но деваться некуда, терпел до конца». Родственник дивился: «Сорок же вёрст! Ну и дядька Трифон!.. Ну-ка, покажи, как там у тебя, сколько кожи потерял?»

Какое заключение можно сделать из сопоставления этих эпизодов? Вывод прост: эпизод и подтверждает подлинность стихотворения — даже если всё в стихотворении выдуманно. Всё, да не всё.

Странно, что сам Иван Трифонович не увидел, что эпизод с лошадью перекликается со стихотворением и с ещё большей силой *узаконивает* его.

После этого наблюдения мы вправе и всё остальное тщательнее взвешивать и сопоставлять. И в первую очередь всё то, что касается быта. Здесь Ивана Трифоновича щепетильным не назовёшь. А ведь можно было бы какие-то моменты и вовсе не поминать. Кто-то давал трезвящий совет: вообразите себя персонажем рассказа Чехова.

Вообразите, что о вашем быте будет повествовать кто-то достаточно беспощадный. Думается, что от такой привилегии отказался бы и сам Иван Трифонович.

Вопрос о поэте с окаменелым сердцем снова требует своего разрешения. И сразу он звучал у меня, читателя «Родины и чужбины», так: может ли быть

поэт с окаменелым сердцем? И почему-то в голову не пришло поставить вопрос по-другому: а какое сердце бьётся сквозь строки «Страны Муравии»? Или в стихотворении «Я убит подо Ржевом». Да и в любом живом стихотворении Твардовского. С окаменелым сердцем этого не напишешь.

Но, вероятно, Иван Трифонович хотел сказать этой метафорой сердца нечто другое. Неожиданную помощь здесь подаёт Карл Юнг. В своей работе «Психология и поэтическое творчество», рассуждая о творческой личности, которая всегда — загадка, он пытается эту загадку раскрыть и, между прочим, пишет, что «человек оказывается обычно настолько обескровленным ради своего творческого начала, что может как-то жить лишь на примитивном или вообще сниженном уровне».

Это соображение бросает на строки Ивана Трифоновича особенный свет: «...и с окаменелым сердцем шёл он трудной дорогой своих планов».

Замечание об окаменелом сердце вырвалось в то время, когда семья Твардовских бедовала в ссылке. А вокруг поэта стягивалось кольцо лающих о кулацком подголоске. Поэта травили, он был загнан. Но в это же время рождалась «Страна Муравия».

И впереди был «Тёркин», а ещё «Дом у дороги» и другие поэмы и стихи. Лучшие военные стихи всё-таки написал именно Твардовский. «Я убит подо Ржевом» погружает нас на архетипическую, какую-то священную глубину, а точнее, глубоко возносит. Голос убитого пронзает насквозь как пуля. Но ничего не кончается тут же, этот голос звучит и потом будет звучать при любом случайном воспоминании об этом стихотворении или даже при упоминании Ржева.

Пройдёт время, и «Василий Тёркин» прочно встанет вровень со «Словом о полку Игореве». Да уже и сейчас ясно, что это наши лучшие воинские поэмы.

А то, что люди с поэтическим складом ума и души способны прозревать будущее, не раз подтверждалось примерами.

Сам Александр Твардовский случайно это засвидетельствовал, рассуждая о новом своём герое, ещё не выявленном, смутном, пока более фельетонном, мелькнувшем на страницах фронтовой газеты финляндской войны: «При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет её любимец, нарицательное имя». Имя это — Василий Тёркин.

Снова уместно привлечь Юнга: «Так получает удовлетворение душевная потребность того или иного народа в творении поэта, и поэтому творение означает для поэта поистине больше, чем личная судьба, — безразлично, знает ли это он сам или нет. Автор представляет собой в глубочайшем смысле инструмент...»

Поэзия не то чтобы победила, но оказалась убедительнее прозы.

Но и то, и другое уже нераздельно. И, возможно, в этом залог особого бытования поэзии Твардовского. По крайней мере, у меня, как читателя, ещё не бывало подобного драматического опыта постижения. Это своеобразное двоекнижие создаёт объём, пронизанный токами.



Вадим Дмитриевич Удальцов — прозаик. Родился в 1957 году в Смоленске. Выпускник исторического факультета СГПИ. Майор МВД в отставке. Публиковался в альманахах «Под часами», «Блонье», журнале «Смоленск», «Смоленской газете». Автор книг «Воздвиг дьявол распрю», «На берегах Днепра» (Смоленск, 2010), «Храбры» (Смоленск, 2012 г.), «Меч и крест» (Смоленск, 2016 г.). Живёт в Смоленске. Член Союза российских писателей.

ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА

Светало. Первые лучи солнца осветили изогнутую долину реки Колочи, заиграли в листве чуть тронутых желтизной перелесков, тянувшихся в сторону деревни Шевардино, позолотили купола Бородинской церкви.

«Вот поле великой битвы», — подумал поручик Неелов¹, стоя у моста через Колочу.

Здесь, у Бородина, двадцать семь лет назад лейб-гвардии егерский и егерские полки Вуича и Карпенкова почти полностью уничтожили 106-й французский пехотный полк. Вон через тот кустарник, у правого берега реки Колочи, наступали на батарею Раевского французские дивизии Морана, Жерара, Брусье ...

Внимание Неелова привлёк усиливающийся грохот барабанов со стороны бивуаков Шестого пехотного корпуса, расположенных у деревни Горки. Обернувшись, он увидел картинно вытянувшиеся линии пехотинцев в зелёных парадных мундирах. Каждая линия, состоявшая из нескольких батальонов, шедших в ногу, держала идеальное равнение. Штыки ружей, взятых «на плечо», торчали, не колеблясь. При каждом выполнении ружейного приёма, ружья синхронно звенели. Казалось, тысячи игрушечных солдатиков то застывали, то расходились, то сближались, то перестраивались в сложные фигуры.

Во время учёбы в юнкерской школе Неелов на дух не переносил строевые занятия, полагая, что это меньше всего понадобится будущему офицеру. В памяти всплыли строки шуточной «Юнкерской молитвы» Михаила

¹ Неелов Николай Дмитриевич (1808—1850), русский военный историк, автор книг по военной истории и стратегии, писатель, уроженец Гжатского уезда Смоленской губернии.

Лермонтова, написанные молодым поэтом во время учёбы в юнкерской школе:

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.

От маршировки
Меня избавь.
В парадировки
Меня не ставь ...

Длинные шеренги развернулись. Строй не нарушился.

«Красиво, но бессмысленно, — с досадой подумал поручик, — да и ружья губят, ослабив винты для умиляющего начальство ружейного звона... Добились-таки «плывающих стен». Такая завелась во фрунте танцевальная наука... Из боевых генералов и офицеров сделали танцмейстеров и балетмейстеров, равняющих носки гренадёров... Экзерцицмейстеры ныне в почёте... Линии не прикрыты стрелками... Чему учат?.. Не таким шагом наши отцы французов победили... И польская война ничему не научила...»

В этот день, семнадцатого августа 1839 года, начинались военные манёвры, посвящённые годовщине Бородинской битвы, готовилось торжественное открытие памятника героям войны 1812 года.

Его императорское величество Николай Павлович со свитой собирались объезжать Бородинское поле. Неелов подъехал к группе младших офицеров, стоявшей чуть поодаль от блестящей свиты генералов и флигель-адъютантов. Его величество задерживались. Подъехавший к Неелову толстый свитский подполковник окликнул его:

— Николай Дмитриевич! Не узнаете?.. Ну как же?.. Помните штурм Варшавы в августе тридцать первого?

— А-а-а, барон фон Зальц... Иван Иванович, если не ошибаюсь?.. Уже подполковник... Восемь лет прошло... — довольно холодно произнёс Неелов и мысленно добавил: «Не видел восемь лет и столько же не видеть».

— Да, поручик, летит время, — согласился фон Зальц. — А вы, как я вижу, всё такой же, *comme il faut*¹, аккуратный, подтянутый, невозмутимый... Вас за Варшаву, кажется, представляли к Владимиру с бантом?

— Нет, увы, удостоился только Анны 3-й степени с бантом. *A la guerre, comme a la guerre*², — усмехнулся Неелов. — Зато вас не забывают, — кивнул он на многочисленные ордена, звеневшие на широкой груди подполковника.

¹ Светский человек (франц.).

² На войне, как на войне (франц.).

* * *

Барону фон Зальцу вспомнилось раннее утро двадцать четвёртого августа 1831 года. Шла польская война. Русская армия генерал-фельдмаршала Паскевича¹ находилась в одном переходе от стен мятежной Варшавы. Дежурный по штабу Гренадёрского корпуса тогда ещё капитан фон Зальц слышал, как дивизионный квартирмейстер подпоручик Неелов, вернувшийся из рекогносцировки, докладывал командиру корпуса Шаховскому²:

— ...поляки привыкли к нашему бездействию, не ожидают нападения, не слышали передвижений войск на левом берегу Вислы, в Варшаве тихо и спокойно, как перед страшной грозой, — ехидно усмехнулся подпоручик и продолжил: — Когда на обратном пути я с двумя казаками заночевал на одном краю стога сена, на другом ночевали пятеро польских улан. Хорошо, что я проснулся первым — четверо улан даже не услышали, как их командир с кляпом во рту отправился с нами. Пленённый офицер сообщил, что пятнадцатитысячный отряд Ромарино опрометчиво отделился от армии мятежников под командованием Малаховского, в результате чего силы поляков на левом берегу Вислы уменьшились на треть...

— Ваши сведения необходимо срочно сообщить генерал-фельдмаршалу, — возбуждённо произнёс присутствующий здесь же начальник штаба корпуса генерал-лейтенант Полуэктов, и добавил, обращаясь к Неелову: — Собирайтесь, и не забудьте вашего пленника.

Полуэктов и Неелов немедленно направились к Главнокомандующему. Сведения, доставленные подпоручиком, окончательно убедили генерал-фельдмаршала Паскевича: штурмовать.

Вечером двадцать четвёртого августа заходящее солнце осветило лагерь русской армии. Тронулись с места стройные колонны пехоты, последние лучи солнца заиграли на боевых знамёнах, овечьих славах былых походов, серебряных латах кавалергардов и конногвардейцев, флюгерах на уланских и казачьих пиках, застучали пушечные колёса, послышались топот и ржание лошадей, команды начальников, крики обозных — всё это представляло яркую незабываемую картину выдвижения армии Паскевича по направлению к Варшаве.

Фон Зальц не любил Неелова ещё со времени совместной службы в Киевском гренадёрском полку, в военных поселениях под Новгородом. Подпоручик Неелов, невысокий, стройный брюнет с голубыми глазами, с решительными чертами лица, всегда был подтянут, аккуратен и чисто выбрит, в

¹ Паскевич Иван Федорович (1782–1856), граф Эриванский, генерал-фельдмаршал, с 13 июня 1831 года — главнокомандующий русской армией в Польше, князь Варшавский (за взятие Варшавы).

² Шаховской Иван Леонтьевич (1776–1860), в 1830–1831 годах генерал от кавалерии, командир Гренадёрского корпуса.

отличие от неряшливого барона. Не чураясь весёлых офицерских компаний, Неелов отдавал должное и богатой полковой библиотеке, просиживая вечерами над изучением книг по военной истории, стратегии, постоянно занимаясь усовершенствованием немецкого, английского и французского языков, которые он неплохо знал с детства. В противоположность ему высокий, но начинающий полнеть фон Зальц книг почти не читал. Можно было сказать, что он, как и великий князь Михаил Павлович, закончив учёбу, заколотил свой книжный шкаф гвоздями. Особое удовольствие он находил в проведении строевых занятий: следить за равнением носков гренадёр было для фон Зальца смыслом службы, за что он был особо ценим всесильным Аракчеевым. Фон Зальц не любил и не понимал топографических и глазомерных съёмок и наблюдений за земляными работами, на которые всегда охотно вызывался Неелов. «Стратегишка» — так он презрительно называл Неелова, и подозревал, что обидной кличке «наш танцмейстер» он обязан молодому подпоручику. Сильнейшее раздражение вызывало у барона критическое отношение Неелова к военным поселениям. Однажды в присутствии великого князя Константина тот посмел критиковать действия обожаемого им Аракчеева и обозвал его «более бичом края, царедворцем и временщиком, нежели человеком государственным».

Когда поляки с первыми лучами солнца увидели громадные силы русских, расположившиеся у стен Варшавы, да ещё в парадных мундирах, без ранцев, с выдвинутыми вперёд батареями и ожидающими только сигнала, чтобы двинуться на приступ, в Варшаве началась паника. Зазвонили колокола, заметались польские командиры, войска поспешили занять укрепления, местные жители в ожидании штурма бросились на башни, балконы, колокольни. Город замер в тревожном ожидании.

Расположив по указанию Паскевича предназначенные к штурму части Гренадёрского корпуса напротив варшавского предместья Воля, Полуэктов, фон Зальц, Неелов и другие штабные офицеры направились на рекогносцировку местности.

— Поляки укрепились весьма сильно, — заметил Неелов, рассматривая в подзорную трубу укрепление Варшавы. — Улицы перекопаны рвами, перегородены насыпями, рогатками, в стенах домов проделаны бойницы, городские валы обнесены палисадами, перед валами многочисленные полевые укрепления, взаимно друг друга фланкирующие, волчьи ямы. И обыватели, как всегда, в качестве зрителей — на всех колокольнях и балконах. Генерал-фельдмаршал предложил мятежникам амнистию, но Круковецкий¹ отверг её, как «унизительную» — вот уж верно: кого бог хочет погубить, того лишает разума. Ведь все действия мятежников могли только оттянуть роковой для них неизбежный удар наших войск.

¹ Круковецкий — президент Речи Посполитой с 3 августа 1831 года.

— С февраля укреплений прибавилось, — заметил поручик Иртеньев. — Кто бы мог подумать, что вместо похода на Бельгию второй раз будем подходить к Варшаве?

— Вот если бы Дибич¹ в феврале после Гроховской битвы² решился на штурм Варшавы, но не осмелился... говорил, что не захотел, подобно Суворову, жертвовать тысячами людей... — с горечью произнёс Неелов и добавил: — Но он не принял во внимание, что продолжение войны может привести с собой многократно большие жертвы...

— Подпоручик, — прервал Неелова генерал-лейтенант Полуэктов, — вам ещё не надоело критиковать начальство? Ваш язык — ваш враг. То какие-то странные мысли, что наши гренадёры рвались на войну, лишь чтобы не остаться в Новгородском поселении; то критика графа Дибича-Забалканского — сравнить майские действия покойного генерал-фельдмаршала с травлей несколькими сворами собак едва живого зайца... Хорошо, что за Гроховское сражение получите Анну 4-й степени с надписью: «За храбрость», а могли бы получить и Владимира с мечами и Анну 3-й степени. Я едва тогда отстоял ваше награждение у Ивана Ивановича Дибича.

«Хорош “Иван Иванович”, — подумал Неелов, — на самом-то деле — Йохан Карл Фридрих Антон Дибич. Интересно, как звали в Эстляндии фон Зальца? Не иначе, Карл Август Иероним или что-нибудь в этом роде».

Подпоручику хотелось напомнить Полуэктову, что июльский кровавый бунт рабочих батальонов Гренадёрского корпуса под Старой Руссой и ещё более кровавое его подавление подтверждают «какие-то странные мысли», но первые залпы батарей 1-й гренадёрской артиллерийской бригады напомнили о несвоевременности продолжения данного разговора.

Штурм начался. Ружейный огонь слился в сплошной безостановочный треск, гром орудий отдавался раскатами в окружающих лесах. Стройные шеренги войск в парадных мундирах двинулись вперёд. Ядра и картечь вырывали из строя нападавших десятки и сотни людей, но ряды смыкались, и гренадёры безостановочно двигались вперёд. Ни валы, ни рвы, ни палисады, ни рогатки не могли остановить натиска русских войск. Первыми прорвали вражескую оборону гренадёры Несвижского и Самогитского полков. Поляки, среди которых было много ещё ветеранов наполеоновских войн, руководимые бывшими наполеоновскими генералами и офицерами, сражались необыкновенно храбро и на удивление самоотверженно. Ворвавшимся в Волю гренадёрам приходилось драться за каждый дом, за каждую баррика-

¹ Дибич Иван Иванович (1785–1831), граф Забалканский, в 1831 году генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время первого этапа подавления польского восстания. 30 мая 1831 года умер от холеры.

² Гроховское сражение 13 февраля 1831 года — самое кровопролитное сражение польской войны, закончившееся победой русских.

ду. Последние защитники предместья укрылись в каменном костёле. Главная линия обороны поляков была взята.

Указав направление движения резервам Гренадёрского корпуса – Фанагорийскому и Астраханскому полкам, ранее разгромившим ценой огромных потерь в сражении при Остроленке¹ превосходящие силы поляков, проследив за передвижением артиллерийских батарей на новые позиции, – Неелов и Иртеньев двинулись к бастионам Воли. Редкие пули свистели над головами, пара ядер разорвалась в нескольких десятках метров. Фон Зальц, по обыкновению, держался ближе к штабным палаткам.

– Барон, – обратился со смехом Неелов к фон Зальцу, – не хотите ли вы приблизиться к польским позициям? Не бойтесь, на бастионах уже русский флаг. У нас есть жареная курица, дадим ножку обглодать.

– Лавры Милорадовича² покоя не дают – мальчишки, – тихо проворчал Полуэктов, увидев, как молодые офицеры, разделив с вечера припасённую курицу, ехали и завтракали под изредка пролетающими польскими ядрами.

– Николай Дмитриевич, ну хватит тебе дразнить эту жирную свинью – барона, – вполголоса сказал Иртеньев, покосившись в сторону Полуэктова.

– Василий Петрович, дорогой, этот барон способен только выдирать усы у гренадёр, но ты хоть раз его видел в передовых цепях? Если бы не протекция Аракчеева... Барон, с его гонором и кичливостью, никогда не простит мне, что я поставил его на место, напомнив, что, в отличие от предков барона, мои предки верой и правдой пятый век служат России – кто воеводой, кто стрелецким головой, кто офицером, а кто и архитектором... Правда, фон Зальц первым сообразил, где искать спрятанные польскими крестьянами пшеницу и ячмень – в свежих могилах. По указке барона казаки безошибочно находили зарытые мешки с зерном.

– Признаюсь, меня поражают чрезмерные амбиции отдельных вождей мятежников, – сменил тему Иртеньев. – Вообразите, они требуют восставления Польши в границах двухсотлетней давности: подавай им и Белоруссию, и Литву, и всю правобережную Украину во главе с исконно русским городом – Киевом, да и от Смоленска не отказались бы.

– В Париже некоторые рьяные депутаты, например престарелый Лафайет, в своих речах призывают к вооружённому вмешательству в польский мятеж, – вставил Неелов.

¹ 14 мая 1831 года во время сражения при Остроленке польская армия была разбита, особо отличившиеся гренадёрские Фанагорийский и Астраханский полки были награждены георгиевскими знамёнами. Несвижский и Самогитский полки были награждены георгиевскими знамёнами за взятие Варшавы.

² Во время Бородинского сражения 1812 года генерал М.А.Милорадович демонстративно завтракал под французскими ядрами.

Фон Зальц едва слышал разговор молодых офицеров, но приблизиться к ним — означало приблизиться к противнику.

— Кстати, о французах, — подхватил Иртеньев, — полячки с нетерпением ждали в Варшаве обещанный руководителями мятежа мифический французский корпус, а вовсе не нас с вами. Представляю, как они были сегодня утром разочарованы...

— Да, если бы не полячки, то и восстания могло бы не быть, — с горечью прервал Иртеньева Неелов. — Женщины, воодушевлённые свободой, в Польше владеют умами мужчин, увлекают молодёжь записываться в войска, ходят по госпиталям за ранеными, устраивают общенародные собрания ...

Вдруг над головой лошади Неелова пронеслась граната, в ту же секунду картечь ударила в левое плечо подпоручика. В глазах у Неелова потемнело, и он медленно сполз с коня. Иртеньев спешил и бросился к подпоручику.

Фон Зальц отъехал ещё дальше.

Двадцать дней спустя Неелов находился в лагере Гренадёрского корпуса у польской крепости Модлин. Последствия тяжёлой контузии ещё сказывались, но его уже привлекали к составлению штабных документов. А вечерами он дописывал давно начатое письмо к своему отцу, Дмитрию Васильевичу, отставному майору Софийского полка.

«...к вечеру двадцать шестого августа, — писал он, — в годовщину Бородинского сражения, после тридцати шести часов кровопролитнейшего штурма Варшава была взята. Трудно сказать лучше Александра Пушкина:

Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

...

Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних сил напор
Её, беснуясь потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вокруг е` волнения пали —
И Польши участь решена ...¹

28 августа гвардия в полном порядке вступила в Варшаву. Никто не приветствовал русских войск; везде стояла мёртвая тишина, как будто весь город

¹ А. С. Пушкин «Бородинская годовщина».

был покинут жителями. Улицы пусты, только порой раздаётся стук гвардейских экипажей или конский топот от несущихся верхами казаков и черкесов.

Жители Царства Польского убедились, что они не в силах более противостать русскому оружию, что рано или поздно войска их, вероломно нарушившие условия почётной капитуляции после Варшавского штурма, не руководимые одновластием, не направляемые к одной цели, и, не имея между собой ни единства, ни связи в действиях их, рассеются по частям и подвергнутся совершенному истреблению.

P.S. Я почти вылечился от контузии, бывшей со мной в начале штурма, и в настоящее время нахожусь под стенами последнего оплота мятежников — Модлинской крепости, осаждаемой нашими войсками.

15 сентября 1831 года».

* * *

Император, наконец, прибыл. Блестящая свитская кавалькада двигалась от деревни Горки по направлению к Шевардинскому редуту. При приближении к Семёновскому ручью Неелов направился к группе свитских генералов: два года назад он находился на инструментальной съёмке села Бородини и его окрестностей и вспомнил, что впереди на пути императора находится малозаметный крутой овраг.

Фон Зальц увидел, как Неелов подъехал сначала к свитским генералам, потом к военному министру Чернышёву¹. Были слышны слова поручика о необходимости предупредить императора об опасности свалиться в овраг, но в ответ прозвучало, что государь не любит, когда его предупреждают без просьбы, государь не в настроении с утра, и вообще, они не смеют отвлекать государя императора от важных государственных мыслей...

Злополучный овраг приближался. Неелов решил и, прищпорив коня, обогнал императора и встал на его пути.

Император был в однобортном темно-зелёном мундире лейб-гвардии Измайловского полка, с орденом Святого Георгия 4-й степени на груди, в каске на голове. Его всё ещё красивое, но слегка обрюзгшее лицо с короткими усами и бачками покраснелось, выпученные глаза налились кровью.

— Поручик! Что вы себе позволяете?! Вы забыли о субординации! — раздражённо сказал Николай.

— Ваше императорское величество, впереди овраг.

— Поручик, представьтесь и объяснитесь, почему вы не предупредили свитских!

— Старший адъютант штаба шестого пехотного корпуса поручик Генерального штаба Неелов... Времени не было...

Смотрящее сверху на Неелова лицо императора покраснелось ещё больше.

«Has the Most High been so — if so you turn him?» — поручику вдруг вспомнились строки из любимого Байрона и собственный перевод этих слов из за-

¹ Чернышёв Александр Иванович (1785—1857), генерал от кавалерии, в 1832—1852 годах — военный министр.

прещённой российской цензурой драмы «Каин»: «Высший в самом деле так высок, каким вы его считаете?».

Тем временем взгляд Николая обратился к приближавшейся свите.

— Александр Иванович, — Николай обратился к подъехавшему командиру Шестого пехотного корпуса Нейдгардту¹, — объяснитесь!

— Ваше величество, поручик Неелов — автор только что вышедшей книжки «Опыт описания Бородинского сражения». Он прекрасно знает топографию и историю Бородинской битвы, поэтому и прикомандирован вожатым к Вашей свите. К слову, книжка сия получила неплохую оценку у военных специалистов.

Николай раздражённо взглянул на подъехавшую свиту и подумал, что поручик наверняка предупреждал свитских об опасности, но те не рискнули обратиться к нему, зная привычки и раздражительность императора. Николай перевёл взгляд на боевые ордена на груди поручика и подумал: «А поручик-то не только перед императором смелый, но и на поле боя».

— За что награждён?

— За Польскую кампанию: за Гроховское сражение, за штурм Варшавы, за осаду Модлина, Ваше императорское величество.

— Отличный офицер, особо отличился перед штурмом, да и вместе со мной контужен под Варшавой, — прибавил подъехавший князь Варшавский Паскевич, — и, чутьём старого царедворца почувствовав улучшение настроения императора, заметил: — Помню, Ваше величество, как Вы мне писали после Варшавы: «Зачем я не летел за тобой по-прежнему в рядах тех, кои мстили за честь России?..»

— Спасибо, отец-командир², — Николай с улыбкой обратился к Паскевичу. Взгляд императора подобрел ещё более, когда усилиями свитских адъютантов перед императором появился поднос с графином водки, фужером и мелко нарезанными ломтиками лимона. После выпитого фужера плохое настроение императора почти исчезло. Немного подумав, он подозвал почтительно отъехавшего в сторону Неелова. — Поручик, теперь ваша задача — находиться впереди моей свиты во время всех манёвров. А то с такой нерешительной свитой императору можно и в овраг угодить.

— И впереди Вашего императорского величества? — переспросил Неелов.

— Впереди, — улыбнулся Николай и приказал: — К Шевардину!

Неелов, возглавив кавалькаду, повёл императорскую свиту мимо злополучного оврага. «Пронесло, — подумал поручик. — Спасибо Нейдгардту и Паскевичу. Все знают, каков император бывает в гневе. С гневом Романовых я уже сталкивался при встречах с великим князем Константином во время польской войны... Но целых две недели водить императорскую кавалькаду по Бородинскому полю — это тяжелейшая задача».

¹ Нейдгардт Александр Иванович (1784–1845), в 1839 году — генерал-лейтенант, командир Шестого пехотного корпуса.

² И.Ф. Паскевич в 1819–1825 годах — генерал-лейтенант, начальник 1-й Гвардейской дивизии, где Николай Павлович, тогда деликий князь, командовал 2-й бригадой.

Мысли Неелова неожиданно прервала бедно одетая старушка, бросившая под копыта коня поручика.

– Батюшка ампиратор, прими прошение о помиловании сына!

– Я не император, император дальше скачет.

– Царь-батюшка, ну не обманывай старую женщину, мне знающие люди говорили, что кто первый скачет, тот и ампиратор.

Неелов растерянно замолчал. Из рядов свиты послышался сдержанный смех. Раздался уже весьма весёлый голос императора:

– Поручик, примите прошение и не бойтесь, мы вас за самозванца не примем.

Приняв прошение, Неелов поскакал дальше. Так ему предстояло направлять императорскую свиту две последующие недели манёвров. Это была не последняя старушка с прошением, но под плохое настроение императора он больше не попал.

Барон фон Зальц больше к нему не приближался.

* * *

По завершении манёвров был маленький банкет офицеров штаба Шестого пехотного корпуса по поводу награждения поручика Неелова орденом Святого Владимира 4-й степени «в воздаяние отлично усердной и ревностной службы вашей». После первых тостов был зачитан «Приказ № 630. Лагерь при Бородине. 30 августа 1839 года», о том, что государь император, «оставаясь совершенно довольным Нееловым во всё время, здесь, при Его Императорском Величестве, всемилостивейше соизволил пожаловать ему в подарок табакерку, бриллиантами украшенную, в 25 000 рублей». Сидевший напротив поручика капитан Ртищев с завистью сказал:

– Ну и счастливчик ты, Неелов. И орден тебе, и табакерка, бриллиантами украшенная, и благорасположение императора, и всё это – за один овраг.

– А что мешало вам, капитан, первым предупредить государя императора об опасности? – с усмешкой произнёс штабс-капитан Иртеньев. – Ведь вы тоже ранее принимали участие в составлении плана местности в окрестностях Бородина?

«Как был бы счастлив узнать о моём награждении батюшка Дмитрий Васильевич! – подумал Неелов. – И легко представить, как будут подшучивать надо мной брат Пётр Дмитриевич и друзья литераторы, знающие мои вольнодумческие взгляды...»

Неелов с печальной улыбкой посмотрел на окружавших его офицеров и, подумав, что получать ордена, находясь в свите императора, не намного легче, чем на поле боя, но здесь цена – карьера, а там – жизнь; встал, налил себе бокал вина и произнёс тост:

– За здоровье Его императорского величества Николая Павловича! Ура!

– Ура! Ура!! Ура!!!



Элина Дмитриевна Удальцова (1961–1999) — поэт, переводчица, кандидат филологических наук, специалист по английскому языку и литературе. Соавтор учебных пособий по изучению английского языка, автор двух поэтических сборников: «Белолистье» и «Праздничная разлука». Ею выполнен ряд переводов книг англоговорящих авторов для издательства «Русич». Член Союза российских писателей. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Смоленске.

* * *

Опоздать бы, что ли, мне на поезд осени,
Опоздать бы, что ли, — будто невзначай.
На перроне лета задержаться допоздна,
Слушать, как осенние поезда кричат.

Болью накапливает серый вечер ранний,
Ожиданьем долгим тягостной беды.
У судьбы осенней нету опозданий.
Листья на перроне — как поздние цветы.

В чемодан все вещи аккуратно сложены,
И как выстрел тихий, лишь щелчок замка.
Платья мои летние солнечного прошлого
С грустью собирала, чуть дрожа, рука.

Уезжаю в осень. Ты — не провожай.
Сердце полоснули, как ножи. дожди.
Лишь шепнёт мне лето ласково: «Прощай!».
Крикнешь ты вдогонку: «Слушай, подожди!»

Кто же возвращается в лето уходящее?
Кто же ищет осенью прошлогодний снег?
Птицы перелётные, над судьбой летящие,
Чертят в небе дальнем тёмный, зыбкий след...

Опоздать бы, что ли, мне на поезд осени,
Опоздать бы, что ли, — будто невзначай.
На перроне лета задержаться допоздна,
Слушать, как осенние поезда кричат

* * *

Часы. Секунд ужасающий бег.
Раз-два и разбег!
Весеннее небо меж стрелками встало,
Его сразу стрелками сжало
В комок — в один лишь глоток.
И неба — не стало...
Остались часы и секунды — тик-ток,
И боли измятый платок.

* * *

Тень скользнула по стене устало,
Тёмный блик меняется на светлый.
Зеркало лицом к земле упало —
Отраженье колыхнуло ветром.

На далёком праздничном вокзале
Затаились чутко поезда.
День белёсый стёкла заметает.
Отражений лента потекла.

Взмах руки печалью обозначен —
Неприкосновение твоё.
На вокзальной незабытой башне
Стрелки отмеряют забытьё.

* * *

Из черноты вдруг возникает пламя
И сиротливой каплею свечи
Горит и почему-то не сгорает.
Вновь зеркало надломленно молчит.

Нам кажется, что было очень больно,
И мы хотим скорей, скорей забыть,
Как падал дождь. И обнажённой солью
Вскипал. И дней тянулась нить,

Готовая нечаянно порваться —
В прекрасный день, нелепо, невпопад...
Нам дали право робко улыбаться, —
Того гляди, опять возьмут назад.

ГАДАЛКА

За пристанью пустынной
Болит река.
Как отблеск неизбывного
Цветёт рука.

Зелёные качели
И детства крик.
И в кресле-колыбели
Молчит старик.

На городской окраине
Мой лучший враг
Опять подарит
Бордовый мак.

Мой враг любимый —
Мой лучший вор.
Немые нити
Легли в узор.

Воруйте душу!
Хожу — мертва.
В жару и в стужу
Плету слова.

За зеркалом белёсым,
За гранью дня,
Где всё известно, —
Ищи меня!

* * *

Дождь с судьбою — на брудершафт,
Горизонта чернеет основа.
Приближается сумерек шаг,
А потом появляется Слово.

Средь далёких загадочных весей,
Средь забытых торжественных тризн,
Средь уютных безропотных кресел
Примостилась бабочкой жизнь.

День глотает дожди, как микстуру.
Морщит губы темнеющий свод.
Нам бы только стряхнуть штукатурку,
Обнажив золотистый обвод

Вокруг лиц, лишь угаданных зыбко
На привычном немом потолке.
...Слово бьётся цветистою рыбой,
На весу тяжелея в руке.

* * *

И свет, и тень — заветная игра.
Но и в игре накоплена усталость.
И в тишину осеннего двора
Прохлада чёрно-белая прокралась.

Счастливых слов отравленное чудо
Разбилось ярким, хрупким хрусталём.
И лживый день приходит ниоткуда,
Чтоб обернуться вечным декабрём.

День минут, ночь. Что нам от дня осталось?
Ночь минус день. О чём молчит луна?
Какая нам — с тобой — осталась малость?
Иль только россыпь битого стекла?

* * *

Мне очень хочется стихов —
Огромных птиц, красивых, белых,
Летающих чисто и легко
Над городом, до боли летним.

Душа взмахнула рукавом, —
И стая слов моих взметнулась,
И пролилась слеза дождём,
И я стихами обернулась.

И стало всё цветной строкой:
И крик моих озябших лиц,
И вздох любви моей немой
Вдруг — чудо! — превратились в птиц.

Но, боже! Кто волшебник злой,
Околдовавший крыльев цвет?
...Клин обожжённых болью слов
Неровный, тёмный чертит след.

ДВА ПИСЬМА

У меня есть два письма,
Одно про горе, второе — про счастье.
Первое я постоянно прячу среди книг,
Я пытаюсь забыть, где оно лежит,
Я даже перестаю вытирать пыль на том шкафу...
Второе письмо всегда под рукой.
Я каждый день читаю быстрые, лёгкие строчки.
Я перечитываю их не только вечером,
Но и утром — перед уходом на работу.
Я пытаюсь запомнить все слова,
Но они ускользают из памяти.
«У тебя хорошая память», — говорят на работе.
Да.
Первое письмо я помню наизусть.

* * *

Мне приснился сон:
Ты в меня влюблён.
Было мне невдомёк:
Под шумок, под шумок
В загс меня ты увёл.
Дождь был ласков и зол.
Нам подумать не дали ни дня.
Вот уже ты целуешь меня,
Громко марш Мендельсона звучит,
Впопыхах кто-то «ГОРЬКО!» кричит.

Разбудил голосистый звонок.
Открываю наш старый замок.
На пороге — растерянный ты.
Я поставила в вазу цветы.
Новый галстук, одеколон.
Мне шептали: ты очень влюблён.
Зябли фразы на полпути:
Друг ты мой... Не люблю... Прости.
За окном — перезвон весны.
Было ГОРЬКО от чувства вины.

* * *

Пережить, пережить, пересилить,
Телефон не терзать и не ждать,
Что придёт кто-то добрый и сильный,
Будет долго меня утешать.

Пережить, пережить, пересилить
Одиночество горьких минут.
Я не жду в тишине беззащитной,
Ниоткуда поддержки не жду.

Пережить, пережить, пересилить,
Если нервы вдруг сжались в комок.
...Ярость слёз моих обессиленных
Вытер ласково неба платок.



Иосиф Львович Хатилин (1936–2017) – поэт. Родился в Смоленске. Автор поэтических книг: «Вербный ветер» (1991), «Хрусталь и жимолость в снегу» (1993), «Там, совсем недалеко» (1994), «Октаэдр» (1995), «Свещец» (1997), «Этой жизни скорый поезд» (1997), «Эс брент» (1999), «Скрип половиц» (2000), «Весть» (2001), «Васильки и вериги» (2001), «Старый рояль» (2003), «Постскриптумы» (2007), «Недоизбранное» (2017). Публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», журнале «Русская провинция», альманахах «Башня», «Междуречье», «Под часами». Участник коллективных сборников и антологий. Похоронен в Смоленске на еврейском кладбище.

З О Е

Потихоньку, понемножку
убывает свет в окошке
на втором на этаже.
Убывает на душе.

Красный день за красным полем
колет звоны колоколен.
Рыжим колли лижет день
свою собственную тень.

Он зализывает раны
дико прущего бурьяна.
Он зализывает след
ставших рытвинами лет.

Убывает свет. Короче
крик дрозда. Длиннее ночи,
всё чернее колеи.
Всё темней глаза твои.

Всё темней в чашобном логе,
всё бледнее по облогам
улыбаются цветы.
Всё протяжней смотришь ты

за изводы-повороты,
за рябиновые стропы
приопущенных небес,
за наsupоренный лес.

Потихоньку, понемножку
убывает свет в окошке,
в том единственном, где ты
не сомкнула темноты.

В том единственном, откуда
сходит — тонким ситцем — утр.
В том единственном, куда —
в заводь — падает звезда.

В том единственном, в котором
мальвами горчат укоры
долгих зим и долгих лет.
Не гаси в окошке свет!

Ну ещё, ещё немножко
подыши своим окошком,
васильком светни во ржи,
быль как небыль Расскажи.

* * *

Поэзия не терпит пустоты.
Об этом догадался Торичелли
и сформулировал, как надо, и достиг —
в ином, конечно, — благодатной цели.

Поэзия не терпит пустоты.
Об этом знает каждый, кто пустился
в далёкий путь по компасу мечты,
как Жак Кусто с подругою «Калипсо».

Поэзия не терпит пустоты.
Такая азбучная истина, однако
на ней ломают шеи аргонавты,
не чуя рифов из-за простоты.

Прости меня, я не на полпути
к своей звезде в соцветии созвездий,
в конце пути я, над последней бездной
шепчу, как мальчик, на краю отвесном:
поэзия не терпит пустоты.

СОЛОВЬЁВО. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

У Соловьёва перевоза
по лознякам звенит вода,
что сбруя, тонким перебором.
Солнь. Утий смокот. Лагода.

И кажется, что ниоткуда
здесь не могло и не пристало
иному быть, чем эта былль...
А ведь ревела и хлестала
вода и твердь, встав на дыбы.

Крестами чёрными над рожью,
над избами повдоль реки
шли, тупо вспарывая кожу
моторами, штурмовики.

Застрял в осоках крик ребячий.
Водою сносит прядь волос
поверх лица... Не встанет мальчик.
Не прибежит смуглянка Маша
пугать плотву на перевоз.
Не будут падать на откос
сверкучим веером ромашки...
Водою сносит прядь волос.

А час назад большой, возможной,
обещанной казалась жизнь,
и стремокрылые стрижи
вовсю носились под окошком...

С тех пор впрямки проминовало
немало, тридцать с лишним лет,
а всё не так, всё свету мало
без тех, осиротивших свет...

Вдруг станут хрупки и невещны
стеклянный вечер, тишина,
утиный крик, смех на крылечке...
...Вот-вот! сейчас! дадут огня!
Взахлёб, в неистовстве зенитки
ударят! И счастливчик Шнитке
вонзит свой «мессер» за бугром.
И прорастёт в три дня былём,
беззлой травкой повиликой.

И будет выгон, взгорок, дом.
И мальчик, вовсе не убитый,
погонится за мотыльком.
И девушка из лозняков
сверкающей наядой выйдет...

Отечество, надбрежный склон.
Калитка, витая вьюнком.
Смех на крылечке под ракитой.
Да разговоры о былом,
как о вчера лишь пережитом.

* * *

Девочка моя милая,
на твоих полустанках всегда
ходит солнце с глазами счастливыми
и цветёт круглый год лебеда.

И ведёрко послушно колышется
в лад пригорку, в лад стёжке, в ладу
с золотыми твоими лодыжками,
что у всей муравы на виду.

И не видно другого события,
что затмило бы — эка напасть! —
твоих ситчиков лик повиликовый
на моих на бессонных часах.

И не слышно другого гадания,
кроме двух васильковых в тени
тёмных вишен... За тёмными ставнями,
как бывало, прильни, поднырни.

СИЗИФ

Сизиф, мой друг, ты катишь вверх,
на гору камень, что
лежал внизу, в долине век,
а может быть, и сто.

Тяжёл обкатанный волной
валун, как два вола
валахских. Грудью и спиной
дрожишь, усилия для.

Дрожишь квадрицепсами ног
и трицепсами рук.
Но ты, однако, не стальной,
Сизиф, мой старый друг.

Жара. Струится по лицу
горячий пот. Жара.
И дело, вроде бы, к концу.
Близка к концу гора.

Грудь — что кузнечные мехи.
Соль пота ест глаза.
Жара. Валун. В глазах круги.
Уж двадцать два часа

как этот чёртов камень ты
на гору катишь. И,
почти уж докатив, почти,
срываешься... Летит

назад, в долину, хохоча,
тот каменюка. Ты
сидишь, уставясь в землю, час
и час другой... Прости,

что я сочувствую тебе.
Но, право слово, плюнь!
Пойдём, любая из гетер
твою утешит лунь.

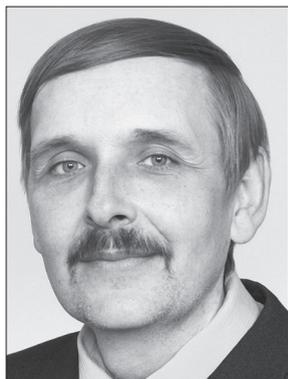
Поставит в гидрии вино.
Разложит виноград
на красном блюде. Смочит с ног
вдубившуюся грязь.

Ах, плюнь, Сизиф! На кой тебе
тот каменный кругляк?
В конце концов, его разбей
на семь частей и так

перетаскай на гору, коль
так нужно... А, Сизиф?!
Долина манит ветерком
и стайками олив.

Себя не превзойти, мой друг.
Будь проклят тот кругляк!
...Но что я вижу поутру?!
Ты спятил? Или как?!

Опять Сизиф мой катит вверх,
на гору камень свой.
Сизиф, что ты за человек?..
Я рад, что есть такой.



Александр Михайлович Шамонин — поэт. Родился в 1963 году в селе Ершичи Смоленской области. Окончил институт культуры в г. Орле и филфак Смоленского пединститута. Работает учителем в средней школе. Стихи публиковались в альманахе «Под часами», коллективных сборниках, региональной периодике. Автор книг лирики «Круг» (2005), «Свет безудержный» (2012). Член Союза российских писателей. Живёт в селе Ершичи Смоленской области.

* * *

В.А. Бокатой

Зима и ночь. Зима — и мысль холопья:
свобода — пытка, если одинок.
И кружатся невидимые хлопья,
как ангелы, слетаясь на манок.

Так много их, а может быть, так мало! —
статистов, претендующих на роль
с единственным словечком для начала
или конца... Но реплика — пароль.

Он нужен тем, кто изменяет сущность —
свою? чужую? — неизвестно чью,
звездopodobной искоркой падучей
извечного противоборства чувств.

Поэтому идея безразличий —
пространства, времени — особенно ясна,
когда, как хор в трагедии античной,
снег объясняет, что не видно нам.

Он не идёт, а следует за теми,
кто приложил к губам судьбы рожок,
чтоб, извлекая звуки, видеть темень
и чувствовать: тепло, огонь, ожог.

* * *

Жанне

Слушай, надо ль считать зиму злой, роковой,
если на подоконнике живы фиалки
и цветут — невозможно понять для кого —
на пороге небесном двухкомнатной свалки.

За окошком мороз, а растениям тепло.
И светло даже ночью: фонарь, видишь, близко.
Утром тёплой водой мы под корень польём
эту нежную группу высокого риска,

чтоб фиалки внесли в новый день красоту,
чтобы розовым, и голубым, и лиловым
в нас дышали, когда в сердце чувства растут
и становятся взглядом, улыбкой и словом.

Когда правды иной, кроме нежности, нет,
когда так удивительно всё, что взаимно,
а за тюлем фиалок расцвет. И рассвет —
не весенний ещё, но уже и не зимний.

СТАНЦИЯ

На перроне теперь нет лоточков.
Чисто, сухо, и нет до меня
дела лопнувшим липовым почкам
и скворцам, что судьбу не винят,

не найдя своих старых скворешен.
Чем привлёк их уездный вокзал?
Может быть, тем, что люди здесь те же —
пешки в клетках добра или зла.

И, наверное, каждый здесь хочет
поскорее стать белым ферзём;
неприменно — героем, воочию
убедившись, что смелым везёт.

Эй, Игрок, хорошенько подумай,
чтобы сделать мной правильный ход.
Я готов, и без лишнего шума,
как положено, — только вперёд.

РАЗГОВОР С ТЕНЬЮ

Любая фраза кажется фальшивой.
Ты, Гамлет, прав. Что нам дадут слова,
когда о жизни знают больше ива
и жадная река?.. И всё ж давай

поищем вместе голос вещей скорби
отеческой в себе. Что значит я,
несущее груз ревности двугорбой
в мучительную близь небытия?

Ответа нет. Есть только та же почва,
плодящая мистических кротов,
подслушавших твой сон, а может, стон,
и говорящих всё, что слышать хочешь.

ПОПУТНАЯ ПЕСНЯ

Откос в черёмухе отцветшей,
река, блеснувшая металлом —
и поезду тянуться легче,
хоть отстучал уже немало.

Сегодня, видно, вместе с ним ты
неотделим от чутких рельсов.
Поэтому и мир, открытый
тобой, был встречен с интересом

попутчиками (отдыхали)
и проводницей (суетилась).
Ты не был резок и нахален,
и многое тебе простили.

Благодари. Спроси, что слышно
в природе, когда песнь заводит
Боян, растёкшийся по вишням,
не изменившим вкус народа.

Узнай (пора!), какая вера,
по их догадкам, торжествует,
какая шельма или стерва
открыла правду им живую.

Спроси, что производит север,
чем пашут небо, землю бросив,
как тратят купленное семя,
уткнувшись в ту же почву носом.

Просеяв честные ответы
сквозь чувства трепетное сито,
внеси осознанную лепту
в потухший взгляд на мир. Открыто

готовь свой слабый мозг к ударам
неведомых тебе сомнений,
которые суть Божья кара
для городского населенья.

Интеллигентно умолкая,
советы верных рельсов слушай
и помни: нота есть такая,
что связывает кровь с минувшим.

И ты причастен тайне этой,
поскольку беззаветно едешь
в ту часть тебе родного света,
где дядя Федя съел медведя,

где леший был — теперь охотник,
плыла русалка — стала лодкой,
где сила звуков инородных
и щуку превратит в селёдку.

Хватай её за хвост, Емеля,
вели, чтоб совесть не молчала,
когда слеза достигнет цели,
где Слово, бывшее в начале.

* * *

Утро входит без стука. Отправив
изменившую память на отдых,
начинаю с азов свой бесславный
день седьмой на неделе. Как воду

в ступе ни заклинай, толку мало
от работы. В кармане не густо,
и судьба узелок завязала
на удары во имя искусства

превращения рта в водолея...
Для начала резон подкрепиться
летним воздухом, света елеем
и языческим пением птицы.

РОДНИК

Р. А. Кулаковой

В деревне, доживающей свой век,
искал родник с водой живою.
Мой проводник, последний человек,
и страшно сед, и странно стоек,

путь пролагал среди высоких трав,
скрывавших западни кротовых
бугристых нор. Он был безмолвно прав:
здесь чувство надобно шестое.

Тут, на периферии громких бед
и в сердце нищенки России,
где только свой годами видят след
неведомые нам мессии,

жить можно, полагаясь на инстинкт
или на волю Божью, чтобы
провидцем стать, забывчивых простить,
уйти и не восстать из гроба.

Я это всё осознавал, идя
за старцем, как его потомок,
а в сущности — последний из бродяг
с пустой сыновнею котомкой...

Низина. Ручеёк. И вот окно
воды блеснуло под ольхою.
Здесь было жажду утолить дано,
и жажда не была греховной.

Мой моисей с улыбкой наблюдал,
как благодатью наполнял я
бутыль из пластика, потом он вдаль
взгляд обратил, немой, усталый:

там, в сосняке, вместительный погост,
его, безропотного, ждущий...
Но ждал и я, заблудший, дикий гость,
понявший вдруг, как будет в райских куцах.

* * *

Будильник запел на рассвете,
как будто боясь не успеть.
Как двери, срывается с петель
рассудок, открыв только те

пространства и дали, что строго
написаны кистью зимы.
Ждёт посох, слепая дорога,
обещанной нет лишь сумы.

Прозрачный рисунок событий
шедевром уместно считать,
когда из себя голым выйдешь,
одев свежим чувством места,

далёкие от пониманья
ещё не решённых проблем,
когда из себя в бездну канешь
доказанных злом теорем,

когда, то ругаясь, то плача,
топча зимний сахар-песок,
подставишь снежинке удачи,
как пуле, бескровный висок.

Литературно-художественное издание

Составители:
В.В. Макаренков, Г.В. Пастухов

ПОД ЧАСАМИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

№ 16

Тексты печатаются в авторской редакции

Выпускающий редактор *И.А. Флиманкова*
Технический редактор *М.В. Алейник*
Корректор *Г.В. Селицкая*
Рисунки на обложке *В.Е. Самарина*

Альманах «Под часами»
размещён на национальном цифровом ресурсе Rucont.ru
в коллекции региональных цифровых ресурсов
«Смоленский цифровой ресурс» <http://rucont.ru/collection/318>

ООО «Свиток»
Лицензия ЛР № 6193 от 01.11.2001
Комитет по печати Российской Федерации
214025, Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 31–216
Тел.: 8-910-787-82-59

Подписано к печати 10.12.2017 г.
Формат 70х100 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Newton».
Печ. л. 21. Тираж 500 экз. Заказ №